

Н. Э. Гейнце

ДОЧЬ ВЕЛИКОГО ПЕТРА

РОМАН

Часть первая

I. СМЕРТЬ В ЦВЕТАХ

II. ДВЕ ЗАПИСКИ

III. ДВЕ АННЫ ИОАННОВНЫ

IV. ПРЕДЧУВСТВИЯ СБЫВАЮТСЯ

V. ГУСТАВ БИРОН

VI. В МОСКВЕ

VII. ЦЕСАРЕВНА

VIII. ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

IX. ЗАГОВОР И ДЕЙСТВО

X. ИМПЕРАТРИЦА

XI. ТАЙНЫЙ БРАК

XII. НА БЕРЕГУ ПРУДА

XIII. ОТЕЦ И СЫН

XIV. ИСКУСИТЕЛЬНИЦА

XV. ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ

XVI. ВЕЗДЕ КИРИЛЛ

XVII. НОВЫЕ ФАВОРИТЫ

XVIII. БОРЬБА ПАРТИЙ

Часть вторая

I. В ЗИНОВЬЕВЕ

II. В ЛУГОВОМ

III. БЕГЛЫЙ

IV. РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

V. В ИЗБУШКЕ "КОЛДУНИИ"

VI. СТРАШНОЕ ПРИКАЗАНИЕ

VII. В МОГИЛЕ ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫХ

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

IX. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСТЬ

X. УБИЙСТВО

XI. НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ

XII. В ПЕТЕРБУРГЕ

XIII. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Часть третья

I. ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

II. РАДУЖНЫЕ МЕЧТЫ

III. КАБАК ДЯДИ ТИМОХИ

IV. "НОЧНАЯ КРАСАВИЦА"

V. ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ НОГОТЬ

VI. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ДЕЛА

VII. НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

VIII. МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ

IX. СЛАДКОЕ МУЧЕНИЕ

X. ТРОЙНАЯ ИГРА

XI. КЛЮЧ ДОБЫТ

XII. ДВА ИЗВЕСТИЯ

XIII. РОКОВАЯ БУМАГА

XIV. В ОБЪЯТИЯХ ТРУПА

XV. "СУМАСШЕДШИЙ КНЯЗЬ"

XVI. СМЕРТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ

Часть первая

I. СМЕРТЬ В ЦВЕТАХ

В ноябре 1758 года с быстротою молнии облетело весь Петербург известие о загадочной смерти молодой красавицы княжны Людмилы

Васильевны Полторацкой, происшедшей при необычайной, полной таинственности обстановке, и взволновало не только высшую придворную сферу, в которой вращалась покойная, но и отдалённые окраины тогдашнего Петербурга, обитатели которых узнали имя княжны только по поводу её более чем странной кончины.

Покойная была найдена утром 16 ноября 1758 года мёртвой в своём будуаре. Она лежала на кушетке, в красном бархатном домашнем костюме, почти сплошь засыпанная цветами. Роскошный букет белых роз лежал у неё на груди. Её лицо было спокойно, поза непринуждённая, и княжна могла казаться спящей, если бы не широко открытые, остановившиеся, чёрные как уголь глаза, в которых отразился весь ужас предсмертной агонии.

Туалет княжны был в порядке, и в уютной комнате не было заметно следов ни малейшей борьбы. На лице, полуоткрытой шее и на руках не видно было никаких знаков насилия. Прекрасные волосы княжны были причёсаны высоко, по тогдашней моде, и причёска не была растрёпана; соболиные брови оттеняли матовую белизну лица с выдающимися по красоте чертами, а полненькие губки были полуоткрыты, как бы для поцелуя, и обнаруживали ряд белых как жемчуг зубов, крепко стиснутых. Цветы, которыми была осыпана покойница, видимо, были только что сорваны, так как наутро, когда вошедшая горничная увидела первую эту поразительную картину, они были свежи и благоухали.

На шее княжны блестело драгоценное ожерелье, а на изящных руках сверкали драгоценные камни в кольцах и браслетах. В миниатюрных ушках горели, как две капли крови, два крупных рубина серёг.

В правой руке покойной был зажат лоскуток бумажки, на котором были по-французски написаны лишь три слова: "Измена – смерть любви".

Розысками было обнаружено, что княжна с вечера довольно рано отпустила прислугу, имевшую помещение в людской – здании, стоявшем в глубине двора загородного дома княжны Полторацкой, на берегу Фонтанной, где покойная жила зиму и лето, и даже свою горничную отправила в её комнату, находившуюся в другом конце дома и

соединённую с будуаром и спальней княжны проволокой звонка.

Горничная Агаша показала, что княжна по вечерам принимала тайком не бывавших у неё днём мужчин и всегда окружала эти приёмы чрезвычайной таинственностью, как было и в данном случае.

– Беспременно их сиятельство кого-нибудь ждали, – сказала она допрашивавшему её полицейскому чину.

– “Ждали, ждали”! – передразнил её тот – Этого мало... Но был ли кто-нибудь?

– Уж таить пред вами, ваше благородие, нечего: у их сиятельства вчера действительно гость был, а только кто именно, не знаю...

– Как не знаешь?

– Да так, слышала я из-за двери голос мужской, а в замочную скважину, как ни старалась, разглядеть не могла.

Видно было, что Агаша говорит совершенно искренне, но, впрочем, это не помешало полицейскому чину пугнуть её строгою ответственностью за упорное запирательство.

Однако ретивость полицейского была прервана в самом начале. В дело вмешалась высшая полицейская и судебная власть, но и ей не пришлось раскрыть тайну загадочной смерти княжны Полторацкой. При докладе об этом происшествии государыня императрица Елизавета Петровна заметила: “Жаль, жаль бедную, в цвете лет покончить с собою... Я давно заметила, что она не в полном уме!” И эти высочайшие слова дали направление делу, или, лучше сказать, прекратили его.

Княжна была похоронена по православному обряду на Смоленском кладбище. Весь Петербург был на этих похоронах. Говорили даже, что в числе провожатых была сама императрица, скрывавшая своё лицо под низко надвинутым капюшоном траурного плаща.

Тайна смерти княжны Полторацкой таким образом до времени была скрыта под толстым слоем земли и временно поставленным большим деревянным крестом. Только двое людей из великосветского общества знали более других об этой таинственной истории. Это были два молодых офицера: граф Пётр Игнатьевич Свиридов и князь Сергей Сергеевич

Луговой.

Накануне дня рокового происшествия в загородном доме княжны Полторацкой в городском театре, находившемся в то время у Летнего сада, шла трагедия Сумарокова "Хорев". Часть публики обратила между прочим внимание, что два молодых офицера, не дождавшись окончания действия, выбежали из зрительного зала. Все заметили, что они оба очень часто посматривали на ложу, в которой среди других придворных дам находилась княжна Людмила Васильевна Полторацкая, затем подошли друг к другу, сказали один другому несколько слов на ухо и быстро вышли.

Их поведение особенно подозрительным показалось бывшему в театре любимцу императрицы Ивану Ивановичу Шувалову, знавшему обоих молодых людей. Он вышел вслед за ними, и ему удалось догнать их в совершенно пустом во время действия коридоре театра и услышать следующий разговор:

– Прежде всего одно слово объяснения, – сказал Свиридов. – Вы ведь смотрели на княжну Полторацкую?

– Да, – спокойно ответил князь Луговой.

– Вы смотрели на неё как-то особенно и, казалось, были удивлены, что я смотрел на неё точно так же?

– Совершенно справедливо.

– Я имею право... – начал было Свиридов, но князь перебил его:

– По всей вероятности, и я имею такое же право смотреть на неё, как и вы?

– Именно это право я и отрицаю.

– А я отрицаю ваше право.

– В таком случае, я пришлю к вам секундантов.

– Я к вашим услугам.

– Позвольте, господа! – раздался около них голос Ивана Ивановича Шувалова. – Мне хочется знать, с какой стати вы даёте такой дурной пример публике, ведя себя точно сумасшедшие. Хорошо ещё, что не все зрители в зале заметили ваше странное поведение и ваш бешеный

выход, иначе вы были бы завтра сплетней всего Петербурга. В чём дело, объясните, пожалуйста! Что-нибудь очень важное и таинственное?

– Да, – прервал его Свиридов. – Причина очень важная... Я уже вызвал князя на дуэль...

– Какая бы ни была причина, я не одобряю такой поспешности. Надо было объясниться...

– Мы уже объяснились здесь в течение одной минуты.

– Всё это хорошо, но позвольте вам дать добрый совет. Поедьте ко мне, там вы объяснитесь между собою основательно и хладнокровно в моём присутствии. Я ни в чём не буду влиять на ваше решение и выскажу своё вполне беспристрастное мнение. Согласны ли вы?

Оба недавних друга, теперь враги, последовали этому совету.

Дом Ивана Ивановича Шувалова стоял на углу Невского проспекта и Большой Садовой и был выстроен в два этажа, по плану архитектора Кокоринова, ученика знаменитого Растрелли. Обстановка комнат была роскошна. Богатые их анфилады были все увешаны портретами и картинами.

Туда-то и отправились все трое из театра, не доглядев представления.

Хозяин провёл своих гостей в угловую комнату с семи окнами, служившую ему кабинетом. Последний отличался укромностью и уютностью, которые придавали ему большие шкафы, наполненные книгами, турецкие диваны, ковры и массивные портьеры.

Иван Иванович уселся в покойное кресло у письменного стола, тогда как оба молодых человека были ещё до такой степени возбуждены и столь бешено настроены, что они не могли спокойно оставаться на местах и ходили взад и вперёд по комнате, как бы стараясь не столкнуться друг с другом.

Несколько времени в кабинете царила тишина.

– Итак, господа, кто же первый начнёт исповедь? – прервал молчание хозяин дома – Я слушаю.

II. ДВЕ ЗАПИСКИ

– Я, – ответил Свиридов. – Дело очень просто: в течение целого часа князь, как я заметил, не спускал глаз с ложи, где сидела одна дама, причём его взгляды были чересчур выразительны.

– Позвольте, – прервал Шувалов, – нечего облекать всё это таинственностью, я очень хорошо знаю, в чём дело.

– Во всяком случае, я никого не назвал. Итак, князь Луговой очень пристально вглядывался в даму, которая и не думала отворачиваться от него; я даже заметил, что они раз обменялись довольно красноречивыми взглядами, и это возмутило меня. В то же мгновение дама, заметив, что я смотрю на неё, обернулась в мою сторону и наградила меня такою прелестною улыбкою, которая разом усмирила мой гнев.

– А меня привела в бешенство! – воскликнул князь Луговой. – Я окинул Свиридова свирепым взглядом.

– Я ответил тем же.

– Мы вышли из зрительного зала, а остальное вы знаете...

– Очень хорошо, но позвольте задать один вопрос: какое право имел один из вас запрещать другому смотреть на эту даму так, как ему хотелось?

– Право, приобретённое вследствие исключительных отношений.

– Как исключительных? – прервал Свиридова князь Луговой. – Что вы под этим разумеете?

– Что разумею? Да то, что вы сами разумеете, – ответил тот.

– В таком случае, я нахожусь с нею в тех же отношениях, как и вы.

– Желательно было бы, чтобы вы представили доказательства.

– Боюсь, не будет ли это неделикатно или даже бесчестно. А между тем надо же доказать, что действуюешь и говоришь не наобум и что всё-таки в человеке осталась хотя капля мозга. Впрочем, мы оба находимся в довольно затруднительном положении, и некоторые исключения из общего правила могут быть дозволены.

Сказав это, князь Луговой вынул из кармана своего мундира маленькую

записку, кокетливо сложенную треугольником.

– Это что такое? – спросил Иван Иванович.

– Если здесь говорится о правах, так и я представлю доказательство таких же прав.

Свиридов с любопытством следил взором за движениями князя. Увидев, что тот вынул из кармана маленькую записку, он вынул такую же, во всём похожую на первую, и поднёс её к документу, представленному его соперником.

Удивление троих собеседников не имело границ.

Иван Иванович осмотрел обе записки. Адрес был написан одной и той же рукой.

– Почерк один и тот же, но, может быть, обе записки противоречат одна другой. Пусть князь прочитает адресованную ему записку.

– Но ведь это нечестно! – возразил князь Луговой.

– Тут нет ничего нечестного, это исповедь! – ответил Шувалов.

– В таком случае, я начинаю, – с нетерпением сказал Пётр Игнатьевич и прочёл: – “Милый Петя, ты не можешь себе представить, как напряжённо я всё думаю о тебе, когда тебя не вижу. Твоё присутствие до такой степени необходимо мне, что, когда тебя нет возле меня, мне кажется, что я одна на свете. Жизнь без тебя точно пустыня...”

– Позвольте! – воскликнул князь Луговой, державший своё письмо открытым, и продолжил: – “Жизнь без тебя точно пустыня, по которой я блуждаю, мучимая тоской и грустью”.

– Да ведь это моё письмо! – вскрикнул Свиридов.

– Вовсе нет, моё! – ответил князь. – Оно даже начинается: “Милый Серёжа”.

Шувалов сличил записки. Они были как две капли воды похожи одна на другую.

– Здесь даже не требуется суда царя Соломона, – заметил он. – Всякому своё.

Князь и Свиридов посмотрели друг на друга, обменялись записками, пробежали их молча глазами и возвратили друг другу, затем снова

посмотрели друг другу в глаза и вдруг, гомерически расхохотавшись, оба скорее упали, нежели сели на один из диванов.

На красиво очерченных губах Шувалова тоже играла улыбка.

– Ну, – сказал он им, – стоило ли из-за этого убивать друг друга? Если бы я не подал вам совета объясниться хладнокровно и обстоятельно, один из вас, быть может, через несколько дней лежал бы в сырой земле. Эх вы, юнцы! Знайте же раз навсегда, что не стоит драться из-за женщины.

– Что теперь нам делать? – спросили оба соперника.

– Посоветовать что-нибудь очень трудно, – ответил Шувалов. – Впрочем, садитесь за стол, я дам вам карты, и вы без всякого волнения, без всякой ревности, с картами в руках вместо шпаг, можете оспаривать друг у друга свою возлюбленную и дадите обещание заранее подчиниться велению судьбы.

– Нет сомнения, что это было бы весьма благоразумно, – сказал князь Луговой. – Но в чём же, собственно говоря, состояло бы здесь наказание для этой женщины? Ведь в данном случае необходимо, чтобы порок был наказан. Женщина, которая вследствие обмана и кокетства готова была причинить такое страшное несчастье, должна потерпеть наказание. Что скажете вы на это, Пётр Игнатьевич?

– Дорогой князь, я нахожу это приключение до того смешным и так много хохотал, что не имею решительно никакого мнения.

– Итак, карты вам не нравятся? – сказал Шувалов. – А между тем это было бы средство очень лёгкое и практическое. Впрочем, есть ещё другое средство: пусть каждый из вас, по обоюдному согласию, обещает никогда не встречаться с изменницей. Увидев, что её оставили так внезапно, она, быть может, поймёт, какую страшную ошибку сделала. Наверное, она почувствует и сожаление, и некоторого рода тревогу.

– Этого недостаточно! – возразил Луговой. – А вот что, если бы мы пришли к ней с письмами в руках и показали их ей, не говоря ни слова, а затем разорвали бы их в её присутствии с величайшим презрением?

– Это очень хорошо, – поддержал Иван Иванович. – Но каким образом исполните вы эту удачную мысль? Явитесь ли вы к княжне среди белого

дня в её гостиной в то время, когда она, может быть, принимает гостей? Это будет недостойно таких порядочных людей, как вы, и месть будет чересчур сильна.

– Совершенно справедливо, – согласился князь Луговой. – Но я не так выразил свою мысль. Мы явимся тихонько вечером, пройдя в маленькую садовую калитку... Не так ли, Пётр Игнатьевич?

– А если калитка будет заперта? – возразил Шувалов.

– Ключ обыкновенно дают нам, и, без сомнения, попеременно. У кого ключ сегодня?

– У меня, – вздохнул Свиридов.

– А, теперь понятен ваш гнев! Когда же мы исполним свой план?

– Завтра вечером, князь, если вы не прочь от этого. Мы войдём, когда княжна, верная своим привычкам, отошлёт слуг, войдём так, как будто каждый из нас действует для самого себя лично, украдкой, как двое влюблённых, желающих провести приятно время, тем более что всё это – совершенная правда. Если хотите, я зайду за вами, князь, и мы отправимся вместе.

– Прекрасно.

Они ушли и на другой день вечером исполнили свой замысел.

Придя к садовой калитке и убедившись, что набережная Фонтанной совершенно пуста, они воспользовались ключом, отданным Свиридову, и проникли в сад. Ночь была довольно темна, но приятели-соперники знали дорогу. Боковая лестница вела от угла дома и позволяла его обитателям спускаться в сад, минуя парадную лестницу, выходящую на двор. Свиридов и Луговой направились к этой лестнице, как будто нарочно устроенной для подобного рода таинственных и любовных приключений, и поднялись наверх.

Вскоре они очутились в маленькой, хорошо знакомой им передней, которая была рядом с будуаром княжны Полторацкой. Оттуда доносились до них голоса. Офицеры толкнули друг друга и тихо приблизились к двери.

Дверь будуара наполовину была стеклянная, но занавес из двойной

материи совершенно скрывал её. Однако он не был настолько толст, чтобы нельзя было слышать, что говорят в другой комнате.

И действительно, самые нежные уверения в любви и самые страстные ответы на них ясно доказывали присутствие влюблённой пары, воспользовавшейся минутным уединением и тишиною в доме. Увлекающий голос княжны преобладал в этом сентиментальном дуэте.

Свиридов и князь Луговой обменялись следующими фразами:

– С кем она может быть?

– Необходимо узнать; отдёрни занавес!

Сказано – сделано, и то, что увидели приятели за приподнятым краем портьеры, заставило их сдавленным шёпотом воскликнуть в один голос:

– Вот оно что!

Княжна Людмила Васильевна сидела на коленях у красивого bruneta, расточала ему и получала от него самые нежные ласки.

Офицеры молча опустили занавес и молча удалились из комнаты и из сада, оставив ключ в замке калитки. Когда на другой день распространились слухи о трагической смерти княжны Полторацкой, первую мыслью как князя Лугового, так и Свиридова было заявить по начальству о своём ночном визите в дом покойной. Они зашли посоветоваться к Ивану Ивановичу Шувалову.

Однако не успели они начать свой рассказ, как “любимец императрицы” перебил их, сказав:

– Её величество очень сожалеет, что молодая особа так рано и так безвременно покончила с собою.

– Покончила с собою! – воскликнули в один голос князь Луговой и Свиридов. – Но ведь...

– Её величество сегодня часа два беседовала с близким к покойной человеком! – И Иван Иванович назвал лицо, которое Луговой и Свиридов видели в роковую ночь в будуаре княжны Полторацкой.

Последние переглянулись друг с другом.

– Впечатление беседы, – продолжал Шувалов, – для него было очень тяжёлое... Все заметили, что в эти проведённые с глазу на глаз с её

величеством часы у него появилась седина на висках. Завтра утром он уезжает в действующую армию.

III. ДВЕ АННЫ ИОАННОВНЫ

В один из ноябрьских вечеров 1740 года в уютной комнате внутренней части дворца в Летнем саду, отведённой для жительства любимой фрейлине императрицы Анны Иоанновны Якобине Менгден, в резном кресле сидела в задумчивости её прекрасная обитательница.

Этот дворец Анны Иоанновны был построен в 1731 году на месте нынешней решётки Летнего сада, выходящей на набережную Невы. Он был одноэтажный, но очень обширный и отличался чрезвычайно богатым убранством.

Фрейлина Якобина Менгден была высокою, стройною девушкою с пышно причёсанными белокурыми волосами, окаймлявшими красивое лицо с правильными чертами; нежный румянец придавал этому лицу какое-то детское и несколько кукольное выражение, но синие глаза, загоравшиеся порой мимолётным огоньком, а порой заволакивавшиеся дымкой грусти, и чуть заметные складочки у висков говорили иное. Они указывали, что их обладательница, несмотря на свой юный возраст (ей шёл двадцать второй год), относилась к жизни далеко не с ребяческою наивною, да и что сама эта жизнь успела показать ей далеко не казовый конец свой.

Сидевшая была одета в глубокий траур с широкими плерезами. Её прекрасные глаза носили следы многодневных слёз, причём слёзы этой фрейлины покойной императрицы принадлежали к числу искренних. Она не только оплакивала свою действительно любимую благодетельницу-царицу, но чувствовала, что со смертью Анны Иоанновны её личная судьба, ещё так недавно улыбавшаяся ей, день ото дня задёргивается дымкой грустной неизвестности.

На маленьком столике, стоявшем у кресла, лежало открытое, только что прочитанное письмо от сводной сестры Менгден, Станиславы Лысенко. В

нём последняя жаловалась на своего мужа и просила защиты у “сильной при дворе” сестры.

– “Сильной при дворе!” – с горькой улыбкой повторила Якобина фразу письма. – Сестра там, далеко, не знает, что произошло здесь в течение месяца с небольшим!

Действительно, приди письмо это ранее, когда была жива государыня или когда правил государством “герцог”, по-отечески относившийся к ней, тогда, конечно, она не дала бы в обиду Станиславы. Но что она такое теперь?.. Фрейлина покойной. Она бессильна сделать что-нибудь даже для себя, а не только для других... вот ей советуют обратиться к цесаревне. Впрочем, говорят, что её судьбой хочет заняться правительница Анна Леопольдовна. Но всё это говорят... А она сидит безвыходно у себя в комнате. О ней все забыли среди придворных треволнений, пережитых её окружающими за этот месяц с небольшим.

Треволнений при русском дворе действительно было пережито много.

С начала октября императрица Анна Иоанновна стала прихварывать, и это, конечно, не могло не отразиться на состоянии духа придворных вообще и близких к императрице людей в частности. Правда, внезапное нездоровье Анны Иоанновны вначале было признано врачами лёгким недомоганием и не представляло, по их мнению, ни малейшей опасности; однако весь двор был взволнован происшествием, случившимся в одну из ночей за неделю до смерти Анны Иоанновны в Летнем дворце.

Вот как рассказывают об этом происшествии современники.

Караул по обыкновению стоял в комнате, смежной с тронным залом. Часовой был у открытых дверей. Императрица Анна уже удалилась во внутренние покои дворца. Было уже за полночь, и офицер ушёл, чтобы вздремнуть. Вдруг часовой позвал на караул, солдаты выстроились, офицер вскочил и вынул шпагу, чтобы отдать честь. Все видят – императрица ходит по тронному залу взад и вперёд, задумчиво склонив голову и, по-видимому, не обращая ни на кого внимания. Весь взвод стоит в ожидании, но наконец странность ночной прогулки начинает всех смущать. Офицер, видя, что государыня не желает идти из зала,

решается наконец пройти другим ходом и спросить, не знает ли кто намерения государыни. Он встречается с герцогом Бироном.

– Ваша светлость, – рапортует он ему, – её величества изволит уже с полчаса прогуливаться по тронному залу, и мы в недоумении относительно намерения её величества.

– Что за вздор? Не может быть! – отвечает Бирон. – Я сейчас от государыни – она отправилась в спальню ложиться.

– Взгляните сами, ваша светлость, она в тронном зале.

Бирон идёт и тоже видит прогуливающуюся государыню.

– Это что-нибудь не так, – ворчит он, – здесь или заговор, или обман, чтобы действовать на солдат.

Он отправляется к императрице и уговаривает её выйти, чтобы в глазах караула изобличить самозванку, пользующуюся некоторым сходством с нею, чтобы морочить людей. Императрица решается выйти. Бирон идёт с нею. Они ясно видят женщину, поразительно похожую на императрицу, однако несколько не смутившуюся при появлении последней.

– Дерзкая! – говорит герцог и вызывает весь караул.

Солдаты и некоторые из сбежавшихся придворных слуг видят “две Анны Иоанновны”, из которых настоящую и призрак можно отличить только по наряду и по тому, что настоящая императрица пришла с Бироном. Императрица, простояв с минуту, в удивлении подходит к женщине и спрашивает её:

– Кто ты? Зачем ты пришла?

Не отвечая ни слова, привидение пятится, не сводя глаз с императрицы, к трону, всходит на него и на ступенях, обращая взор ещё раз на императрицу, исчезает.

Императрица обращается к Бирону и взволнованным голосом произносит:

– Это моя смерть!

Императрица удалилась к себе, караул пошёл на свои места, а герцог Бирон, задумчивый и встревоженный, отправился в свои апартаменты, находившиеся в том же Летнем дворце.

Ему было о чём встревожиться и над чем задуматься. Высоте положения

и почестей, на которой он находился в настоящее время, он был всецело обязан своей государыне, и вдруг она только что сказала ему: "Это моя смерть!"

Неизбежность этой смерти предстала перед духовным взором герцога, и в его уме возник вопрос: что принесёт ему эта смерть? Ожидаемое ли возвышение почти до власти русского самодержца или же падение с головокружительной высоты, на которую он взобрался благодаря судьбе и слепому случаю?

Действительно, его дед в половине XVII века был конюхом герцога Якова III Курляндского. У этого конюха родился в феврале 1653 года сын, которого называли Карлом.

Уже этот Бирон сделал значительную карьеру. Он изучил охоту и занимал впоследствии довольно видную должность в герцогском лесном ведомстве. Этим он был поставлен в возможность не только вести обеспеченную жизнь, но дать своим трём сыновьям возможность сделать карьеру, гораздо более блестящую, чем та, которую он сделал сам.

Возрастающее значение его второго сына Эрнста Иоганна при дворе овдовевшей герцогини Анны Курляндской, впоследствии русской императрицы, было поворотным пунктом в счастливой перемене судьбы всей фамилии Биронов. Тогда-то Карл Бирон и трое его сыновей удачно изменили свою фамилию и из Бюренов (Bühren) сделались Биронами (Biron). Вместе с тем они приняли и герб этой знаменитой во Франции фамилии.

Эрнст Иоганн, второй сын Карла Бирона, родился 12 января 1690 года. Он и его братья получили в доме отца очень посредственное воспитание. Чтобы восполнить его, Эрнст Бирон отправился в Кенигсберг. Прослушав там университетский курс, он поехал в Петербург, с целью отыскать себе место, но не нашёл такого, которым могло бы удовлетвориться его честолюбие. Он просился в камер-юнкеры при дворе цесаревича Алексея, сына Петра I, но ему было отказано в этом с презрительным замечанием, что он слишком низкого происхождения. Тогда Эрнст Иоганн возвратился в Митаву, и тут его искание места имело больший успех.

Овдовевшая герцогиня Анна Курляндская назначила его в 1720 году своим камер-юнкером, а так как он был очень красив, вскоре она избрала его в свои любимцы.

Соблюдавшая в своей жизни строгое приличие, герцогиня настояла, чтобы Эрнст Иоганн Бирон женился. Но исполнение этого плана герцогини Анны встретило большие затруднения: богатые курляндские дворяне не желали принимать в семью человека без имени.

Наконец один дворянин согласился на это. Это был Вильгельм фон Трот, прозванный Трейденем, бывший в крайне стеснённых обстоятельствах. Он выдал за Эрнста Бирона свою дочь, девятнадцатилетнюю Бенигну Готлибу.

Таким образом, это желание герцогини было исполнено, но зато другое – видеть своего любимца местным дворянином, чего и сам Бирон сильно добивался, не увенчалось успехом в бытность Анны Иоанновны герцогиней Курляндской. Высокое во всём другом значение герцогини разбивалось о стойкость курляндского дворянства, защищавшего свои права.

В 1730 году Анна Иоанновна была избрана императрицей России, и Бирон тотчас же достиг высших почестей. Он начал с того, что сделался камергером; вскоре немецкий император возвёл его в графское достоинство; потом он стал обер-камергером и кавалером ордена Св. Андрея. За этим последовали знаки отличия от различных дворов, бывших в союзе с русским.

Подкупам и интригам русский двор довёл дело до того, что в 1737 году, когда вымер род Кеттлера, курляндские дворяне сочли за честь избрать в герцоги того, которого они десять лет тому назад не пожелали признать равным себе. В 1739 году новый герцог получил инвеституру на свою землю через депутацию в Варшаве, у трона короля. В июле того же года германский император, по собственному побуждению, прислал герцогу диплом на титул светлейшего.

Таким образом, приобретя наибольшие верховные права, Бирон достиг наивысшего ранга среди русских государственных сановников. Его

власть в России тоже достигла высшей степени. Его богатство росло ежедневно; его доходы были велики, его пышность спорила с царскою. Да и немудрено: ведь все средства к его обогащению за счёт русского народа были в его руках.

Всё это полное торжества прошлое его безмерного честолюбия пронеслось в голове Бирона в то время, когда он возвращался к себе после услышанных им из уст императрицы Анны Иоанновны роковых слов: "Это моя смерть!"

Что принесёт ему эта смерть? Себялюбивый и чёрствый, он не думал в это время об императрице не только как о женщине, но даже как о друге и благодетельнице. При самых малейших колебаниях его судьбы на первый план выступало его "я", и этому своему единственному богу Эрнст Иоганн Бирон готов был пожертвовать всеми и всем.

Он, конечно, обеспечил сохранение или даже возвышение своего положения на случай смерти императрицы Анны Иоанновны, но какое-то странное предчувствие говорило ему, что это обеспечение непрочное, что будущее всё же лежит пред ним загадочным и тёмным.

IV. ПРЕДЧУВСТВИЯ СБЫВАЮТСЯ

Предчувствие Анны Иоанновны сбылось – 17 октября 1740 года её не стало. На российский престол вступил Иван Антонович, сын герцога Брауншвейгского Антона и Анны Леопольдовны, а Эрнст Иоганн Бирон, герцог Курляндский, был назначен до совершеннолетия его величества, лежавшего в то время ещё в колыбели, регентом Всероссийской империи. По смерти императрицы Бирон вступил в управление государством. Но – увы! – и его томительное предчувствие в ночь после появления во дворце двойника императрицы Анны Иоанновны должно было сбыться.

Его появление в роли регента было последней вспышкой потухавшего огня. Он получил титул "высочества", давал и подписывал от имени императора некоторые дарения членам императорской фамилии,

распоряжения о милостях и другие документы, обнародоваемые обыкновенно при начале нового царствования.

Родители императора не могли сопротивляться. Герцог Антон, не имевший связей в чужой стране, был, кроме того, труслив от природы и изнежен. Герцогиня Анна Леопольдовна, которой шёл в то время двадцать второй год, была кротка и доверчива, но необразованна, нерешительна. Она ни во что не вмешивалась и проводила целые дни в домашнем туалете с фрейлиной, смертельно скучая. Она не любила мужа, навязанного ей "проклятыми министрами", как она выражалась сама, и занималась лишь тем, что жаловалась на свою судьбу ловкому и красивому графу Линару, саксонскому посланнику. Эрнста Бирона она боялась как огня.

Он действительно обращался с родителями императора свысока.

К тому же они были сравнительно обижены. Регенту, обладателю четырёх миллионов дохода, назначено было пятьсот тысяч рублей пенсии, а родителям императора – только двести.

Герцог Антон попытался было показать своё значение, но был за это, по распоряжению регента, подвергнут домашнему аресту с угрозой попасть в руки грозного тогда начальника Тайной канцелярии Ушакова.

Пошли доносы и пытки за каждое малейшее слово, неприятное регенту, спесь и наглость которого достигли чудовищных размеров. Он громко, не стесняясь, стал говорить о своём намерении выслать из России "Брауншвейгскую фамилию".

Поведение регента стало нестерпимо. На улицах, несмотря на ужасы, творившиеся в застенках Тайной канцелярии, собирались мрачные толпы народа, в которых слышался ропот. Любимец солдат, отщёпанный фаворитом от заслуженного первого места, отважный Миних предложил Анне Леопольдовне освобождение от ненавистного ей регента и получил согласие.

Вот как описывает исполнение этого плана в своих записках адъютант фельдмаршала Миниха подполковник Манштейн:

"В последнее воскресенье, приходившееся на 9 ноября 1740 года, его

превосходительство генерал-фельдмаршал граф Миних позвал меня к себе в три часа ночи. Когда я явился к его превосходительству, мы пошли в Зимний дворец к её императорскому высочеству принцессе. Генерал-фельдмаршал сказал ей, что явился, чтобы получить от неё последние повеления, и приказал мне созвать офицеров стражи. Они явились, и принцесса со слезами на глазах сказала им, что они, конечно, знают, как герцог-регент обходится с императором, с нею и её супругом; что регент выказывает относительно неё так много злой воли, что имеет, как должно думать, намерение захватить императорский трон. “Чтобы предупредить это несчастье, – продолжала Анна Леопольдовна, – я повелеваю вам исполнять распоряжения генерал-фельдмаршала и арестовать регента”. Все, не задумываясь ни минуты, дали своё согласие. Растроганная Анна Леопольдовна не только допустила всех к своей руке, но обняла каждого из присутствовавших”.

Прямо из Зимнего дворца фельдмаршал Миних с сорока избранными людьми направился в Летний дворец, но, не доходя до него, послал Манштейна к караулу дворца, заявить караульным офицерам, чтобы они вышли для получения известий чрезвычайной важности. Офицеры охотно последовали за полковником Манштейном, и когда генерал-фельдмаршал передал им приказание принцессы, все они, как один человек, повиновались.

Полковник Манштейн отправился с двенадцатью солдатами вовнутрь Летнего дворца и беспрепятственно достиг спальни герцога Бирона. Он вошёл в неё, отдёргнул полог кровати и громко спросил: “Где регент?” Герцогиня, первая увидевшая в спальне постороннего офицера, подняла крик. Герцог тоже вскочил с постели и закричал: “Стража!” Манштейн бросился на герцога и держал его, пока не вошли в комнату гренадёры. Они схватили его, а так как он, бывший в одном белье, вырываясь, бил их кулаками и кричал благим матом, то они принуждены были заткнуть ему рот носовым платком, а внеся в приёмную, связать. Регента посадили в карету фельдмаршала Миниха с одним из караульных офицеров, солдаты окружили карету, и таким образом пленник был доставлен в

Зимний дворец.

В ту же самую злополучную для Биронов ночь к красивому дому Густава Бирона, брата регента, на Миллионной улице, отличавшемся от других изящным балконом на четырёх колоннах серого и чёрного мрамора, явился прямо из Летнего дворца Манштейн с командой.

Густав Бирон спал, ничего не опасаясь. Домовый караул, состоявший из Измайловских гренадёр при унтер-офицере, бдительно оберегал своего командира, и часовые сначала не хотели пропускать Манштейна. Однако под угрозой силы императорского указа и смерти за сопротивление они должны были уступить.

Манштейн, подойдя к дверям спальни Густава, окликнул его и заявил, что ему необходимо переговорить с хозяином дома о чрезвычайно важном деле.

Густав Бирон поспешил выйти к ночному гостю. Они приблизились к окну, и тут Манштейн, схватив Бирона за руки, сказал:

– Именем его императорского величества государя императора Иоанна Шестого я вас арестую.

– Что? – воскликнул Густав Бирон. – Меня, брата регента?

– Ваш брат более не регент, а такой же арестант, как и вы!

– Это сказки, подполковник, – рассмеялся Густав Бирон и начал вырываться от Манштейна, но вошедшая в эту минуту команда, позванная Манштейном, кинулась на Густава; ему связали руки ружейным ремнём, заткнули рот платком, закутали в первую попавшуюся шубу, вынесли на улицу, впахнули в сани, приготовленные заранее, и повезли на гауптвахту Зимнего дворца.

Здесь Густав Бирон уже нашёл своего брата-герцога, арестованного со всем семейством, и там просидел под стражей до сумерек 9 ноября. В это время к дворцовой гауптвахте подъехали два шлафвагена, в одном из которых поместилось всё семейство герцога Курляндского, отправлявшегося на ночлег в Александро-Невский монастырь, с тем чтобы на другой день оттуда следовать в Шлиссельбург, а в другой посадили Густава Бирона и увезли в Ивангород.

В ту же ночь был арестован и зять герцога Бирона, генерал Бисмарк. Ввиду того что Густаву Бирону надлежит играть в нашем повествовании некоторую роль, мы несколько дольше остановимся на его личности, тем более что он являлся исключением среди своих братьев – Эрнста Иоганна, десять лет терзавшего Россию, и генерал-аншефа Карла, страшно неистовствовавшего в Малороссии.

V. ГУСТАВ БИРОН

Густав Бирон родился в 1700 году, в отцовском имении Каленцеем, и рос в ту пору, когда его родина Курляндия была разорена войною, залегала пустырями от Митавы до самого Мемеля, недосчитывалась семи восьмых своего обычного населения, зависела и от Польши, и от России, содержала на свой счёт вдову умершего герцога Анну Иоанновну, жившую в Митаве, и заочно управлялась герцогом Фердинандом, последнюю отрасль Кеттлерова дома, не выезжавшим из Данцига и не любимым своими подданными. Всё это представляло упадок страны, и, разумеется, препятствовало развитию в ней просвещения, которое, доставаясь с трудом местному благородному юношеству, не могло быть уделом детей капитана Бирона.

Таким образом Густав, воспитываясь в доме родительском, оставался круглым невеждою, что, при ограниченном от природы уме его, не могло, как казалось, обещать ему особенно блестящую карьеру.

Но начать какую-нибудь было необходимо, и Густав задумал вступить на военное поприще, как более подходящее к его личным инстинктам и действительно скорее прочих выводившее “в люди”.

По обычаю соотечественников, Густав намеревался искать счастья в Польше, с которой Курляндия состояла с 1551 года в отношениях ленного владения. К тому же в Польшу его манило то обстоятельство, что в её армии уже давно служил его родной дядя по отцу и туда же недавно определился брат Густава – Карл, бывший до того русским офицером и

бежавший из шведского плена в Польшу.

Совместно с этими-то близкими родичами начал Густав свою военную карьеру и первоначально продолжал её с горем пополам. Последнее происходило оттого, что Польша была вообще не благоустроеннее Курляндии, беспрерывно возмущалась сеймами, не уживалась со своими диссидентами, наконец, не воюя ни с кем, что лишало Густава возможности отличиться, не наслаждалась и прочным миром. К тому же Густав, наряду со всею армиею, зачастую получал своё жалованье гораздо позже надлежащих сроков и в этом отношении должен был зависеть от сбора поголовных, дымных, жидовских и других денег, определяемых сеймами.

Таково было житьё-бытьё Густава в Польше, пока в Курляндии одинаково неуспешно тягались за герцогскую корону Мориц Саксонский и князь Меншиков, а в России скончался Пётр I, за которым сменились на его престоле Екатерина и другой Пётр.

В 1730 году состоялось избрание на русский престол герцогини Курляндской Анны Иоанновны, и судьба Густава Бирона, тогда капитана польских войск, изменилась к несравненно лучшему. Его брат Эрнст стал властным временщиком у русского престола. Получив его приглашение, братья в том же 1730 году прибыли в Россию, где старший, Карл, из польских подполковников, был переименован в русские генерал-майоры, а младший, Густав, капитан панцирных войск Польской республики, сделан майором лейб-гвардии Измайловского полка, только что учреждённого и вверенного командованию графа Левенвольда, который душой и телом был предан графу Эрнсту Иоганну Бирону.

Густав усердно отдался делу, вдохновляемый своим всесильным братом и осыпaeмый милостями государыни. После смотра 27 января 1732 года императрица пожелала явить брату подданного ей обер-камергера особую высочайшую милость и 3 февраля, в день именин государыни, он был, по сказанию тогдашних "Ведомостей", "обручён при дворе с принцессой Меншиковою. Обоим обручённым показана при том от её императорского величества сия высокая милость что её императорское

величество их перстни высочайшею особою сама разменять изволила”.

Но вдумываться в такую судьбу княжны, конечно, не приходилось её наречённому жениху, теперь, как и прежде, занятому преимущественно полком и службой.

Так прошёл пост.

9 апреля наступила Пасха, 27 апреля состоялся торжественный въезд в Петербург китайского посольства. 28 апреля великолепно отпраздновали годовщину коронования Анны Иоанновны, а 4 мая Густав Бирон стал мужем княжны Меншиковой, о чём современные “Ведомости” повествуют следующее:

“Заключённое в прошедшем феврале месяце сочетание законного брака между принцессою Меншиковою и господином майором лейб-гвардии Измайловского полку фон Бироном в прошедший четверток с великою магнифиценциею совершилось. Сие чинилось при дворе, и её императорское величество всемилостивейшая наша монархиня обеим новобрачным персонам сию высокую милость показать изволила, что учреждённый сего ради бал по высокому её императорского величества повелению до самой ночи продолжался”.

По распоряжению Левенвольда, в дом новобрачного были приглашены только те измайловские офицеры, у которых имелись карета или коляска с лошадьми, а провожать Бирона из дома во дворец, в два часа дня, дозволялось без исключения, “хотя бы пешками и верхами”.

Эта женитьба Густава Бирона, назначенного 29 июня того же года генерал-адъютантом императрицы, как нельзя лучше устроила его материальное благосостояние. С помощью брата обер-камергера он успел получить из заграничных банков почти все капиталы опального князя Меншикова, так что сыну последнего, возвращённому из ссылки одновременно с сестрою, едва досталась пятидесятая часть громадного отцовского состояния. К тому же он чрезвычайно любил свою жену, черноглазую красавицу, не уступавшую прелестями своей старшей сестре, Марии, некогда невесте императора Петра II. Он всё более и более преуспевал по службе, поощряемый высочайшими милостями, и

готовился к большой радости – быть отцом.

Но тут судьба едва ли не впервые жестоко обманула ожидания Густава Бирона – 13 сентября 1736 года его красавица жена умерла при родах. Это настолько потрясло Густава, что при последнем прощании с мёртвой женой и при погребении её он неоднократно падал в обморок.

Огорчённый потерей любимой жены и скучая невольным одиночеством, Густав Бирон стал подумывать о развлечениях боевой жизни, тем более что случай к ним представлялся сам собою. Война России и Турции была тогда в полном разгаре. Ласси уже прислал в Петербург ключи покорённого Азова, а Миних, ознаменовав взятием и разорением Перекопа, Бахчисарая, Ахмечети и Кинбурна первый из своих крымских походов, деятельно готовился к целому ряду последующих. Указом 12 января 1737 года повелено командировать к армии Миниха, расположенной на Украине, из каждого гвардейского полка по батальону, а начальником всего гвардейского отряда был назначен генерал-майор лейб-гвардии Измайловского полка подполковник и генерал-адъютант Густав Бирон. Счастье и успех сопровождали его в этой войне.

7 декабря 1739 года был заключён в Белграде выгодный для России мир с Турцией. В Петербурге делались большие приготовления к празднованию этого события.

27 декабря 1739 года состоялось торжественное вшествие в столицу частей гвардии, принимавших участие в кампании. Гвардия вступила в столицу под командой Густава Бирона. Войска были украшены кокардами из лавровых листьев. Пройдя Невский проспект, шествие направилось к Зимнему дворцу, следовало по Дворцовой набережной, мимо пресловутого Ледяного дома, и, обогнув Эрмитажную канавку, выдвинулось на Дворцовую площадь.

“Здесь, по внесении знамён внутрь дворца, нижние чины были распущены по домам, а штаб – и обер-офицеры, – как повествует очевидец Нащокин, – были позваны ко дворцу, и как пришли во дворец при зажжении свеч, ибо целый день в той церемонии продолжался, тогда её императорское величество, наша всемилостивейшая государыня в

середине галереи изволила ожидать, и как подполковник (Бирон) со всеми в галерею вошед, – низайший поклон учинили, её императорское величество изволила говорить сими словами: “Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в турецкой войне, в надлежащих диспозициях, господа штаб-и обер-офицеры тверды и прилежны находились, о чём и чрез генерал-фельдмаршала графа Миниха, и подполковника Густава Бирона известна, и будете за службы не оставлены”. Выслушав то монаршее слово, паки низайше поклонились и жалованы к руке, и государыня из рук своих изволила жаловать каждого венгерским вином по бокалу, и с тем высокомонаршеским пожалованием отпущены”.

Это “вшествие”, так блистательно показавшее толпе особу Густава Бирона, было прелюдией мирных торжеств, в распорядок которых между прочим входила и “куръёзная” свадьба придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновоу, отпразднованная в Ледяном доме 6 февраля. Главное же торжество и вместе объявление наград совершилось 14 февраля. Густав Бирон, командовавший в этот день парадом двадцатитысячного столичного гарнизона, был произведён в генерал-аншефы и получил золотую шпагу, осыпанную бриллиантами.

Наконец празднества кончились. Вскоре общественное внимание было привлечено делом Волынского, окончившимся казнью кабинет-министра. Густав Бирон не принимал ни малейшего участия в этом грустном деле, весь снова отдавшись полку и службе. Гибель Волынского, конечно, не могла не заставить его ещё глубже уверовать в несокрушимую мощь своего брата и совершенно успокоиться за своё будущее.

Настроившись всем этим благоприятно для нежных ощущений, Густав Бирон увлёкся прелестями фрейлины Якобины Менгден и решил прекратить своё вдовство. В сентябре 1740 года он торжественно обручился с нею.

В жизни Густава это, конечно, было самую приятною порою. Всё тогда улыбалось ему.

Человек далеко ещё не старый, но уже генерал-аншеф, гвардии

подполковник и генерал-адъютант, Густав Бирон состоял в числе любимцев своей государыни и, будучи родным братом герцога, пред которым трепетала вся Россия, не боялся никого и ничего; он имел к тому же прекрасное состояние, унаследованное от первой жены и благоприобретённое от высочайших щедрот; пользовался всеобщим расположением как добряк, не сделавший никому зла, и едва ли мог укорить себя в каком-нибудь бесчестном поступке; наконец, в качестве жениха любимой девушки он видел к себе привязанность невесты, казавшуюся страшною. Чего недоставало ему, невежественному и ограниченному некогда курляндскому разночинцу и десять лет тому назад голяку капитану голодавших польских панцирников? Он ли не мог рассчитывать на долгое и безмятежное пользование благами жизни и случая?

Увы! Фортуна изменила ему. Смерть императрицы Анны Иоанновны была первым из ударов судьбы, посыпавшихся на Густава Бирона и завершившихся в ночь на 9 ноября, менее чем через два месяца после обручения, арестом и ссылкой.

Разбита была и судьба фрейлины покойной государыни Якобины Менгден, которая хотя и не была особенно страстно привязана к Густаву Бирону, но всё же смотрела на брак с ним как на блестящую партию, как на завидную судьбу.

И вдруг всё рушилось разом, так быстро и неожиданно. Она была забыта всеми, хотя продолжала жить во фрейлинском помещении Летнего дворца, из которого только за несколько дней пред тем увезли арестованного регента герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Положение девушки было действительно безвыходно. В течение какого-нибудь месяца она лишилась всего и уже подумывала поехать к своей сводной сестре Станиславе, бывшей замужем за майором Иваном Осиповичем Лысенко, жившим в Москве. Там, вдали от двора, где всё напоминало ей её разрушенное счастье, Менгден надеялась хотя несколько отдохнуть и успокоиться.

Каково же было её огорчение, когда она получила от Станиславы письмо

из Варшавы, в котором та уведомляла её, что уже более года разошлась с мужем, который отнял у неё сына и почти выгнал из дома. Она просила "сильную при дворе" сестру заступиться за неё пред регентом и заставить мужа вернуть ей её ребёнка. Таким образом, и это последнее убежище ускользало от несчастной Якобины.

– Что-то будет, что-то будет! – с отчаянием шептали её губы, и слёзы неудержимо лились из её прекрасных глаз.

VI. В МОСКВЕ

В тот самый день, когда Менгден получила письмо от сестры, в Москве, на Басманной, у окна небольшого деревянного дома, принадлежавшего майору Ивану Осиповичу Лысенко, стоял сам хозяин и глядел на широкую улицу. Это высокий, полный человек с некрасивыми, но выразительными чертами лица, сильный брюнет с чёрными глазами – истый тип малоросса. Его лицо было омрачено какой-то тенью, а высокий лоб покрыт морщинами гораздо более, чем обыкновенно бывает у людей его лет.

На дворе моросил дождь, точно мелкой сеткой спускаясь с неба, широкая улица была грязна и неприветлива.

– Какая нынешний год поздняя осень, – сказал, он, обращаясь к стоявшему подле него мужчине, одетому в штатское платье – такая же неприветливая осень бывает и в человеческой жизни... Мне, например, почему-то кажется, что старость наступит для меня раньше, чем для кого-нибудь другого... Я частенько чувствую себя совершенно по-осеннему.

– Ты, Иван, слишком серьёзно относишься к жизни, – с упрёком произнёс слушавший его мужчина, – и вообще ты очень переменился в последние годы. Никто из знавших тебя молодым, весёлым офицером не узнал бы теперь. И отчего, скажи на милость! Гнёт, тяготевший над твоей жизнью, ты окончательно решился сбросить. Служба совершенно по тебе, так как ты – душой и телом солдат; тебя отличают при каждом удобном случае, в

будущем тебя наверное ждёт важный пост, твоё дело с женою идёт на лад, и сын наверное останется при тебе, по решению духовного суда. Мальчик стал красавцем в последние годы, я был положительно поражён, когда увидел его. При этом ты сам говорил мне, что он обладает выдающимися способностями.

– Я предпочёл бы, чтобы у Осипа было меньше способностей, но больше характера и серьёзности. Ты не можешь представить себе, к какой строгости приходится прибегать, чтобы справиться с ним.

– Боюсь, что ты немногого добьёшься при всей своей строгости. Ведь видно, что для военной службы он не годится.

– Он должен годиться! Это единственное возможное поприще для такой разнузданной натуры, как его, которая не признаёт никакой узды и каждую обязанность считает тяжёлым ярмом. Сдержать его может только железная дисциплина.

– Едва ли она сдержит его. Всё это – наследственные склонности, которые можно подавить, но не уничтожить. Осип и по внешности – портрет матери: у него её черты, её глаза.

– Да, – мрачно произнёс Лысенко, – её тёмные, демонические, огненные глаза, которым всё покорялось...

– И которые были твоим несчастьем, – dokonчил Сергей Семёнович Зиновьев (таково было имя, отчество и фамилия товарища и друга детства Лысенко). – Как я ни предостерегал тебя тогда, но ты ничего знать не хотел, страсть овладела всем твоим существом, точно горячка. Я никогда не мог понять это. Твой брак с самого начала носил в себе зародыш несчастья: женщина чуждого происхождения, чуждой религии, дикая, капризная, бешеная польская натура, без характера, без понятия о том, что мы называем долгом и нравственностью – и ты, со своими стойкими понятиями о чести; мог ли иначе кончиться подобный союз?.. А между тем мне кажется, что ты, несмотря ни на что, продолжал любить её до самого разрыва.

– Нет, очарование улетучилось уже в первый год. Я слишком ясно видел всё, но меня останавливала мысль, что, решившись на развод, я

выставлю напоказ свой домашний ад; я терпел до тех пор, пока у меня не оставалось другого выхода, пока... Но довольно об этом! – и Лысенко, быстро отвернувшись, стал снова смотреть в окно.

– Да, много нужно для того, чтобы вывести из себя человека, подобного тебе, – серьёзно заметил Зиновьев. – Но ведь развод освободит тебя от железных цепей, и тебе следует уже теперь похоронить даже воспоминание о них.

Лысенко мрачно покачал головой.

– Подобные воспоминания нельзя похоронить, они постоянно восстают из мнимой могилы... Да и развод ещё не кончен. Хорошо ещё хоть то, что Станиславы нет здесь.

– Она уехала в Варшаву?

– Да, там у неё родные.

– Значит, она потеряла надежду выиграть дело?

– Какая же может быть у неё надежда?

– Но если она вернётся и пожелает видеться с сыном?

– Я никогда не допущу этого. Да она и не пожелает потребовать этого после того, что произошло. Она вполне узнала меня в тот час, когда мы расстались, и побоится во второй раз доводить меня до крайности.

– Но она может помимо тебя, тайно, достичь того, в чём ты отказываешь ей открыто.

– Это невозможно. Я зорко слежу за сыном, у меня надёжные слуги, – возразил Лысенко.

– Признаться откровенно, я считаю ошибкою с твоей стороны упрямое желание скрыть от сына, что его мать жива, – произнёс Зиновьев. – Хуже будет, если он узнает это от посторонних. И, наконец, когда-нибудь да придётся же тебе рассказать ему всё.

– Может быть, когда он сделается юношей и самостоятельно вступит в жизнь. Теперь же он ребёнок и ничего не поймёт из той драмы, которая разыгралась в доме его отца.

– Пожалуй, ты прав... Но будь, по крайней мере, настороже... Ты знаешь свою жену, знаешь, чего можно от неё ждать.

– Да, я знаю её, – с горечью сказал Иван Осипович, – а потому-то и хочу оградить от неё моего сына. Он не должен дышать воздухом, отравленным её близостью, хотя бы в продолжение одного часа! Не беспокойся, я нисколько не скрываю от себя опасности, которая грозит мне при возвращении Станиславы, но пока Осип подле меня, бояться нечего, потому что ко мне она не приблизится, даю тебе слово.

– Будем надеяться, – ответил Сергей Семёнович, – но не забывай, что наибольшая опасность кроется в самом Осипе; он во всех отношениях – сын своей матери... На днях ты уезжаешь с ним к Полторацким, я слышал?..

– Да, на несколько дней... Рождение дочери, княжны Людмилы... Летом же Осип будет гостить у них, во время лагерей...

Зиновьев попрощался и вышел.

Иван Осипович снова направился к окну и уставился мрачным взором на частую сетку морящегося дождя.

“Сын своей матери”, – припомнились ему слова Сергея Семёновича. Правда, не было никакой надобности слышать их от другого – он сам хорошо знал это. Именно это осознание и провело такие глубокие морщины на его лбу и вынудило у него такой тяжёлый вздох, так как уже около года он со всей энергией боролся с злополучною наследственностью сына.

Мысль о том, что мать может пожелать видеться с сыном, и раньше приходила ему в голову, но он старался отогнать её. Сегодня он получил от неё даже письмо с этой просьбою.

– Мой сын не знает, что его мать ещё жива, и пока не должен знать это. Я не хочу, чтобы он видел её, говорил с нею, и этого не будет! Я, надеюсь, сумею помешать этому.

Иван Осипович высказал эту мысль вслух и так ударил потухшей трубкой об пол, что она разбилась на мелкие черепки.

Вбежавший казачок бросился подбирать осколки.

– Свежую! – крикнул майор, бросая ему чубук.

Тот схватил чубук и выбежал из комнаты.

VII. ЦЕСАРЕВНА

Почти такой же одинокой и забытой, как и Якобина Менгден, жила в своём дворце на Царицыном лугу, где в настоящее время помещаются Павловские казармы, цесаревна Елизавета Петровна.

Тридцатилетняя красавица, высокая ростом, стройная, прекрасно сложенная, с чудными голубыми глазами, с белым цветом лица, чрезвычайно весёлая и живая, неспособная, казалось, думать ни о чём серьёзном, – такова была в то время цесаревна Елизавета Петровна. Между тем 9 ноября 1740 года на её лице лежала печать тяжёлой, серьёзной думы. Цесаревна полулежала в кресле, в своей спальне, то открывая, то снова закрывая свои прекрасные глаза. Картины прошлого неслись пред нею, годы её детства и юности восставали пред её духовным взором. Смутные дни, только что пережитые ею в Петербурге, напомнили ей вещий сон её матери – императрицы Екатерины Алексеевны.

Незадолго до смерти императрице приснилось, что она сидит за столом, окружённая придворными. Вдруг появилась тень Петра I, одетого как древние римляне. Он поманил к себе Екатерину. Она пошла к нему, и он унёсся с нею под облака. Улетая с ним, она бросила взор на землю и там увидела своих детей, окружённых толпою, составленную из представителей всех наций, шумно споривших между собою. Екатерина Алексеевна истолковала этот сон так – что она должна скоро умереть и что по смерти её в государстве настанут смуты.

Этот сон исполнился. Со времени Петра II государство не пользовалось спокойствием, каковым нельзя же было считать десятилетие правления Анны Иоанновны, то есть произвола герцога Бирона. А теперь снова наступали ещё более смутные дни. Император – младенец, правительница, бесхарактерная молодая женщина, станет, несомненно, жертвою придворных интриганов.

От мысли о матери цесаревна невольно перенеслась к мысли о своём великом отце. Если бы он встал теперь с его дубинкой, – многим досталось бы по заслугам.

Гневен был великий Пётр, гневен, но отходчив. Ясно и живо восставала в памяти Елизаветы Петровны одна ссора Петра и её матери. Не знала она тогда, хотя теперь догадывалась, чем прогневала матушка её отца. Он стоял с Екатериною у окна во дворце. Анна и Елизавета, играя тихо, сидели в одном из уголков той же комнаты.

– Ты видишь это венецианское стекло? – сказал супруге Пётр. – Оно сделано из простых материалов, но благодаря искусству стало украшением дворца. Я могу возвратить его в прежнее ничтожество.

С этими словами он разбил стекло вдребезги.

– Вы можете сделать это, но достойно ли это вас? – ответила Екатерина. – И разве оттого, что вы разбили стекло, ваш дворец сделался красивее?

Пётр ничего не ответил. Хладнокровие здравого смысла утишило раздражение.

Елизавета Петровна часто думала об этой ссоре, врезавшейся в её память. Только с годами она поняла её значение – поняла, что, говоря о стекле, отец намекал на простое происхождение её матери.

Одновременно с этой сценой из дворца исчез красивый камергер императрицы Монс де ла Кроа; его вскоре казнили, и всё стало ясно для Елизаветы.

Однако её отец с матерью примирились.

Далее потянулись воспоминания цесаревны. Она припоминала свою привольную, беззаботную жизнь в Покровской слободе. Песни и веселье не прерывались. Цесаревна сама была тогда прекрасной, голосистой певицей; запевалой у неё была известная в то время по слободе певица Марфа Чегаиха. За песни цесаревна угощала певиц разными лакомствами и сластями. Цесаревна иногда с девушками на посидках, когда они работали, тоже занималась рукодельями, пряла шёлк, ткала холст; зимою же на святках собирались к ней ряженные слободские парни и девки, и

тут разливался добродушный разгул: начинались пляски, присядки, веселье и удалые песни, гаданья с подблюдным припевом.

На Масленице у своего дворца, против церкви Рождества, цесаревна собирала слободских девушек и парней кататься на салазках, связанных ремнями, с горы, названной по дворцу царевнину – Царевною, и сама каталась с ними, а то так мчалась на лихой тройке по улицам Москвы.

Любимою потехою цесаревны была охота. Ей она посвящала всё своё время в слободе, будучи в душе страстной охотницей до псовой охоты за зайцами. Она выезжала верхом в мужском платье и на соколиную охоту. В слободе был охотный двор на окраине. Здесь тешилась царевна напуском соколов в вышитых золотом, серебром и шелками бархатных клубочках, с бубенчиками на шейках, мигом слетавших с кляпышей, прикрепленных к пальцам ловчих, подсокольничих и кречетников, живших на том охотном дворе, где содержались и приноровленные соколы, нарядные сибирские кречеты и учёные ястребы.

Но более всего любила цесаревна травить зайцев собаками. С пронзительным свистом, диким гиканьем, звучным тьяканьем гончих, резвых борзых мчались шумные ватаги рьяных охотников, оглашая поляны дворцовых волостей слободы, представлявших широкое раздолье для утех цесаревны, скакавшей, бывало, на ретивом коне всегда с неустрашимую резвостью впереди всех.

Рядом нёсся любимый её стремянный – Гаврила Извольский, а за ним – доезжачие, стаешники со сворами борзых и гончих, далее – кречетники, сокольники, ястребинники, со своей птичьей охотой. Всю эту шумную вереницу гулливого люда, среди которого блистали красавец Алексей Яковлевич Шубин, прапорщик лейб-гвардии Семёновского полка, и весельчак Лесток, замыкал обоз с вьючниками. Шубин, сын богатого помещика Владимирской губернии, был ближним соседом цесаревны по вотчине своей матери. Он был страстным охотником, на охоте познакомился с Елизаветой Петровной и стал близким её сердцу. Лесток был врачом цесаревны; восторженный француз, он чуть не молился на свою цесаревну.

Но вот весёлые воспоминания Елизаветы Петровны прервались.

Не по её воле окончилась её беззаботная жизнь в Покровской слободе. Ей было приказано переехать на жительство в Петербург. Подозрительная Анна Иоанновна и ещё более подозрительный Бирон, видимо, испугались её популярности.

Жизнь в Петербурге была не та, что там, под Москвою. Здесь испытала цесаревна первое сердечное горе. Неосторожный Шубин поплатился за преданность ей – его арестовали и отправили на Камчатку, где насильно женили на камчадалке.

Много слёз пролила Елизавета, скучая в одиночестве, чувствуя постоянно тяжёлый для её свободолюбивой натуры надзор. Кого она ни приближала к себе – всех отнимали. Появился было при её дворе Густав Бирон и понравился ей своей молодцеватостью да добрым сердцем, но ему запретили бывать у неё. А сам Эрнст Бирон часто в наряде простого немецкого ремесленника, прячась за садовым тыном, следил за цесаревной. Она видела это, но делала вид, что не замечает.

Припомнились ей оба Бирона теперь именно, после выслушанного рассказа о происшедшем в минувшую ночь. Искренне пожалела она Густава Бирона, а особенно его невесту, Якобину Менгден. Что-то чувствовала последняя теперь?.. Не то же ли, что чувствовала она, цесаревна, когда у неё отняли Алексея Яковлевича?

Года уже не только притупили боль разлуки, но даже в сердце цесаревны уже давно властвовал другой Алексей – Разумовский, и властвовал сильнее, чем Шубин, однако воспоминание о видном красавце, теперь несчастном колоднике, приходило в голову Елизавете, и жгучая боль первых дней разлуки колола её сердце. Сочувствие к молодой девушке, порушенной невесте Густава Бирона, вызвало и теперь эти воспоминания и эту боль.

Весёлые картины привольной жизни под Москвой сменились тяжёлыми мыслями о тревожном настоящем и неизвестном, загадочном будущем.

– Дозволишь войти, цесаревна? – раздался приятный голос, и в дверях появился Алексей Григорьевич Разумовский.

Это был высокий, стройный мужчина, лет тридцати, несколько смуглый, с чудными чёрными глазами и чёрными же дугообразными бровями – словом, настоящий красавец.

Доверенное лицо и в описываемое время управляющий небольшим двором цесаревны и её имениями, Алексей Григорьевич Разумовский был далеко не знатного происхождения.

В конце семнадцатого столетия в деревне Лемеша Черниговской губернии, на девятой версте от Козельца в Чернигов, жил регистровый казак “Киевского Вышгорода-Козельца полка Григорий Яковлевич Розум”. Хотя он и “с великою охотою свои казацкие против татар и протчих неприятелей отправлял походы”, однако счастье не улыбалось ему, “ради частых нечаемых ово от неприятелей, ово междоусобных разорений”.

Григорий Яковлевич женился на дочери казака Демьяна Стрешенцова из соседнего села Адамовки – Наталье Демьяновне, женщине очень умной, так что её прозвище “Розумиха” как нельзя лучше подходило ей.

Что был за человек Григорий Яковлевич Розум, долго ли жил и чем занимался в свободное от походов время – неизвестно. Несомненно только, что в описываемое нами время в живых его уже не было.

У Натальи Демьяновны было три сына: Данила, Алексей и Кирилл, и три дочери: Агафья, Анна и Вера. Данила умер ещё в царствование Анны Иоанновны, оставив на попечение Натальи Демьяновны свою дочь, Авдотью Даниловну, Алексей Григорьевич родился в Лемешах 17 марта 1709 года. Он был сперва пастухом общественных стад, но его привлекательная наружность и приятный голос обратили на него внимание духовенства соседнего села Чемеры, и оно взяло мальчика под своё попечение. Священнослужители обучили его грамоте и церковному пению, и молодой Розум пленял своим чудным голосом чемеровских прихожан. Третий сын Натальи Демьяновны – Кирилл Григорьевич – родился 18 марта 1724 года. Он ходил за отцовскими волами.

Дети росли и утешали родителей.

– Сыновья мои родились счастливыми, – говорила впоследствии Наталья Демьяновна. – Когда Алёша хаживал с крестьянскими ребятишками по

орехи или по грибы, он набирал их всегда вдвое больше, чем товарищи, а волы, за которыми ходил Кирилл, никогда не заболели и не сбегали со двора.

Хата Розумихи стояла среди Лемешей, по правую сторону почтовой дороги от Козельца в Чернигов. На потолке её, во всю длину, красовался драгоценный сволок, то есть обои, со следующей резною надписью: "Благословением Бога Отца, поспешением Сына (за ними изображение креста), содействием Святого Духа создася дом сей рабы Божией Натальи Розумихи. Року 1711 мая 5 июня". В таком виде сохранилась хата эта до 16 июня 1854 года, когда пожар уничтожил её дотла.

Однажды Наталье Демьяновне приснилось, что в хате у неё, на потолке, светятся солнце, месяц и звёзды, все вместе. Она пересказала сон соседкам, но те лишь посмеялись над нею.

В начале января 1731 года через Чемеры проезжал полковник Вишневский, возвращавшийся из Венгрии, куда он ездил покупать венгерские вина для императрицы Анны Иоанновны. Он зашёл в церковь, пленился голосом и наружностью Алексея Розума и уговорил Наталью Демьяновну отпустить сына с ним в Петербург. Приехав туда, Вишневский представил своего питомца к тогдашнему обер-гофмаршалу графу Рейнгольду Левенвольду, а последний поместил молодого малороссиянина в придворный хор.

Однажды цесаревна Елизавета Петровна присутствовала при богослужении в придворной церкви, была поражена голосом Розума и потребовала, чтобы он был представлен ей после окончания литургии. Его красота поразила великую княжну ещё более, чем голос, и она попросила Левенвольда уступить ей молодого певчего. Граф согласился, и Алексей Григорьевич, получивший при поступлении ко двору Елизаветы Петровны прозвание Разумовского, стал считаться певчим цесаревны.

Однако его голос вскоре начал спадать, и из певчих он был переименован в придворные бандуристы. Это случилось после истории с Шубиным.

Арест и горестная судьба этого "сердечного друга" произвели сильное впечатление на великую княжну. Она долгое время была неутешна по своём любимце и даже намеревалась принять иноческий сан в александровском Успенском монастыре. Когда первые порывы грусти прошли, цесаревна почувствовала себя совершенно одинокою среди неблагоприятного к ней петербургского двора. Вот в это-то время она и увидала при дворе молодого красавца Розума, и вскоре он, уже не Розум, а Разумовский, был произведён в управляющие одного из цесаревниных имений. Мало-помалу и другие недвижимые имущества, а вслед за ними и весь небольшой двор Елизаветы Петровны очутились под ведением Алексея Григорьевича, – одним словом, он вполне занял место сосланного Шубина.

Дочь Екатерины I, рождённая до брака и "не привенчанная", возросшая среди птенцов Великого Петра, которых грозный царь собирал на всех ступенях общества, Елизавета Петровна была чужда родовым предрассудкам и аристократическим понятиям. При её дворе люди были всё новые.

Но если бы она и желала окружить себя Рюриковичами или потомками Гедиминов, это едва ли удалось бы ей.

Оставшись на восемнадцатом году после смерти матери и отъезда сестры Анны в Голштинию без руководителей, во всём блеске красоты необыкновенной, получившая в наследство от родителей страстную натуру, от природы одарённая добрым и нежным сердцем, кое-как или, вернее, вовсе невоспитанная, среди грубых нравов, испорченных ещё лоском обманчивого полуобразования, бывшая предметом постоянных подозрений и недоверия со стороны двора, цесаревна Елизавета видела ежедневно, как её избегали сильные мира сего, и поневоле искала себе собеседников и утешителей среди меньшей братии. Немудрено, что главное место среди последней занял красавец Алексей Разумовский.

Когда он появился в комнате цесаревны, последняя обратилась к нему с вопросом:

– Что скажешь, Алексей Григорьевич?

- Да напомнить пришёл, цесаревна, не съездишь ли ты сегодня ко двору.
 - Что я там забыла?
 - Забывать-то, пожалуй, и не забывала, да тебя-то, цесаревна, там забыть не могут.
 - Это ты правильно: стою я им, как сухая ложка, поперёк горла.
 - Вот то-то оно и есть. Ведь нынешней правительнице доподлинно известно, что регент в последнее время строил относительно тебя, царевна, свои планы.
 - Это выдать меня за своего сына Петра и удалить из России Брауншвейгскую фамилию? Нет, меня за немца замуж не выдать – не только за доморощенного, но даже и за настоящего... Немало немецких принцев на меня зарилось, да все ни с чем отъехали. Чай, тебе это хорошо известно.
 - Как не быть известным? Да и не мне одному, а и гвардия, и народ – все это знают и почитают тебя, царевна, за то ещё пуще.
 - Насолили им немцы-то.
 - Уж и не говори, царевна! А съездить ко двору всё же надо... Не ровен час, как взглянется... Ишь, они ночные действия устраивать принялись.
 - Что же, Алексей Григорьевич, может, этим они нам пример подадут!.. – весело сказала цесаревна.
 - Дай-то Бог... Всё Он, Всемогущий...
 - Эх, шутки я шучу Алексей Григорьевич, а в душе при этих шутках кошки скребут. Ведь знаю я, какое дело мы затеваем. Не себя жаль мне! Что я? Головы мне не снимут, разве в монастырь дальний сошлют, так мне помолиться и не грех будет... А вот вас всех жаль, что около меня грудью стоят! Ведь с вами будет то же, что с Алексеем Яковлевичем... А ведь он тебе тёзкой был.
- Лёгкая судорога пробежала по красивому лицу Разумовского. Он не любил, когда цесаревна вспоминала о Шубине.
- О нас, цесаревна, не беспокойся... Нам зря болтать не доводилось, да и не доведётся, – с горечью ответил он. – Так прикажи туалет твой подать – и с Богом поезжай во дворец-то.

– И то съездить надо! – Встала Елизавета Петровна, сделав вид, что не обратила внимания на колкость, отпущенную Разумовским по поводу болтливости Шубина.

– Поезжай, матушка, да поласковее будь с её герцогским высочеством, она на ласку-то отзывчива.

– Знаю это! Ведь знаю – на ласку-то меня и взять, только не на притворную. Тяжело, а делать нечего...

– Так я пойду, ноне кое-кого ещё повидать надо. Замолви царевна, коли случай подойдёт, словечко за Якобину-то... Совсем, говорю, девка искручинилась.

– Да, да, непременно! Несчастливая!.. – ответила Елизавета Петровна, и при этом напоминании о фрейлине Менгден, жених которой был так внезапно арестован, снова пред нею встала фигура красавца Шубина.

Алексей Григорьевич вышел.

VIII. ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Прошло несколько месяцев после переворота, произведённого фельдмаршалом Минихом в пользу Анны Леопольдовны. В кабинете тогдашнего французского посланника при русском дворе маркиза Жака Троти де ла Шетарди находились сам хозяин и придворный врач цесаревны Елизаветы Герман Лесток.

Маркиз был назначен представителем Франции при русском дворе всего около двух лет тому назад. Он был типом светского француза восемнадцатого века. То офицер, то дипломат, но прежде всего придворный, – он обращал на себя внимание везде, где ни появлялся. В обществе он имел большой успех и насчитывал столько же друзей, как и врагов, привлекая одних своей любезностью и личным обаянием и восстанавливая против себя других своим подвижным и вспыльчивым нравом.

Герман Лесток приехал в Россию в 1713 году, определился врачом при

Екатерине Алексеевне и в 1718 году был сослан Петром в Казань. Со вступлением на престол Екатерины I он был возвращён из ссылки и определён врачом к цесаревне Елизавете Петровне, которой сумел понравиться своим весёлым характером и французской любезностью.

Шетарди нервно ходил по кабинету, в то время как Лесток, видимо, с напускным спокойствием сидел в кресле.

– Итак, вы говорите, любезный Лесток, что положение вашей очаровательной пациентки становится день ото дня всё тяжелее и опаснее?..

– Да, маркиз, она, видимо, сама не сознаёт этого и не жалуется, но нам, близким ей людям, всё это слишком ясно... У цесаревны нет влиятельных друзей, мы, мелкие сошки, что можем сделать?..

– Отчего нет влиятельных друзей? Быть может, и найдутся.

Лесток, словно не слыхав этого замечания, продолжал:

– Цесаревна слишком доверчива, добра и жизнерадостна, чтобы предаваться опасениям, но нам, повторяю, доподлинно известно, что её гибель решена... там...

– А... Ну, это посмотрим!.. – взволновался Шетарди. – Гибель её – гибель изящнейшей русской женщины нашего времени!..

Маркиз был положительно очарован цесаревной. Среди русского двора Анны Иоанновны, с его увеселениями, шутами, скоморохами, грубой, безвкусной роскошью, только одна личность напоминала западные нравы и подходила к духу западных наций своими вкусами, безыскусственной весёлостью и врождённой грацией. Это была цесаревна Елизавета, и с первого свидания Шетарди пользовался всяким случаем быть с нею. Это, видимо, нравилось цесаревне, а так как к тому же и сам французский король очень интересовался ею лично, то она часто повторяла маркизу, что ей известны чувства, которые питает к ней король, что она этим тронута и постарается поддержать их.

Наоборот, принцесса Анна Леопольдовна и её муж обращались с Шетарди чрезвычайно холодно. Это задевало его самолюбие, и он лишь ждал случая отомстить им. Случай теперь представлялся для Шетарди очень

удобный.

Дело в том, что русский двор был поставлен им в щекотливое положение. Шетарди был назначен чрезвычайным послом французского короля при императрице Анне Иоанновне, но лишился этого звания со смертью императрицы. Несколько времени спустя ему велено было остаться представителем Франции в Петербурге, но только в звании полномочного посланника.

Возник вопрос о том, каким образом он представит свои новые верительные грамоты. Посланники других держав удовлетворялись аудиенцией у правительницы, но маркиз Шетарди категорически требовал, чтобы ему позволили представиться самому царю, которому не исполнилось ещё в то время и года. Подобное требование удивило русских и породило массу самых запутанных вопросов. Будет ли аудиенция частная или публичная? Вручит ли посланник свои кредитивные письма самому ребёнку? Положит ли он их на табурет, поставленный у подножия трона, или вручит их правительнице, которая будет держать младенца-царя на руках?

Поставив таким образом в затруднение правительницу, Шетарди торжествовал, и теперь, когда к нему неспроста – он понял это – пришёл Лесток, доверенное лицо цесаревны Елизаветы, маркиз нашёл, что придуманная им месть Анне Леопольдовне недостаточна, что есть ещё другая – горшая: очистить русский престол от Брауншвейгской фамилии и посадить на него дочь Петра Великого, заменив таким образом ненавистное народу немецкое влияние – французским. Ведь он таким образом мог бы достичь разом двух целей – жестоко отмстить Анне Леопольдовне и её супругу и исполнить свою главнейшую миссию при русском дворе.

В инструкции французского министерства иностранных дел ему предписывалось собрать предварительные сведения о положении России и партий при русском дворе. При этом он должен был обратить особенное внимание на лиц, державших сторону великой княжны Елизаветы Петровны, разузнать, какое значение и каких друзей она может иметь, а

также настроение умов в России, семейные отношения, словом, всё то, что могло бы предвещать возможность переворота.

Шетарди уже знал, что незадолго до его прибытия в Петербург был открыт заговор, в котором была замешана Елизавета Петровна, и что её фаворит Нарышкин должен был бежать во Францию, откуда он продолжал интриговать в пользу цесаревны.

Всё это мгновенно пронеслось в голове маркиза де ла Шетарди в то время, когда Лесток упомянул о возможности гибели Елизаветы Петровны.

– Конечно, – продолжал Лесток, – её не казнят публично и даже не умертвят, но постригут в монастырь.

– Этому не бывать! – воскликнул маркиз. – Не монашеский клобук, а царская корона приличествует этой прелестной головке. Передайте цесаревне, что я от имени короля заявляю ей, что Франция сумеет поддержать её в её великом деле. Пусть она и люди её партии располагают мною, но мне всё же необходимо снести по этому поводу с моим правительством, так как посланник, не имеющий инструкций, всё равно что незаведённые часы.

Ускорить уже давно задуманное им участие в деле цесаревны Елизаветы побудило Шетарди следующее обстоятельство.

Весною 1741 года Миних, бывший противник союза с Австрией, не поладил с принцем Брауншвейгским и был отрешён от занимаемых им должностей. Австрийская партия восторжествовала, и в тот момент, когда Франция стала открыто на сторону врагов Марии-Терезии, подписав вместе с Пруссией и Баварией военный союзный договор, Россия готовилась выступить на защиту королевы венгерской и послать ей на помощь войска. В это время в Петербург прибыл английский уполномоченный Финч. Англия предлагала Брауншвейгскому дому обеспечить за ним русский престол, если Россия обещает ей помогать в её борьбе с Францией. Правительница согласилась на это предложение и, подписав договор, открыто присоединилась к недругам Франции.

Маркиз де ла Шетарди предвидел это решение, но не старался устранить

его. Зная неприязненные отношения Брауншвейгского дома к Франции, он полагал, что Франции нечего ожидать от Анны Леопольдовны и что Россия, управляемая немцами, рано или поздно всецело подпадёт под влияние Австрии. Он был уверен, что русский двор изменит свою политику только с переменой правительства, а для того чтобы вырвать Россию из рук немцев, по его мнению, было одно средство – совершить государственный переворот. Вот именно на участие в этом перевороте и намекал ему Герман Лесток.

Шетарди придвинул своё кресло к креслу Лестока и стал беседовать с ним откровенно, “начистоту”. И ему, и Лестоку дело переворота казалось довольно лёгким, так как большинство русских людей ненавидело господствующую немецкую партию. Составить заговор или примкнуть к уже составленному, положить конец господству иноземцев, возвести на престол Елизавету, душой и сердцем напоминавшую француженку, – вот план, подробности которого восторжёнными шёпотом развивал пред Лестоком Шетарди.

Однако более старый годами и умудрённый опытом Лесток несколько охладил пылкого маркиза. Он заговорил об отрицательных сторонах задуманного, советуя прежде всего обратить на них главное внимание, чтобы не потерять всего в последнюю минуту вследствие горячности и неосторожности.

– Войска и народ действительно любят цесаревну, – сказал он, – многие русские, обожающие в её лице дочь Петра Великого, возлагают на неё одну свои надежды, но увы! – у цесаревны нет партии в настоящем смысле этого слова, то есть нет известного числа дисциплинированных людей, которые были бы подчинены одному лицу и были бы готовы на всё по первому данному сигналу.

– Но чем вы это объясните?

– Для того чтобы образовать партию и руководить ею, необходимы терпение и притворство, качества, которыми не обладает цесаревна... Она легкомысленна и несдержанна, да, кроме того, главным двигателем заговора всегда являются деньги, а их-то у цесаревны нет.

– За деньгами дело не станет, они будут, – уверенно. сказал маркиз. – Я на этих днях постараюсь увидеть цесаревну и поговорю с нею, но только наедине, чего мне до сих пор, к сожалению, не удавалось.

Действительно, маркизу де ла Шетарди до сих пор не удавалось пробить даже несколько минут с глазу на глаз с цесаревной Елизаветой Петровной, так как около неё всегда находился какой-либо подосланный двором шпион. Однако на другой день после посещения Лестока маркиз был счастливее и, явившись во дворец Елизаветы Петровны, застал её одну.

Она приняла его с присущей ей утончённой любезностью и в разговоре с особенным чувством упоминала имя французского короля. Маркиз даже заключил, что цесаревна питает к королю какую-то особую романическую привязанность. Ей были, конечно, известны переговоры, которые велись о её браке с Людовиком XV. Слыша со всех сторон похвалы уму и красоте молодого короля, она действительно питала к этому монарху, которого никогда не видела, но женой которого могла бы быть, чувство какой-то особенной нежности, смешанной с любопытством. Из этой беседы маркиз вынес убеждение, что цесаревна всецело рассчитывает на него, и в тот же вечер написал письмо во Францию, склоняя своё правительство помочь государственному перевороту в России. Однако французский двор колебался. Вмешаться тайным образом в домашние распри посторонней державы, дать деньги для составления заговора против существующего правительства и сделать французского короля сообщником этого заговора – казалось делом очень рискованным. Но мало-помалу желание устранить в Петербурге немецкое влияние и заменить его французским взяло верх над прочими соображениями. Французское правительство пришло к тому убеждению, что это дело вполне заслуживает внимания короля, а затем Шетарди было велено передать цесаревне, что Франция предоставляет в её распоряжение свои средства, свой кредит и готова помогать ей своими советами.

Желая польстить тайной склонности Елизаветы Петровны, маркиз уверил её, что король, содействуя её планам, занят лишь ею и её выгодами. Он

ссылался на удовольствие, какое испытывает король, и уверял цесаревну, что действия короля всегда будут направлены единственно к удовольствию видеть её счастливой и восседающей на престоле, что король охотно доставит средства для таких издержек, как только он уведомит, каким образом можно это будет сделать, соблюдая тайну, и что он будет считать себя вполне вознаграждённым, если ему достанется слава возведения на престол принцессы, заслуживающей этого во всех отношениях.

Елизавета Петровна не замедлила высказать, что она тронута тем, что король желает для неё сделать, и, руководимая живейшею признательностью, ни минуты не замедлила бы высказать её, взяв на себя честь написать его величеству, если бы соображения, которым она оказывается подчинённой, не лишили её средств к тому. Тем скорее она поспешит вознаградить за упущенное, если дела примут счастливый оборот; ни о чём тогда она не будет заботиться сильнее, как о том, чтобы всю свою жизнь представлять доказательства своей благодарности королю.

После такого обмена нежных чувств оставалось лишь выработать план совместных действий.

В это время отношения России к Швеции обострились. Возможность войны становилась всё более и более вероятною, так как Швеция не могла примириться с потерей провинций на восточном побережье Балтийского моря и собиралась возратить их силою оружия.

Елизавета и Лесток хотели выждать начала войны и воспользоваться смятением, какое вызовет при петербургском дворе весть о приближении неприятеля, чтобы подать сигнал к восстанию.

Франция одобрила этот план в принципе, но с некоторым изменением. Содействуя государственному перевороту, она хотела воспользоваться им не только для того, чтобы сблизиться с Россией, но чтобы восстановить за её счёт прежнее величие Швеции.

Преследуя эту цель, французское правительство выразило желание, чтобы Швеция обязалась напасть на русских по первому требованию, а

Елизавета обещала, вступив на престол, возвратить ей часть прибалтийских провинций, завоёванных Петром Великим.

Предъявляя это требование, Франция, видимо, не приняла во внимание патриотизма и дочерней любви великой княжны. Ведь цесаревна сочла бы изменою против своего отечества и против памяти своего отца отказаться от завоеваний, которые должны были обеспечить государству сообщение с морем и защищать доступ к основанной Петром Великим столице. Возвратить прибалтийские губернии – значило бы вернуться на полвека назад! Возможно ли было вычеркнуть из летописей истории Полтавскую победу? Лучше было отказаться от престола, нежели получить его такою ценою. Понятно, что относительно этого пункта Елизавета Петровна оставалась непреклонною и наотрез отказалась уступить хотя бы одну пядь русской земли.

Это упорство со стороны великой княжны было первою помехою к осуществлению плана, составленного маркизом Шетарди.

Вскоре явилось и другое препятствие.

Мы говорили уже о натянутых отношениях, возникших между Францией и Россией по поводу представления посланника малолетнему царю. Переговоры затянулись и угрожали повести к разрыву дипломатических сношений. В мае 1741 года Шетарди было приказано объявить Остерману, что он прервёт всякое сношение с русским правительством, если ему не будет дозволено представить свои верительные грамоты самому царю. Остерман не хотел отвечать на это требование решительным отказом и в то же время не хотел согласиться на аудиенцию у царя, который был слаб здоровьем. Поэтому, во избежание всяких объяснений, он прибегнул к своему обычному способу, когда находился в затруднении или когда отстаивал неправо дело – он заболел. Не получая на своё требование категорического ответа, Шетарди прекратил дипломатические сношения с русским двором и вследствие этого потерял возможность официально посещать цесаревну Елизавету, которая ещё не решалась видаться с ним тайно. Лесток являлся иногда на свидания, назначаемые ему Шетарди, но боязнь

наказания, а может быть и ссылки, парализовала ему язык. Всё это тоже служило препятствием к осуществлению франко-русского плана.

Действительно, подозрение двора уже было возбуждено. Советники правительницы указывали ей на разные меры для её личной безопасности и, внушая подозрения относительно Елизаветы Петровны, предлагали заключить её в монастырь или выдать замуж за иностранного принца.

Так прошло несколько недель. Шетарди не видел великой княжны и ничего не слыхал о ней. Его разрыв с двором делал его подозрительным для русских, лишил его всякого общества и обрёл на полное одиночество. Его никто не посещал, но дюжина шпионов день и ночь следила за домом посольства.

Пользуясь чудными летними днями, посланник переселился на дачу, на берег Невы, в так называемые Островки, вёл там отшельнический образ жизни и, томясь бездействием, обвинял Елизавету в легкомыслии и равнодушии к её собственным интересам.

Но эти обвинения были напрасны. Цесаревна не забыла его и всячески старалась устроить свидание с ним. Она прогуливалась в сумерки в лодке по реке и несколько раз проезжала вблизи сада Шетарди.

Сидя вечером на берегу и наслаждаясь прохладой, посланник видел иногда таинственную гондолу, скользившую по реке. Человек, сидевший на корме, время от времени трубил в охотничий рог, как бы желая этим обратить на себя внимание. Но маркиз не подозревал, что в этой гондоле сидела Елизавета Петровна, спрятавшись за своей свитой, и что, приказывая трубить в рог, она хотела этим обратить внимание Шетарди и вызвать его на свидание.

Когда это не удалось, она хотела купить дом возле его дачи, но побоялась возбудить подозрение двора. Наконец в начале августа она послала к маркизу своего камергера Воронцова, чтобы условиться с ним относительно свидания. Было решено встретиться на следующий день как бы нечаянно по дороге в Петербург. Но в самый последний момент Елизавета Петровна не решилась выехать, зная, что за каждым её шагом

следят.

В августе месяце произошёл окончательный разрыв со Швецией. Стокгольмский двор, подстрекаемый Францией, объявил войну России.

Всё это было известно правительнице, и казалось, ей следовало порвать отношения с Францией, но случилось обратное. Русский двор, желая отделаться от посторонних затруднений в тот момент, когда ему угрожала серьёзная опасность, уступил требованиям французского правительства относительно церемониала. Шетарди наконец получил давно желаемую аудиенцию у царя и снова появился при дворе.

IX. ЗАГОВОР И ДЕЙСТВО

На первом же приёме Шетарди встретился с цесаревной и в разговоре с нею высказал, что его король повелел ему остаться в России единственно для того, чтобы отстаивать интересы её, Елизаветы Петровны.

– Его величество, – заявил Шетарди, – занят изысканием средств для возведения вашего высочества на престол, и если ради этой цели он уже заставил своих союзников, шведов взяться за оружие, то сумеет также ничего не пощадить, чтобы дать мне возможность оказать вам наилучшее содействие.

Елизавета Петровна поблагодарила посланника и сообщила ему, что в надежде на его посещения она приняла свои меры предосторожности, чтобы не терпеть никаких стеснений от присутствия каких-либо лиц. Кроме того, она добавила, что, по мере того как недовольство растёт, её партия увеличивается.

– В числе моих самых ревностных приверженцев я могу считать князей Трубецких и принца Гессен-Гомбургского, все лифляндцы недовольны и преданы мне. Судя по нынешнему настроению, наше дело может иметь успех.

– В этом я никогда не сомневался. Будьте только вы мужественны, – ответил Шетарди.

Заметив, что все взоры устремлены на неё, Елизавета Петровна прекратила разговор с маркизом.

На другой день Лесток имел свидание с Шетарди в лесочке, смежном с дачей посланника, и обнадёжил его насчёт непрямого желания Елизаветы Петровны как можно скорее приступить к исполнению задуманного плана, а также относительно преданности её друзей.

С этого момента возник заговор, которым взялась руководить Франция. Кардинал Флери и статс-секретарь Амело решились взять на себя роли заговорщиков. Нити тайной интриги, затеянной в Петербурге, сходились в их руках в Париже, и их тайные агенты препровождали в Россию массу денег, от которых зависел успех переворота.

В первых числах октября 1741 года в кафе Фуа, на улице Ришелье в Париже, вошёл молодой человек. К нему вскоре присоединился другой посетитель, с которым тот заговорил, предварительно обменявшись с ним условными знаками, и которому он вручил две тысячи дукатов. Первый молодой человек был агент министра иностранных дел, второй был де Мань, друг маркиза Шетарди.

Де Мань отослал полученные деньги своему племяннику, проживавшему в России. Этот молодой человек был известный мот и игрок, вёл в Петербурге расточительный образ жизни, а потому ему было как нельзя более естественно прибегнуть к помощи щедрого дядюшки. Но, в сущности, эти деньги предназначались для Шетарди, на имя которого нельзя было их послать, не возбуждая подозрения. Из рук же маркиза эти деньги расплылись по казармам гвардейских войск, где вербовались сторонники Елизаветы Петровны.

Подобным образом французское правительство неоднократно пересылало в Петербург довольно крупные суммы денег. Вместе с тем из Франции был послан в Петербург особый эmissар, которому было приказано уверить великую княжну в нежной заботливости, с какою король печётся о её интересах.

В то же время Франция с успехом интриговала при разных дворах Европы в интересах цесаревны Елизаветы. В Стокгольме французские агенты

проводили министров и раздавали пригоршнями деньги в сенате и сейме, чтобы ускорить выступление войска, которое должно было напасть на русские владения. В Варшаве и Дрездене французская дипломатия готовила умы к мысли об ожидаемом в России перевороте. В Берлине приходилось действовать осторожно. Фридрих II был связан с Брауншвейгским домом узами крови, и можно было опасаться, что он отнесётся к планам Елизаветы Петровны неодобрительно.

Душою заговора в Петербурге был Шетарди. Он вообще был совершенно в своей сфере, когда дело шло о замысловатой интриге, в особенности если в неё была замешана очаровательная молодая женщина. Видя, с каким увлечением он преодолевал все трудности, можно было думать, что он был занят любовною интригою, а не политическим делом, за которое мог поплатиться свободою, а быть может, и жизнью. Для довершения иллюзии тут были и тайные свидания, и долгие часы ожидания в назначенном месте, и украдкою брошенные взоры, и записочки, передаваемые в табакерках.

Несколько раз в неделю Шетарди имел продолжительные свидания с цесаревной. Он отправлялся к ней во дворец ночью переодетый, каждый день посылал ей записки, одобряя её планы или высказывая свои замечания, стараясь, с одной стороны, сдерживать её излишнюю горячность, а с другой – поддержать её доверие, которое начинало колебаться.

Правительница Анна Леопольдовна, её супруг и сановники предчувствовали угрожавшую им опасность, но у них не хватало смелости принять действенные меры для своей защиты. До них доходили жалобы недовольных, которые их смущали точно так же, как безмолвие, с каким встречали их войска, когда они проходили мимо них. Во дворце правительницы то и дело совещались сановники, не приходя ни к какому результату. Иной раз Анной Леопольдовной овладевал такой страх, что она вставала ночью, выходила из дворца, отправлялась к Остерману и умоляла его не покидать её.

Только один человек старался поддержать в ней бодрость духа в это

тревожное время. Это был саксонский посланник граф Линар. Он предложил решительную меру – подвергнуть великую княжну допросу и следствию и заставить отречься от прав на престол или арестовать её.

– К чему это послужит? Разве нет ещё чертёнка, который всегда будет смущать наш покой? – вздыхая, возразила правительница, намекая на герцога Голштинского, сына Анны Петровны.

Линар разузнал через своих тайных агентов, что против Брауншвейгского дома более всех интригует маркиз Шетарди. Он сообщил Анне Леопольдовне обо всех происках маркиза и советовал арестовать Шетарди, если она не решалась что-либо предпринять против Елизаветы Петровны. Однако правительница была окружена шпионами великой княжны. Одна из камер-юнгфер Анны Леопольдовны, услышав сказанное графом Линаром, передала его слова Елизавете Петровне, последняя предупредила маркиза Шетарди, и он громко заявил во дворце, что если кто-нибудь отважится посягнуть на его личность, то он вышвырнет посягнувшего из окна. Одновременно в доме посольства были вооружены все слуги, пистолеты заряжены и компрометирующие бумаги были сожжены. Посольство готовилось выдержать осаду, но никто не дерзнул посягнуть на посланника.

Смелость и невозмутимое хладнокровие Шетарди невольно внушали к нему уважение. Он действовал решительно и чуть не открыто работал над погибелью тех, кто мешал осуществлению его планов, но в то же время относительно правительницы не упускал ни малейшего правила, требуемого этикетом и вежливостью. Проведя весь день с цесаревной, он отправлялся вечером во дворец, был внимателен и предупредителен к Анне Леопольдовне, а от неё уезжал на тайное свидание с Лестоком и Воронцовым.

Елизавета Петровна и Шетарди только и ожидали начала неприязненных действий со стороны шведов, чтобы подать гвардии сигнал к восстанию. Оно могло начаться со дня на день. По улицам Петербурга ежедневно проходили войска, отправлявшиеся в Финляндию.

Неожиданное известие о том, что фельдмаршал Ласси, командовавший

русскими войсками, вступил на неприятельскую территорию и взял приступом крепость Вильманstrand, едва не погубило дела. Узнав об этом, Шетарди поспешил к великой княжне и старался поддержать в ней бодрость духа. Ему удалось войти в сношение с главной квартирой шведского генерала, получить оттуда манифест, обнародованный Швецией, и распространить в Петербурге, чтобы навести страх на русский двор. В этом манифесте стокгольмское правительство объявляло о своём намерении напасть на незаконное правительство России, чтобы восстановить права законных наследников престола.

Таково было положение дел, когда днём 22 ноября 1741 года Елизавета Петровна, совершив обычную прогулку, подъехала к своему дворцу. Вдруг у её саней неожиданно появился Шетарди и помог ей выйти.

– Это вы? Что случилось? – спросила она.

Выражение лица цесаревны и её голос свидетельствовали о чрезвычайном волнении.

Маркиз видел, что она не в состоянии далее скрывать свои намерения и терпеливо ждать развязки. Зная непостоянство и неустойчивость Елизаветы, он понимал, что, рискнув всем в первую минуту, она могла погубить всё дело минутной слабостью. Он видел, что ему необходимо поддерживать в ней мужество, и решился поставить ей на вид, что если борьба будет начата, то единственным спасением может быть успех.

– Вы вынуждаете меня, – сказал он ей, вошедши в её рабочую комнату, – ничего не скрывать от вас относительно опасности, которой вы подвергаетесь. Узнайте же, что по сведениям, полученным мною из верного источника, теперь идёт речь о том, чтобы заключить вас в монастырь, и вы теперь уже были бы там, не случись некоторых обстоятельств, помешавших этому; но как нельзя более вероятно, что эта отсрочка не будет долго продолжаться. Итак, чем вы рискуете, если даже ваш замысел не удастся? Подвергнуться, быть может, на несколько месяцев ранее той участи, которая вам предназначена и которой вы не можете избежать при уже принятых мерах. Единственная разница лишь та, что, ничего не предпринимая, вы приводите в отчаяние своих друзей,

тогда как, выказав мужество, вы сохраните сторонников, которых ваше несчастье лишь сильнее побудит отмстить за него тем или другим способом, избавив вас от опасности.

– Откуда узнали вы, что моя участь решена? – воскликнула поражённая цесаревна.

Шетарди наклонился к ней и сказал несколько слов шёпотом. На лице Елизаветы выразился неподдельный ужас, но она вскоре овладела собою и сказала:

– Благодарю вас. Я покажу им, что я – дочь Петра Первого.

Воспользовавшись её воодушевлением, Шетарди тотчас же приступил к обсуждению тех мер, которые следовало принять:

– Надобно захватить власть неожиданно, чтобы всё было окончено в одну ночь и чтобы Петербург, проснувшись, мог приветствовать новую императрицу.

Так как преданность гвардейских солдат была вне всякого сомнения, а на офицеров нельзя было вполне полагаться, то было решено действовать исключительно при помощи солдат. Было условлено, что Елизавета Петровна, надев под свою одежду кирасу, отправится в казармы, чтобы привлечь большее число солдат, и сама поведёт их к Зимнему дворцу.

Обсудив во всех подробностях различные пункты переворота, Шетарди коснулся вопроса, интересовавшего его в особенности как представителя Франции. Торжество Елизаветы должно было быть торжеством Франции, а с восшествием на престол влияние немецкой партии в России должно было уступить французскому влиянию.

Нанося удар правительству, великой княжне следовало, как говорил ей Шетарди, отделаться от всех своих врагов. Он представил ей список всех тех, кого, по его мнению, следовало арестовать или сослать. В этом списке были поименованы все тайные и явные приверженцы Германии, то есть почти все чины русского правительства. В их числе были Остерман, Миних, Линар.

Условившись относительно подробностей, оставалось только назначить день для переворота. Это было отложено до ближайшего свидания.

На другой день после беседы цесаревны с Шетарди во дворце был обычный приём. Елизавета тоже была на этом приёме. Принцессы играли в карты в галерее. Возле них толпились придворные и дежурные адъютанты. Тут же были и все иностранные посланники, а между ними и Шетарди.

На лице Елизаветы Петровны была написана тревога. Маркиз несколько раз посмотрел на неё с чуть заметной ободряющей улыбкой, Анна Леопольдовна перехватила один из этих взглядов, наклонилась к цесаревне, сказала ей что-то шёпотом и вышла из-за стола. Елизавета последовала за нею, закусив нижнюю губу, что служило у неё признаком сильного раздражения.

– Что это у вас за странные отношения к этому наглецу? – в упор спросила её правительница, когда они вышли в соседнюю комнату.

– К какому наглецу? – удивлённо спросила цесаревна.

– Извольте, я скажу вам: я говорю о вашем Шетарди.

– О Шетарди?.. О моём?.. – гордо подняла голову цесаревна. – Мне кажется, что он как посланник аккредитован при русском правительстве, которое, за малолетством царя, представляет вы, принцесса, как правительница, а потому он скорее ваш, а не мой.

– Однако он на меня не поглядывает так, как на вас.

Вместо ответа цесаревна только пожала плечами.

– Но к чему препирательства? – продолжала правительница. – Я решила потребовать от короля отозвания этого наглеца; он мне неприятен, и я желала бы, чтобы и вы не принимали его.

– Что касается меня, то раз-другой я могу сказать, что меня нет дома, но в третий раз отказать уже будет неловко... Да я и не имею на то причин... Вчера, например, как я могла бы отказать ему, когда мы случайно встретились у моего крыльца?

– Он поджидал вас?

– Я этого не знаю, но спорить с вами не стану. Однако вот что я скажу вам: меня удивляет, почему вы не действуете более простым путём? Ведь вы – правительница и располагаете властью; велите Остерману сказать

маркизу Шетарди, чтобы он более не посещал моего дома.

– Боже меня сохрани от этого! – испуганно вскрикнула Анна Леопольдовна. – Ни в каком случае не следует раздражать людей подобных маркизу, и давать им повод к жалобам.

– Вот, видите ли, если вы, правительница, и ваш первый министр не решаетесь сделать это, то как же вы требуете этого от меня, простой подданной его величества?

Ничего таким образом не добившись, Анна Леопольдовна в сильном раздражении вернулась на галерею. За нею вышла и Елизавета Петровна и вскоре уехала из дворца.

Много передумал Шетарди, также вскоре после отъезда цесаревны покинувший Зимний дворец, беспокоясь, не была ли обнаружена тайна Елизаветы Петровны, которая была вместе с теми тайною французского короля. Однако он сумел скрыть свою тревогу с искусством тонкого дипломата, но по приезде домой тотчас послал за Лестоком. Врач цесаревны явился лишь на следующий день и рассказал со слов Елизаветы Петровны содержание вчерашнего разговора. Маркиз понял всю опасность своего положения: правительница знала и была настороже.

Из дальнейшего разговора с Лестоком выяснилось, что основой партии служат народ и солдаты и что лишь после того, как они начнут дело, лица с известным положением и офицеры, преданные цесаревне, в состоянии будут открыто выразить свои чувства.

– Солдаты готовы на всё!.. – несколько раз повторял Лесток.

– В таком случае, – сказал Шетарди, – чтобы помочь этим храбрым гренадёрам, а также ради славы цесаревны, назначим момент для начала действий, чтобы Швеция стала действовать со своей стороны.

Лесток тотчас отправился за приказаниями к цесаревне, но вскоре вернувшись, заявил:

– Цесаревна предоставляет вам назначить время, когда вы сочтёте возможным приступить к выполнению замысла, и только в случае опасности она решится, быть может, предупредить срок, который вы

назначите.

Шетарди отправил курьера к французскому посланнику в Швецию, чтобы генерал Левенгаупт, стоявший со своей армией на границе, перешёл в наступление. Так как прибытие курьера в Стокгольм потребовало немало времени, то осуществление переворота было отложено до ночи на 31 декабря 1741 года.

Но в тот самый момент, когда Герман Лесток вышел из французского посольства, сообщив Шетарди о согласии на назначенный им срок цесаревны, в Петербурге было получено известие, что граф Левенгаупт, командовавший шведскими войсками, двинулся вперёд, и вследствие этого гвардейские полки получили приказание быть наготове к немедленному выступлению. Этот приказ чрезвычайно смутил солдат, преданных цесаревне: ведь, будучи вынуждены уйти, они оставляли её на произвол её врагов.

В тот же вечер Елизавете доложили, что её желают видеть семеро гренадёров. Цесаревна тотчас же вышла к ним.

– Что же это ты, матушка, лежебочничаешь, когда надо дело делать? – сказал один из пришедших. – Нам приказано готовиться выступать, не нынче-завтра уйдём мы из Питера... На кого же тогда тебя, матушка наша, оставим?.. Коли честью не пойдёшь, мы тебя силком поведём.

Елизавета Петровна была тронута этой простой речью и после некоторого колебания решилась.

– Идёмте, дети мои, в казармы, – сказала она.

– Вот это дело так дело! – радостно воскликнули солдатики.

В исходе первого часа ночи на 25 ноября пред домом французского посольства остановились сани. В них сидели Елизавета, Воронцов, Лесток, Шварц. Семеро гренадёров конвоировали экипаж.

Цесаревна велела передать Шетарди, что стремится к славе и нимало не сомневается, что он пошлёт ей всякие благие пожелания, так как она вынуждена, наконец, уступить настояниям партий...

От дома посольства она отправилась в Преображенские казармы и прошла в гренадёрскую роту.

Гренадёры ожидали её.

– Вы знаете, кто я? – спросила она солдат, – Хотите следовать за мною?

– Как не знать тебя, матушка царевна? Да в огонь и в воду за тобою пойдём, желанная, – хором ответили солдаты.

Цесаревна взяла крест, стала на колени и воскликнула:

– Клянусь этим крестом умереть за вас! Клянётесь ли вы сделать то же самое за меня в случае надобности?

– Клянёмся, клянёмся! – ответили солдаты хором.

Из казарм все двинулись к Зимнему дворцу. Елизавета ехала медленно впереди роты гренадёр.

Только один человек мог остановить войско, – это был Миних. Однако унтер-офицер, командовавший караулом у его дома, был участником заговора. Ему было приказано захватить фельдмаршала и отвезти его во дворец цесаревны. Он так и сделал.

Шествие двинулось дальше. Двести гренадёров молча шли около саней Елизаветы. Они поклялись друг другу хранить полное молчание по пути и пронзить штыками всякого, кто будет иметь низость отступить хоть на шаг.

От Преображенских казарм, расположенных на окраине тогдашнего Петербурга, до Зимнего дворца было очень далеко. Пришлось идти по Невскому проспекту. Проходя мимо домов, в которых жили сановники, солдаты входили в них и арестовывали тех, которых им было велено отвезти во дворец цесаревны. Таким образом они арестовали графа Остермана, графа Головкина, графа Левенвольда, барона Менгдена и многих других.

У Адмиралтейства цесаревна вышла из саней, опасаясь, чтобы скрип полозьев не обратил внимания караульных, и пошла дальше пешком; но ей трудно было поспевать за солдатами. Они подхватили её и пронесли на руках до самого двора в Зимнем дворце.

Цесаревна вошла в караульню.

– Проснитесь, мои дети, – сказала она солдатам, – и слушайте меня. Хотите ли вы следовать за дочерью Петра? Вы знаете, что престол

принадлежит мне; несправедливость, причинённая мне, отзывается на всём нашем бедном народе, и он изнывает под игом немецким. Освободимся от этих гонителей.

– Рады стараться, матушка, – как один человек ответили солдаты и, видя, что офицеры колеблются, кинулись на них и обезоружили.

Елизавета, взяв с собою сорок гренадёров, которые поклялись ей не проливать крови, вошла в апартаменты дворца. Она нашла правительницу в постели.

Анна Леопольдовна не оказала никакого сопротивления. В то же время был арестован и герцог Брауншвейгский.

Взяв маленького царя на руки, цесаревна поцеловала его, сказав:

– Бедный ребёнок, ты совершенно невиновен, но родители твои виноваты.

Затем Елизавета Петровна, сев в сани, вернулась в свой дворец, взяв с собою Анну Леопольдовну и ребёнка-императора Иоанна Антоновича, лишившегося трона в колыбели.

Х. ИМПЕРАТРИЦА

Весть о совершившемся перевороте с быстротою молнии разнеслась по городу. Все лица, недовольные свергнутым правительством, торжествовали.

В два часа пополудни Елизавета приняла поздравления первых чинов империи. На улице раздавались восторженные клики народа и войска. Петербург ликовал.

Елизавета возложила на себя орден Св. Андрея, объявила себя полковником четырёх гвардейских полков и полка кирасир, показалась народу со своего балкона, прошла через ряды гвардейских войск и уехала в Зимний дворец.

Любимец цесаревны Алексей Разумовский не принимал фактического участия в перевороте. Он оставался наблюдать за порядком в доме

Елизаветы Петровны на Царицыном лугу, куда были доставлены многие арестованные и в их числе павшая правительница с императором Иоанном Антоновичем и новорожденной его сестрою.

Путь Елизаветы в Зимний дворец был рядом триумфов. Вдоль улицы стояли шпалерами войска. Несметные толпы народа приветствовали её единодушными криками "ура".

Прибыв во дворец, она направилась прежде всего в придворную церковь, чтобы присутствовать на благодарственном молебне, но её окружили гренадёры лейб-гвардии Преображенского полка.

– Ты видела, матушка наша, – заговорили они, – с каким усердием мы восстановили твои справедливые права. Как единственную награду мы просим тебя объявить себя капитаном нашей роты, и чтобы мы первые могли тебе присягнуть у ступеней алтаря в неизменной верности.

– Быть по сему! – сказала новая императрица.

Елизавета не забыла и о маркизе Шетарди. Она ежечасно извещала его о ходе событий и, когда уже была провозглашена императрицей, послала Лестока спросить его мнения, что ей следует делать с младенцем-императором, свергнутым с престола.

– Передайте её величеству, – сказал Шетарди, – что следует употребить все средства, дабы изгладить все следы царствования Иоанна Шестого; лишь одним этим будет ограждена Россия от бедствия, какое могло бы быть вызвано в то или иное время обстоятельствами и которых приходится особенно бояться здешней стране.

В этот же день вечером маркиз был приглашён императрицей во дворец. Елизавета приняла его чрезвычайно приветливо, но видимо была ещё взволнована пережитыми ею в течение суток событиями.

– Я чувствую себя ещё до сих пор подхваченной каким-то вихрем, – сказала она маркизу. – Что скажут теперь наши добрые друзья англичане? Есть ещё один человек, на которого мне было бы интересно взглянуть, – это австрийский посланник Бота. Я полагаю, что не ошибусь, если скажу вам, что он будет в некотором затруднении; однако же он не прав, потому что найдёт меня как нельзя более расположенной дать ему

тридцать тысяч подкрепления.

При своём торжестве императрица не забыла и о Людовике XV.

– Я вполне убеждена в том, – сказала она маркизу, – что его величество, более чем кто бы то ни был, примет участие том что случилось со мною счастливого; я рассчитываю сама выразить ему, как я тронута всем, что он для меня сделал.

Действительно, день спустя после переворота императрица написала французскому королю:

“Мы нисколько не сомневаемся, что ваше величество не только примете с удовольствием известие об этом благоприятном и благополучном для империи нашей перевороте, но что вы разделите наши намерения и желания во всём, что может послужить к постоянному и ненарушимому сохранению и вящему упрочению дружбы, существующей между обоими нашими дворами”.

В Петербурге между тем было общее ликование. Да и немудрено, так как разгар национального чувства, овладевшего русскими в описываемое нами время, дошёл до своего апогея. Русские видели, что наверху при падении одного немца возникал другой, а дела всё ухудшались. Про верховных иностранцев и их деяния в народе ходили чудовищные слухи. Говорили о притеснениях, которые терпела от них цесаревна, и все жалели её. Да и по духу она была всем дорога. Всем нравилось, что она отказывалась от браков с иностранцами и постоянно жила в России. Её двор был скромн и состоял из русских – Алексея Разумовского, братьев Шуваловых и Михаила Воронцова. Сама она жила с чарующей простотой и доступностью, одна каталась по городу. Всё в ней возбуждало умиление народа. Чаще всего её видели в домике у казарм, где она крестила детей у рядовых и ублажала родителей крестников, входя даже в долги. Гвардейцы называли её не иначе как “матушкой”.

Понятна, таким образом, радость народа и солдат.

В вышедшем манифесте было сказано, что цесаревна “восприняла отеческий престол по просьбе всех верных подданных, особливо лейб-гвардии полков”. Люди, страдавшие при двух Аннах, были осыпаны

милостями. Над недавними сановниками был назначен суд, и 11 января 1742 года утром по всем петербургским улицам с барабанным боем было объявлено, что на следующий день, в десять часов утра, будет совершена казнь "над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка".

Арестанты рано утром из крепости были привезены в здание коллегий, откуда в десять часов их уже стали выводить на площадь, где был эшафот с плахой.

Первым появился Остерман, которого, по причине болезни ног, везли в извозничьих санях в одну лошадь. За ним шли Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев.

Когда они все были поставлены в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот на стуле. Ему был прочитан приговор. Он обвинялся в утайке духовной Екатерины I и в намерении выдать замуж цесаревну Елизавету за убогого иностранного принца. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз, палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор. В эту минуту читавший ранее приговор секретарь провозгласил: "Бог и государыня даруют тебе жизнь". При этих словах солдаты подняли Остермана и отнесли в сани, где он и оставался всё время, пока объявляли приговоры другим. Всем им было объявлено помилование без возведения на эшафот.

Остермана сослали в Берёзов, Миниха – в Пелым, Анну Леопольдовну с мужем отправили в Холмогоры, где она умерла через пять лет. Иоанн VI был заключён в Шлиссельбургскую крепость.

На приближённых Елизаветы Петровны посыпались милости.

Особенно награждён был Разумовский. В самый день восшествия на престол он был пожалован в действительные камергеры и поручики лейб-кампании в чине генерал-лейтенанта.

Немедленно был отправлен в Малороссию офицер с каретами, богатыми уборами и собольими шубами за семейством нового камергера. Несмотря

на петербургский случай своего старшего сына, Наталья Демьяновна продолжала слыть между соседями только Розумихой и по-прежнему содержала в Лемешах корчму. Захваченная врасплох, она не хотела верить словам офицера. Известие о переменах в Петербурге ещё не доходило до Лемешей, а все самые блестящие представления старушки о величии сына были до того далеки от внезапно поразившей её действительности, что не трудно понять её недоверчивость.

Наталья Демьяновна собралась с сыном Кириллом, дочерьми, внуками и внучатами, родными, двоюродными и пустилась в путь-дорогу.

За несколько станций до Петербурга навстречу матери выехал Алексей Григорьевич. Наталью Демьяновну напудрили, подрумянили, нарядили в модное платье и повезли во дворец. Елизавета Петровна радушно встретила старушку и, говорят, между прочим сказала ей:

– Благословенно чрево твоё!

Наталья Демьяновна со всем своим семейством поселилась во дворце. Однако придворная жизнь была не по ней. Она строго придерживалась старых обычаев и среди роскоши дворца страдала тоскою по родине.

Не забыт был милостями и Герман Лесток – участник переворота. Помимо большого жалованья, он получал за каждый раз, когда пускал кровь Елизавете Петровне, по две тысячи рублей. Императрица пожаловала ему свой портрет, осыпанный бриллиантами.

Новая императрица между тем спешила короноваться и назначила коронавание на апрель месяц 1742 года. 23 февраля она выехала из Петербурга, а 28 февраля состоялся торжественный въезд в Москву.

В Успенском соборе новгородский архиепископ Амвросий (Юшкевич) встретил императрицу глубоко прочувствованною патриотическою речью, в которой картинно описывал прежнее жестокое могущество немцев в нашем отечестве и открытие вместе с Елизаветой новой, чисто русской национальной эры в России.

После посещения соборов Архангельского и Благовещенского императрица опять села в парадную карету и тем же порядком отправилась к своему зимнему дому, что на Яузе. По пути её встретили

сорок воспитанников Славяно-греко-латинской академии в белых платьях, с венцами на головах и с лавровыми ветвями в руках и пропели ей кантату.

Днём коронации было назначено 25 апреля. Первенствующую роль среди священнодействующего духовенства играл архиепископ Амвросий. Мантию и корону императрица возлагала на себя сама. Амвросий подносил ей то или другое на подушках, что, собственно, и составляет отличие коронования Елизаветы от предшествующей коронации.

После миропомазания императрица была введена архиереями во Святой алтарь и причастилась Святых тайн от первенствующего архиерея по чину царскому.

Во время шествия императрицы из Успенского собора в Архангельский сопровождавший её канцлер бросал на обе стороны пути золотые и серебряные жетоны. В то же самое время отправлено было несколько чиновников, верхом на богато убранных лошадях, для того чтобы бросать в народ жетоны. Высокопоставленным лицам, собравшимся в Грановитой палате, императрица раздавала выбитые по случаю её коронации медали сама из своих рук; другим, менее знатным, раздавал канцлер. Тут же был объявлен длинный список высочайших наград по случаю коронации.

Празднование коронации продолжалось в течение целой недели, причём весь город, особенно Кремль, по ночам всегда был иллюминирован самым роскошным образом.

29 апреля императрица переехала при торжественной и парадной обстановке из Кремлёвского дворца снова в свой зимний дом, что на Яузе. 1, 3 и 4 мая здесь давались блестящие балы для высших придворных чинов. С 8 мая открылся при дворе целый ряд маскарадов, которые продолжались до 25 – го числа. 29 мая при дворе был особый бал, на котором играла итальянская оперная труппа.

Коронационные празднества закончились только 7 июня.

Милости императрицы посыпались на её приближённых. Разумовский был пожалован обер-егермейстером и получил знаки ордена Св. Андрея Первозванного; кроме того, ему из собственных императрицыных и

сосланного Миниха вотчин были пожалованы множество сёл и деревень. Не забыты были и другие. Таким образом, царствование Елизаветы Петровны началось необыкновенно милостиво.

Ещё ранее коронации, при вступлении на престол, состоялось распоряжение императрицы об отмене смертной казни. 15 декабря 1741 года появился манифест о прощении преступников и о снятии штрафов и начётов с 1719 года по 1730-й. Тогда же государыня возвратила из ссылки много сосланных в прошедшее царствование и наградила чинами и орденами и именьями многих близких своих людей. Многим полкам была дана денежная награда; гренадёрская рота получила название "лейб-кампании", капитаном которой была сама императрица, капитан-поручик этой роты равнялся полному генералу, два поручика – генерал-лейтенантам, два подпоручика – генерал-майорам, прапорщики – полковникам, сержанты – подполковникам, капралы – капитанам. Унтер-офицеры, капралы и рядовые были пожалованы в потомственные дворяне. В гербы их внесена надпись: "За ревность и верность".

Вступив на престол, Елизавета Петровна, конечно, вспомнила о своём любимце, сосланном за неё в дальнюю Камчатку – Алексею Яковлевиче Шубине. С великим трудом отымали его там в 1742 году в одном камчадалском чуме. Его перевезли в Петербург, и 2 марта 1743 года он был произведён "за невинное претерпение" прямо в генерал-майоры лейб-гвардии Семёновского полка и получил Александровскую ленту. Императрица пожаловала ему богатые вотчины. Однако Шубин недолго оставался при дворе. Ссылка совершенно расстроила его здоровье. Он предался набожности и, дошедши до аскетизма, просил увольнения от службы. На это увольнение согласились быстро главным образом потому, что бывший любимец не мог быть приятен новому, имевшему в то время огромную силу при дворе, – Алексею Разумовскому. Получив отставку, Шубин поселился в пожалованном ему селе Работки Нижегородской губернии. На прощание императрица Елизавета Петровна подарила ему драгоценный образ Спасителя и часть ризы Господней.

Вскоре после коронации покинула Петербург и Наталья Демьяновна

Разумовская. Она уехала с дочерьми, оставив младшего сына и старшую внучку при дворе. По возвращении в Малороссию она поселилась около села Адамовки, в одном из хуторов, пожалованных Алексею Григорьевичу. Здесь она выстроила себе усадьбу и при ней церковь.

XI. ТАЙНЫЙ БРАК

Необычайно возвеличенный и пожалованный графством, Алексей Разумовский чувствовал, как мало подготовлен он к своему положению и как необходимо ему окружить себя людьми, способными выводить его из той затруднительной обстановки, в которую беспрестанно ставило его совершенное отсутствие всякого образования.

По счастью, у Разумовского в выборе людей было какое-то особенное природное чутьё: почти все служившие при нём были людьми замечательными.

Первым по влиянию был Григорий Николаевич Теплов, сын истопника в псковском архиерейском доме, отчего и получил он фамилию Теплова, и воспитанник знаменитого Феофана Прокоповича. Первоначальное образование он получил в школе, учреждённой Феофаном при Александро-Невской лавре, а потом долгое время учился за границей. Он вернулся оттуда в 1736 году, поступил в Академию наук и пристроился к Артемию Петровичу Волынскому, который никогда, по свидетельству Гельбига, не покровительствовал невежеству. С необыкновенною ловкостью выпутался он из-под суда во время гибели Волынского, перешёл к занятиям учёным, был назначен переводчиком при академии, а в 1741 году – адъюнктом. Тут он стал искать покровительства у нового временщика и сделался необходимым в доме Разумовского.

Другой личностью, состоявшей при Алексее Григорьевиче, был Василий Евдокимович Ададуров, один из первых воспитанников академической гимназии в Петербурге и первый адъюнкт из русских в Российской Академии наук. Он также довершил своё воспитание за границей и

первый составил грамматику русского языка. Ададуров был при Разумовском чем-то вроде секретаря.

Третьим был Александр Петрович Сумароков, драматург, много сделавший для русского театра, адъютант Разумовского, дослужившийся до бригадирского чина.

Его известности много способствовала благорасположенность Алексея Григорьевича.

Наконец, особенно приближённым к Разумовскому был Иван Перфильевич Елагин, несомненно, один из честнейших и образованнейших людей своего времени.

В Москве, во время коронационных торжеств, произошло событие, небывалое в русской истории, доставившее графу Разумовскому исключительное положение при императрице. Хитрый и ловкий граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин ещё при Анне Леопольдовне был вызван из ссылки, куда попал по делу Бирона, и снова привлечён к общественной деятельности. Он был очень опытен в делах и умел владеть пером. Государыне он был неугоден, но умел хорошо излагать свои мысли на бумаге и объясняться по-французски и по-немецки. По необходимости его удержали при делах. Однако Бестужев никогда не сумел вполне приобрести благорасположение императрицы. Ему недоставало той живости в выражениях, которая нравилась государыне; в его обхождении была какая-то натянутость, а в делах мелочность, которая была ей особенно противна. Но Бестужев был настолько хитёр, чтобы сразу понять, как необходима была для него при дворе сильная подпора. Он ухватился за Разумовского, опасаясь, что иначе опять на сцену выйдет Остерман и место великого канцлера, на которое он уже метил, придётся променять на хижину в Берёзове.

Действительно, едва Бестужев занял место вице-канцлера, против него образовалась сильная партия. Все сторонники союза с Францией и Пруссией восстали, когда он предложил тесную связь с Австрией. Лесток вместе с де ла Шетарди стал во главе противников Бестужева, к числу которых принадлежали Воронцов, князь Трубецкой, принц Гомбургский,

Шувалов и другие – все люди и сильные, и знатные при дворе. Удержаться одному Бестужеву не было возможности.

И вот в силу этого он сблизился с Алексеем Григорьевичем и вскоре сделался его лучшим другом.

Но этого было недостаточно. Надо было ещё сделать узы, соединившие Разумовского с государыней, неразрывными. Бестужев стал искать себе помощников в этом деле и скоро нашёл их в духовнике императрицы Лубянской и в епископе Юшкевиче.

Как известно, с воцарением Елизаветы Петровны русская партия взяла решительный перевес. Во главе её встал духовник императрицы Лубянский, к которому она особенно благоволила, человек весьма умный и ловкий царедворец, но при дворе разыгрывавший роль простачка, что давало ему ещё большую силу, так как никто из царедворцев его не опасался. Благодаря Лубянскому, все изгнанные в царствование Анны Иоанновны иерархи были освобождены из заключения и им был возвращён архиерейский сан. С кафедры, в присутствии императрицы, стали сыпаться самые сильные обвинения и ругательства против иностранцев.

Но всё могло измениться – не все иностранцы были ещё сокрушены. Лесток и Шетарди в высшей степени пользовались доверием государыни. Следовало постоянно иметь при самодержице такое лицо, которое было бы предано духовенству и на заступничество которого можно было вполне и всегда рассчитывать.

Таким из всех был Алексей Разумовский. Искренне благочестивый, он принадлежал к партии автора “Камня веры”, сторонники которой были по большей части украинцы и белорусы. Призренный в младенчестве духовенством, возросший под крылом его в рядах придворных певчих, он взирал на него с чувством самой искренней и глубокой благодарности и был предан всем своим честным и любящим сердцем. Власть гражданская сошлась с властью духовною.

Уговорить богомольную и отчасти суеверную государыню было нетрудно: духовник имел всегда к ней доступ, и она охотно прислушивалась к его

словам.

Тайный брак Елизаветы с Разумовским был совершён осенью 1742 года в подмосковном селе Перове. Обряд венчания совершил Лубянский.

Влияние Алексея Григорьевича после брака стало огромным. Все почитали его и обращались с ним, как с супругом императрицы. Он занимал во дворце комнаты, смежные с апартаментами государыни. Когда он чувствовал себя нездоровым, Елизавета Петровна обедала в его покоях и он принимал её и её приближённых в парчовом шлафроке. Алексей Григорьевич всюду сопровождал государыню, и она даже публично оказывала ему знаки нежности и сама застёгивала шубу и поправляла шапку, когда в трескучий мороз они выходили из театра. Одному ему отпускалось рыбное кушанье и в то время, когда государыня и весь двор содержали строгий пост. Одним словом, положение Разумовского было совсем особенное, и он удержал его до конца жизни императрицы, несмотря на все усилия враждебной ему партии. Царедворцы падали ниц пред всемогущим супругом императрицы.

В своих увеселениях двор подделывался к вкусам Алексея Григорьевича. Благодаря его страсти к музыке, была заведена постоянная итальянская опера, за огромные цены выписывались знаменитые в Европе певцы, "буфоны и буфонши". В штате дворца встречались бандуристы и бандуристки и даже "малороссиянки-воспевальщицы". Украинские певчие пели и на клиросе, и на сцене, вместе с итальянцами. На придворных пирах появились малороссийские блюда, – одним словом, всё украинское было в моде.

Но среди всех упоений такой неслыханной фортуны Разумовский оставался всегда верен себе и своим. На клиросе и в покоях петербургского дворца, среди лемешевского стада и на великолепных праздниках Елизаветы Петровны он был всё таким же простым, наивным, несколько хитрым и насмешливым, но в то же время крайне добродушным хохлом, без памяти любящим свою прекрасную родину.

XII. НА БЕРЕГУ ПРУДА

Прошло восемь лет после разговора в домике по Басманной улице в Москве между майором Иваном Осиповичем Лысенко с его закадычным другом и товарищем Сергеем Семёновичем Зиновьевым.

Стояло чудное июльское послеполудня. На берегу пруда в небольшом, но живописном имении княгини Вассы Николаевны Полторацкой, находившемся в Тамбовском наместничестве, лежал, распростёршись на земле, юноша лет шестнадцати в форме кадета пажеского корпуса. Это был сын Ивана Осиповича – Осип, гостивший, по обыкновению, летом в имении княгини Полторацкой, куда несколько раз за лето наезжал и его отец. Юноша лежал, устремив мечтательный взор своих чудных чёрных глаз в лучистую синеву неба, и в этих глазах выражалось что-то вроде раздирающей душу тоски.

Вдруг к пруду приблизились лёгкие шаги, а в кустах раздался тихий шорох шёлкового платья. Из-за деревьев небольшой рощи бесшумно выскользнула женская фигура и неподвижно остановилась, не спуская глаз с лежавшего юноши.

– Ося!

Молодой человек вздрогнул и быстро вскочил. Он вовсе не знал ни этого голоса, ни этой женщины.

– Что вам угодно?

Тонкая, дрожащая рука быстро опустилась на его руку.

– Тише! Не так громко! Нас могут услышать, но мне надо переговорить с тобою наедине, с тобою одним, Ося!..

Женщина указала в другую сторону небольшого пруда, где за росшими кустарниками слышались весёлые голоса, а затем отступила и жестом пригласила его последовать за нею.

Одно мгновение юноша колебался. Каким образом эта незнакомка, судя по одежде, принадлежавшая к высшему кругу общества, очутилась здесь, около уединённого лесного пруда? И что означает это “ты” в устах особы, которую он видел в первый раз? Однако таинственность этой встречи

показалась молодому человеку заманчивой. Он последовал за дамой.

Они прошли в глубь рощи, в такое место, откуда их нельзя было видеть, и незнакомка медленно откинула вуаль. Она была не особенно молода, лет за тридцать, но её лицо с тёмными, жгучими глазами обладало своеобразной прелестью. Такое же очарование было в её голосе. Она говорила по-русски совершенно бегло, но с иностранным акцентом, что доказывало, что этот язык не был ей родным.

– Ося, взгляни на меня! Ты на самом деле не знаешь меня? У тебя не сохранилось ни малейшего воспоминания из дней детства, которые подсказали бы тебе, кто я?

Юноша медленно покачал отрицательно головой. Но всё-таки в нём проснулось воспоминание, неясное, неуловимое – воспоминание о том, что он не в первый раз слышит этот голос, видит это лицо. Смущённый и точно прикованный к месту, он не сводил взора с незнакомки. А она вдруг протянула к нему обе руки и воскликнула:

– Мой сын! Моё единственное дитя!.. Неужели ты не узнаёшь своей матери?

– Моя мать умерла, – сказал Осип Лысенко с расстановкой.

– Вот как? Меня объявили умершей! Тебе не хотели оставить даже воспоминание о матери! Неправда, Ося, я жива, я стою пред тобою. Посмотри на мои черты. Дитя моё, неужели ты не чувствуешь, что принадлежишь мне?..

Юноша всё ещё неподвижно стоял и смотрел на лицо, на котором мало-помалу находил полнейшее подобие своему, те же черты, те же густые синевато-чёрные волосы, те же большие, как ночь, тёмные глаза. Даже странное, демоническое выражение, горевшее пламенем во взоре матери, тлелось, как угли, в глазах сына.

Сходство говорило о родстве крови, и наконец голос крови заговорил в Осипе Лысенко. Он не требовал дальнейших объяснений и доказательств. Прежнее неуловимое смутное воспоминание детства вдруг прояснилось, и он бросился в объятия женщины.

– Мама!

В этом восклицании выразилась вся горячая нежность юноши, который никогда не знал, что значит иметь мать, и между тем тосковал по ней со всею страстностью своей натуры.

Мать! Он был в её объятиях, она осыпала его горячими ласками, сладкими, нежными именами, которых он никогда ещё не слыхивал. Всё прочее исчезло для него в потоке бурного восторга.

Прошло несколько минут. Осип высвободился из объятий Станиславы Феликсовны (это была она) и пылко заговорил:

– Почему же ты никогда не приезжала ко мне? Почему мне сказали, что ты умерла?

Станислава Феликсовна отступила на несколько шагов. Выражение нежности в её глазах исчезло, и взамен вспыхнула дикая, смертельная ненависть.

– Потому что твой отец ненавидит меня, потому что он не хотел оставить мне даже любовь моего единственного ребёнка, когда оттолкнул меня от себя.

Осип молчал, ошеломлённый. Правда, он знал, что имя матери не произносилось в присутствии его отца, помнил, как последний строго и жестоко осадил его, когда он осмелился однажды обратиться к нему с расспросами о матери, но он был ещё настолько ребёнком, что не раздумывал над причиною этого.

Станислава Феликсовна и теперь не дала ему времени на размышления. Она откинула его густые волосы со лба и немедленно произнесла:

– У тебя его лоб, но это единственное, чем ты напоминаешь его: всё остальное моё, только моё. Каждая черта доказывает, что ты мой.

Она снова заключила сына в свои объятия, а он ответил на них так же страстно. Он был просто опьянён счастьем. Всё это походило на самую чудную сказку, какую он мог себе вообразить, и он, ни о чём не спрашивая, ни о чём не думая, отдался очарованию.

Вдруг возле рощи послышался голос, звавший Осю. Станислава Феликсовна вздрогнула.

– Нам надо расстаться. Никто не должен знать, что я виделась с тобою,

главное, не должен знать твой отец!.. Когда ты вернёшься к нему?

– Через две недели...

– Через две!.. – повторила она. – Ну, до тех пор мы с тобою будем видеться ежедневно. Завтра в этот же час будь у пруда, но один, чтобы нам не мешали. Ты ведь придёшь, Ося?

– Конечно, мама, но...

– Главное, не говори никому, решительно никому, не забывай этого! Прощай, дитя моё, мой единственный любимый сын, до свиданья!

Ещё один поцелуй, и Станислава уже юркнула в чащу деревьев так же беззвучно, как и пришла.

Да и пора было скрыться. Тотчас вслед за тем в роще появились две девочки, которые поражали с первого взгляда своим необычайным сходством друг с другом. Всякий принял бы их за сестёр-близнецов, если бы разница в одежде не говорила, что одна из них барышня, а другая служанка.

Девочки были лет десяти. Одна из них – княжна Людмила Полторацкая, а другая – Таня Берестова, крепостная девочка княгини Вассы Семёновны. Княгиня овдовела лет десять тому назад и все свои заботы отдала своей только что родившейся дочери, посвящая ей все досуги своей хозяйственной деятельности, считавшейся образцовой среди её соседей. Княгиня была строга, взыскательна, но справедлива. Она не обременяла крестьян усиленной работой, но и не любила лентяев и дармоедов.

Среди дворовых княгини была молодая вдова дворецкого Ульяна Берестова, больная чахоткой, красивая молодая женщина, с дочерью Таней. Через несколько лет после смерти князя Полторацкого умерла и Ульяна, и её девочка осталась круглой сироткой. Княгиня Васса Семёновна приняла в ней чисто материнское участие и позволяла по целым дням играть со своей дочерью.

Поразительное сходство между обеими девочками, видимо, не обращало особенного внимания княгини. Злые языки говорили, что она знала причину этого сходства, а ещё более злые утверждали, что из-за этого сходства мать девочки сошла в преждевременную могилу и что в быстром

развитии смертельной болезни Ульяны небезучастна была княгиня Васса Семёновна.

Как бы то ни было, но девочки были почти погодки и в течение нескольких лет стали задушевными подругами. Различие между ними было лишь в одежде, так как даже скудное по тому времени образование у священника сельской церкви они получали вместе. Гувернантка француженка, приставленная к княжне, одинаково передавала премудрость своего языка и бывшей неразлучно с княжной Людмилой Тане.

Княгиня Васса Семёновна Полторацкая жила безвыездно в своём имении, лишь изредка выезжала в Тамбов по хозяйственным надобностям. Связывающим звеном между нею и Петербургом был её брат, друг и приятель майора Лысенко – Сергей Семёнович Зиновьев, занимавший в то время в петербургской административной сфере далеко не последнее место. Летом он приезжал к сестре, и здесь устраивались свидания между ним и Иваном Осиповичем Лысенко, сын которого Ося на время летних вакаций всегда отправлялся на побывку к княгине Полторацкой и был желанным гостем в её доме, как сын задушевного друга её брата и, наконец, как сын человека, о котором у княгини сохранились более нежные воспоминания.

Несмотря на свои шестнадцать лет, Ося был ещё совершенным ребёнком, и общество двух десятилетних девочек вполне удовлетворяло его, тем более что они относились к нему с восторжённым обожанием, очень льстившим его непомерному самолюбию. Надо при этом сознаться, что чёрненькие глазки грациозной княжны Люды, как звали её домашние, имели значение в отношениях шестнадцатилетнего юноши к своей маленькой подруге. Инстинктивное чувство любви уже зарождалось в сердце молодого человека.

Княжна Люда могла и, видимо, имела право обращаться с Осей деспотично, и своенравный и неукротимый для всех сорванец становился при ней послушным исполнителем её желаний.

“Жених и невеста” – так прозвали Осю и Люду в доме Полторацких, и,

видимо, обоим детям было далеко не противно это прозвище.

Эта-то Люда со служанкой-подругой и появилась в роще.

– Отчего ты не отвечаешь? Я звала уже три раза. Уж не спал ли ты? У тебя совсем такой вид, будто ты только что видел сон.

Ося на самом деле стоял точно ошеломлённый и дико смотрел в ту сторону, куда скрылась его мать. Только через несколько минут он повернулся к девочкам и, проведя рукою по лбу, медленно ответил:

– Да, я видел сон... странный, чудесный сон!

– Как не стыдно спать днём! – укоризненно сказала княжна Люда, видимо, не поняв ответа молодого Лысенко.

XIII. ОТЕЦ И СЫН

Отцы Лысенко и Зиновьева с давних пор были в дружеских отношениях. Как соседи по имениям, они часто виделись. Их дети росли вместе, и множество общих интересов делало всё крепче эту дружескую связь. Так как они обладали весьма небольшим состоянием, то их сыновьям пришлось по окончании ученья самостоятельно пролагать себе дорогу в жизни.

Иван Осипович и Сергей Семёнович так и сделали. Они были товарищами детских игр и, возмужав, остались верны старой дружбе, даже чуть не породнились, так как их родители мечтали о союзе молодого Лысенко с Вассой Семёновной. По-видимому, и молодые люди сочувствовали друг другу.

Всё шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, неожиданно положившее конец всем этим планам.

За много лет до того один из родственников Зиновьевых по женской линии, Менгден, неисправимый кутила, бежал от долгов из России в Польшу, где и принял должность управляющего в имении одного богатого помещика. По смерти владельца ему удалось получить руку вдовы, и таким образом он снова достиг выдающегося положения в жизни.

Лет через пятнадцать после брака Менгден вместе с женой посетил родственников в России.

Госпожа Менгден была уже в зрелых летах и давно отцвела; это, однако, не помешало ей иметь от второго брака дочь, двенадцатилетнюю Якобину. Её сопровождала также дочь от первого брака, Станислава Феликсовна Святторжецкая. Эта семнадцатилетняя полька, окружённая ореолом своеобразной красоты, прелести и огненного темперамента, засияла как солнце на горизонте тамбовских провинциалов, жизнь которых шла до сих пор неспешным, размеренным шагом. Станислава, конечно, выделялась в этом кругу, но сама с равнодушием избалованной повелительницы пренебрегала его обычаями и воззрениями. В свою очередь окружающие смотрели на неё, как на удивительное явление из какого-то неизвестного им мира, и в душе относились к ней неодобрительно.

В это время Иван Осипович Лысенко приехал из Тамбова в имение отца, увидел Станиславу, и его судьба была решена. Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, походит на какое-то опьянение, одурение и очень часто оплачивается ценою раскаяния во всю последующую жизнь. Забыты были желания родителей и собственные мечты о будущем, забыта спокойная сердечная привязанность, соединявшая его с подругой детства Вассой. Иван Осипович не замечал более этого скромного цветка родины, а вдыхал опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом; всё остальное исчезло, потонуло в тумане.

Однажды, оставшись наедине со Станиславой, он бросился к её ногам, признался ей в любви и, к его удивлению, чувство не осталось без ответа: Станислава приняла его предложение.

Известие об этой помолвке подняло целую бурю в обеих семьях. Со всех сторон посыпались уговоры и предостережения; даже мать и отчим Станиславы были против брака. Однако общее сопротивление только разжигало страсть молодых людей. Несмотря ни на что, они поставили на своём, и через полгода Иван Лысенко ввёл в свой дом молодую жену.

Люди, пророчествовавшие несчастье их браку, к сожалению, предсказали слишком верно. За коротким опьянением счастья последовало самое горькое разочарование.

Со стороны Ивана Осиповича было роковой ошибкой вообразить, что женщина, подобная Станиславе, выросшая в безграничной свободе, привыкшая к расточительной жизни богатых семей в своём отечестве, могла когда-нибудь подчиниться нравственным воззрениям и примириться с общественными отношениями скромных русских провинциалов. Охотиться по целым часам верхом на полудиком коне в обществе мужчин, вести с ними разговоры в свободном тоне в своём доме, всегда наполненном толпой гостей, окружать себя блеском, обыкновенно идущим рука об руку со страшным упадком имений, обременённых долгами, – вот жизнь, которую одну знала Станислава и которая только и соответствовала её характеру. Понятие о долге было ей так же чуждо, как всё вообще в её новой обстановке.

И эта женщина должна была вести хозяйство в доме молодого военного, в распоряжении которого были весьма ограниченные средства, должна была приноравливаться к общественным отношениям в маленьком городе наместничества.

Первые же недели показали, что это невозможно. Станислава начала с того, что стала безумно проматывать своё небольшое приданое. Напрасно просил и уговаривал муж – она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение, предметы, священные в его глазах, возбудили в ней только насмешки. Его странные, по её мнению, понятия о чести и приличиях заставляли её только пожимать плечами.

Скоро между супругами начались ежедневные бурные сцены, и тогда, когда уже было поздно, Иван Осипович должен был сознаться, что поступил очень опрометчиво. Теперь он должен был признать, что только каприз или разве мимолётная страсть привели Станиславу в его объятия. Теперь она не видела в нём ничего, кроме неудобного спутника жизни, который портил ей всякое удовольствие педантизмом и смешными понятиями о чести и всюду ставил ей преграды. Тем не менее она

боялась этого человека, потому что ему всегда удавалось подчинить своей воле её бесхарактерную натуру.

Рождение маленького Оси уже не могло ничего исправить в этом глубоко несчастном союзе. Впрочем, оно заставило супругов сохранять внешний вид согласия. Станислава Феликсовна страстно любила ребёнка и знала, что муж ни за что не отдаст его ей, если дело дойдёт до развода. Одно это удерживало её подле мужа, и Иван Осипович, затаив страдание, терпеливо переносил свою горькую жизнь и употреблял все усилия к тому, чтобы скрыть её от посторонних.

Но эти посторонние знали всю правду, знали даже то, о чём муж и не подозревал, что скрывали от него из деликатности. Года через два после свадьбы полк, в котором служил Иван Осипович Лысенко, был переведён в Москву. Вот здесь-то и настал день, когда повязка упала с глаз обманутого мужа, и он узнал то, что уже давно не было тайной ни для кого, кроме него.

Следствием этого была дуэль. Противник Ивана Осиповича был ранен и вскоре умер, а Лысенко заключён под арест, но вскоре был выпущен на свободу, так как все знали, что он как оскорблённый супруг защищал свою честь. В то же время он начал дело о разводе.

Станислава Феликсовна не выказала ни малейшего сопротивления, но делала отчаянные попытки удержать за собою ребёнка и вела из-за него борьбу не на жизнь, а на смерть. Однако всё оказалось напрасно: сын был безусловно отдан отцу, и тот с неумолимой жестокостью не позволял матери даже приближаться к нему, и ей ни разу не удалось видеть сына. Наконец убедившись, что ничего не добьёшься, она вернулась в Варшаву к своей сводной сестре, жившей в этом городе и вращавшейся в придворных сферах. Казалось, Станислава Феликсовна навеки умерла для своего бывшего мужа, и вдруг совершенно неожиданно снова появилась в России, где её муж уже занимал видный военный пост.

Прошло около недели со дня первого свидания молодого Лысенко с матерью. В гостиной княжеского дома Полторацких сидела Васса Семёновна, а напротив неё помещался полковник Иван Осипович

Лысенко, только что приехавший из Москвы. Должно быть, предмет разговора был серьёзен и неприятен, потому что Иван Осипович мрачно слушал хозяйку. Княгиня говорила:

– Перемена в Осе бросилась мне в глаза уже несколько дней тому назад. В первое время его просто обуздать нельзя было, так что я раз даже пригрозила отослать его домой, и вдруг он совсем повесил голову, не затевал больше никаких глупостей, по целым часам рыскал один по лесу и, возвратившись домой, спал. Брат решил, что он начинает делаться благоразумнее, я же сказала: “Дело нечисто, тут что-нибудь да кроется”, – и принялась за Люду и Таню, которые тоже казались какими-то странными и, очевидно, были в заговоре. Они, оказывается, застали Осю с его матерью в роще, и мальчик взял с них слово, что они будут молчать. Девочки действительно молчали и признались лишь тогда, когда я пристала к ним, что называется, с ножом к горлу.

– А Осип? Что он сказал? – прервал её Лысенко.

– Ничего, потому что я и не заикалась ему об этом. Он, разумеется, спросил бы меня, почему же ему нельзя видаться с родною матерью, а на такой вопрос может ответить только отец.

– Вероятно, он уже получил ответ, – с горечью произнёс Лысенко. – Только едва ли ему сказали правду.

– Вот этого-то я и боялась, а потому, как только узнала всю историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?

– Ну, конечно, я приму меры. Благодарю вас, княгиня! Я точно предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настоятельно призывавшее меня сюда. Сергей был прав – я ни в каком случае не должен был ни на час отпускать от себя сына; но я надеялся, что здесь, в Зиновьеве, он в безопасности. Осип так радовался поездке, так ждал её, что у меня не хватило духа отказать ему в ней. Вообще он только тогда весел, когда я далёк от него.

В последних словах слышалась глухая боль, но княгиня Васса Семёновна только пожала плечами.

– Не он один виноват в этом, – сказала она. – Я тоже строга к своей

девочке, но тем не менее она знает, что у неё есть мать и что она дорога ей; Осип же не может сказать то же о своём отце, он знает вас только как строгого и неприступного. Если бы он подозревал, что в глубине души вы обожаете его...

– То сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своею нежностью и ласками. Неужели мне допустить, чтобы он стал повелевать и мною так же, как всеми, кто только имеет дело с ним? Я единственный человек, которого он боится, а вследствие этого и уважает.

– И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать, без сомнения, осыпает безумными ласками? Откровенно скажу вам, что ничего иного нельзя было и ожидать с тех пор, как она опять здесь. Держать Осю при себе ни к чему не привело бы, потому что шестнадцатилетнего мальчика нельзя уже охранять, как маленького ребёнка, и мать нашла бы к нему дорогу. Да в конце концов она и права, и я поступила бы совершенно так же.

– Права! – горячо воскликнул Лысенко. – И это говорите вы, княгиня?

– Права, несомненно, права, – продолжала княгиня. – Я говорю это потому, ибо мне ведомо, что значит иметь единственного ребёнка. То, что вы взяли у Станиславы мальчика, было в порядке вещей: подобная мать не пригодна для воспитания, но то, что теперь, через двенадцать лет, вы запрещаете ей видаться с сыном – жестокость, внушить которую может только ненависть. Как бы ни была велика её вина – наказание слишком сурово.

– Никогда не подумал бы я, что именно вы возьмёте сторону Станиславы, – глухо произнёс Лысенко. – Ради неё я когда-то жестоко оскорбил вас, разорвал союз.

– Который вовсе ещё не был заключён, – поспешно прервала его княгиня. – Это было планом наших родителей, и ничего больше.

– Но мы знали о нём с детских лет, и он нравился нам. Не старайтесь оправдать меня, княгиня, я слишком хорошо знаю, какой вред нанёс тогда вам и... себе.

– Будь по-вашему, Иван Осипович! Тогда я любила вас, и, вероятно, вы

сделали бы из меня не совсем то, чем я стала теперь; я всегда была своевольной девушкой и не легко поддавалась чьему-нибудь влиянию, но вам я покорилась бы. Когда через пять лет после вашей свадьбы я пошла к алтарю с князем Полторацким, судьба решила иначе. Она сделала меня главой семьи, роковые обстоятельства узаконили это главенство – мой муж вскоре умер. Однако прочь все эти старые, давно прошедшие дела! Мы, несмотря ни на что, остались друзьями, и если теперь вам нужно моё содействие или совет, я готова.

Лысенко почтительно поцеловал её руку, говоря:

– Я знаю это, княгиня, но в таком деле я один могу решать и действовать. Прошу вас, позовите Осипа ко мне. Я поговорю с ним.

Минут через десять вошёл Ося. Он затворил за собою дверь и остановился у порога. Иван Осипович обернулся.

– Подойди ближе, Осип, мне надо переговорить с тобою.

Мальчик послушался и медленно приблизился к отцу. Он уже знал, что Тане и Люде пришлось покаяться и что его встречи с матерью стали известны, но робость, с которою он обыкновенно приближался к отцу, уступила сегодня место нескрываемому упорству.

Это не ускользнуло от Ивана Осиповича. Он окинул долгим, мрачным взглядом красивую юношескую фигуру сына и произнёс:

– Мой внезапный приезд, кажется, не удивляет тебя? Ты, может быть, даже знаешь, что привело меня сюда? Да? В таком случае мы обойдёмся без предисловия. Ты узнал, что твоя мать жива, она являлась к тебе, и ты встречаешься с нею. Когда ты увидел её в первый раз?

– Полторы недели тому назад.

– И с тех пор говорил с нею ежедневно?

– Да, у лесного пруда.

– Вот как? Ну, что же, я не упрекаю тебя, потому что не запрещал тебе ничего в этом отношении; вопрос об этом пункте никогда даже не поднимался между нами. Но, если дело зашло так далеко, я должен нарушить молчание. Ты считал свою мать умершей, и я допустил эту ложь, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний, которые

отравили мою жизнь. Это оказалось невозможным, а потому ты должен узнать теперь правду. Ещё молодым офицером я страстно полюбил твою мать и женился на ней против воли своих родителей, которые не ждали никакого добра от брака с женщиной другой религии. Они оказались правы: брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я имел неоспоримое право на это, закон отдал сына мне. Более я не могу сказать тебе, потому что не хочу обвинять мать пред сыном. Удовольствуйся этим.

Хотя объяснение было коротко и звучало жёстко, но произвело на молодого Лысенко странное впечатление: отец не хотел обвинять пред ним мать, пред ним, который ежедневно выслушивал от неё самые горькие жалобы и обвинения против отца! Станислава свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство. В своём сыне она нашла даже чересчур жадного слушателя, так как его необузданная натура с трудом переносила строгость отца. И всё-таки немногие серьёзные слова последнего действовали сильнее, чем все страстные излияния матери. Мальчик инстинктивно почувствовал, на чьей стороне правда.

– А теперь к делу, – продолжал Иван Осипович. – Что было содержанием ваших ежедневных бесед?

Осип, вероятно, не ожидал подобного вопроса. Густой румянец залил его лицо. Осип молчал и глядел в пол.

– А, вот как, ты не смеешь повторять их мне? Не хочешь говорить? Всё равно твоё молчание говорит мне больше, чем слова; я вижу, какое отчуждение ко мне уже успели внушить тебе, и ты будешь совсем потерян для меня, если я предоставлю тебя этому влиянию ещё хоть ненадолго. Встречи с матерью больше не повторятся; ты сегодня же уедешь со мною домой и останешься под моим надзором. Кажется ли тебе это жестоким или нет – так должно быть, и ты будешь повиноваться.

Но Иван Осипович заблуждался, полагая, что сын, как всегда, покорится простому приказанию.

– Отец, этого ты не можешь и не должен мне приказывать! – горячо возразил он. – Она – мне мать, которую я наконец нашёл и которая одна

в целом свете любит меня. Я не позволю отнять её у меня так, как её отняли у меня раньше. Я не позволю принудить себя ненавидеть её только потому, что ты ненавидишь её! Грози, наказывай, делай что хочешь, но я не буду повиноваться.

Весь необузданный, страстный темперамент юноши вылился в этих словах. Неприятный огонь пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки. Он дрожал под влиянием дикого порыва возмущения. Очевидно, он решил начать борьбу с отцом, которого прежде так боялся.

Но взрыва гнева отца не последовало. Иван Осипович смотрел на сына серьёзно и молчал с выражением немного упрёка во взгляде.

– Одна в целом свете любит тебя! – медленно повторил он. – Ты, верно, забыл, что у тебя есть ещё отец?

– Который не любит меня! – крикнул мальчик тоном, переполненным горечью. – Только теперь, когда я нашёл свою мать, я знаю, что такое любовь.

– Осип!

Мальчик совсем опешил при звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который он слышал в первый раз. Горячая речь, готовая уже снова политься, замерла на его устах.

– Потому, что ты никогда не видел от меня нежностей, потому, что я воспитывал тебя серьёзно и строго, ты сомневаешься в моей любви? – продолжал отец тем же тоном. – А знаешь ты, чего стоила мне эта строгость с единственным любимым ребёнком?

– Отец!

Это восклицание звучало ещё робко и нерешительно, но в голосе Осипа слышалось что-то вроде зарождающейся симпатии и радостного изумления. Глаза сына не отрывались от глаз отца, который положил руку на его плечо и притягивал его к себе, говоря:

– Когда-то у меня было честолюбие, были гордые надежды на жизнь, великие планы и намерения. Со всем этим я покончил, когда меня поразили этот удар. От него мне никогда не оправиться, и если я ещё живу и борюсь, то, кроме сознания долга, меня побуждает к этому только

одно: мысль о тебе, Осип! В тебе всё моё честолюбие, сделать твою будущность счастливой и великой – вот всё, чего я ещё требую от жизни. И она может быть великой, Осип, потому что твои способности не из обыкновенных, а твоя воля тверда. Но есть и другие – опасные – качества в твоей натуре; они должны быть подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и повергли в бездну горя. Я обязан быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но не легко мне это было.

Лицо мальчика пылало. Задыхаясь, следил он за губами отца. Наконец он произнёс шёпотом, за которым чувствовался с трудом скрываемый восторг:

– Я не смел до сих пор любить тебя, ты был всегда так холоден, так неприступен, и я...

Он остановился и снова взглянул на отца, обвинившего его плечи рукою и ещё крепче прижавшего к себе.

Их взгляды глубоко проникали в душу друг друга, и голос Лысенко прерывался, когда он тихо произнёс:

– Ты моё единственное дитя, Осип, единственное, что мне осталось от мечты и счастья, которые исчезли, как сон, а взамен явились разочарование и горечь. Тогда я многое потерял и всё вынес, но если бы мне пришлось потерять тебя, я не перенёс бы этого.

Сын бросился к отцу на грудь, а отец крепко обвил сына руками, как будто хотел удержать его навсегда. В этом горячем, страстном объятии всё остальное было ими забыто.

Оба забыли, что между ними стояла грозная тень, выступившая из прошедшего, разлучая их. Они оба не заметили, что дверь комнаты приотворилась и опять заперлась. Осип всё ещё обнимал отца с бурною нежностью. Иван Осипович ничего не говорил, но время от времени целовал сына в лоб и не сводил глаз с прелестного, полного жизни лица, которое он крепко прижимал к своей груди.

Наконец сын тихо произнёс:

– А... моя мать?

– Твоя мать покинет Россию, как только убедится, что ты и впредь должен оставаться вдали от неё, – ответил Иван Осипович, на этот раз без всякой жёсткости в голосе, но совершенно твёрдо. – Ты можешь писать ей; я позволяю переписку с известными ограничениями, но личные встречи я не могу и не должен допускать.

– Неужели ты до такой степени ненавидишь её? – с укором спросил юноша. – Ты пожелал развода, а не она, я узнал это от самой матери.

Губы Ивана Осиповича вздрогнули. Он хотел возразить, что развод был восстановлением чести, но взглянул на тёмные, вопросительные глаза сына, и его слова замерли на его устах. Он не был в состоянии доказывать сыну виновность матери.

– Оставь этот вопрос, – мрачно ответил он, – я не могу отвечать на него. Может быть, впоследствии ты сам поймёшь и оценишь мотивы, руководившие мною; теперь я не могу избавить тебя от тяжёлой необходимости сделать выбор – ты должен принадлежать кому-нибудь одному из нас, с другим надо расстаться. Покорись этому, не рассуждая, как воле судьбы...

Юноша опустил голову. Он почувствовал, что в настоящую минуту ничего более не добьётся, а потому убитым тоном произнёс:

– Я скажу это матери. Теперь, когда ты всё знаешь, я, конечно, могу открыто идти к ней.

Иван Осипович остолбенел. Он совершенно не подумал о возможности такого вывода.

– Когда же ты хочешь видиться с нею?

– Сегодня же, у пруда. Она наверно уже там.

Иван Осипович боролся сам с собою. Что-то в глубине души предостерегало его, убеждало не допускать этого свидания, и в то же время он сознавал, что было бы жестоко запретить его.

– Вернёшься ты через два часа? – спросил он после довольно продолжительной паузы.

– Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.

– Так иди, – сказал Лысенко с глухим вздохом, – но помни: как только ты

вернёшься, мы поедem домой: ведь и без того твои каникулы приходят к концу.

Мальчик, уже собиравшийся идти, вдруг остановился. Слова отца напомнили ему то, о чём он было забыл в последние полчаса, – гнёт ненавистной службы, опять ожидавшей его. До сих пор он не смел высказывать своё отвращение к ней, но этот час безвозвратно унёс с собою всю его робость пред отцом. Следуя вдохновению минуты, он снова обвил руками шею отца и воскликнул:

– У меня к тебе большая просьба, которую ты непременно должен исполнить; я знаю, ты согласишься, в доказательство того, что ты действительно любишь меня.

– А, ты требуешь ещё доказательств? Ну, посмотрим.

Сын ещё крепче прижался к отцу. Его голос зазвучал той неотразимо нежной лаской, благодаря которой отказать ему в просьбе было почти невозможно.

– Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю дела, в которое ты меня посвятил, и никогда не полюблю его. Если до сих пор я покорялся твоей воле, то лишь с отвращением, с затаённым гневом; я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел признаться тебе в этом.

– Другими словами, ты не хочешь повиноваться! – произнёс Лысенко жёстким тоном. – А тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.

– Но я не могу выносить принуждение, – страстно возразил мальчик, – а военная служба – не что иное, как постоянное принуждение, каторга! Всем повинуйся, никогда не имей собственной воли, изо дня в день покоряйся дисциплине, неподвижно застывшей форме. Всё моё существо рвётся к свободе, к свету и жизни. Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на привязи! Я задыхаюсь, я умираю.

Рука Осипа ещё обвивала шею отца, но тот вдруг выпрямился, оттолкнул его от себя и резко ответил:

– Я полагал, что военная служба – вовсе не каторга, что быть военным – это честь! Свобода, свет, жизнь! Уже не думаешь ли ты, что в шестнадцать лет имеешь право очертя голову броситься в водоворот

жизни и упиваться всеми её благами? Для тебя эта именно свобода была бы только распущенностью, твоей погибелью.

– А если бы так? – воскликнул юноша совершенно вне себя. – Лучше погибать на свободе, чем продолжать жизнь в такой неволе! Для меня служба – цепи, рабство.

– Молчать! Ни слова больше! – крикнул Иван Осипович. – У тебя нет более выбора, потому что ты уже на службе и принял присягу! Сначала ты должен получить офицерский чин и в качестве офицера исполнить свой долг, как и все твои товарищи; когда же ты достигнешь совершенных лет и я уже не буду иметь власти над тобою, тогда выходи, если хочешь, в отставку, но для меня известие о том, что мой единственный сын уклонился от военной службы, будет смертельным ударом. Но этого ещё пока нет! Ты зависишь от меня и должен научиться покоряться, пока ещё не ушло время. И ты научишься – даю тебе слово! Голос Ивана Осиповича звучал непреклонно и сурово, ни малейшего следа нежности и мягкости не осталось в его лице.

Осип хорошо знал отца, чтобы ещё раз попробовать просить или настаивать. Он ничего не ответил, но в его глазах вспыхнула демоническая искра, а на крепко сжатых губах появилось лукавое, злое выражение. Он молча повернулся и направился к двери.

Иван Осипович следил за ним глазами. В его душе вдруг шевельнулось снова как бы предчувствие какого-то несчастья. Он окликнул сына:

– Осип, ведь ты вернёшься через два часа? Ты даёшь честное слово?

– Да, отец!

XIV. ИСКУСИТЕЛЬНИЦА

Через несколько минут после ухода молодого Лысенко в комнату вошёл Сергей Семёнович Зиновьев.

– Ты один? – удивлённо спросил он. – Я не хотел мешать тебе, но только что увидел, как Осип быстро пробежал через сад. Куда это он отправился

так поздно?

– К матери, проститься с нею.

Зиновьев остолбенел от удивления при таком известии.

– С твоего согласия? – быстро спросил он. – Да? Какая неосторожность! Ты только что по опыту узнал, как Станислава умеет поставить на своём, а теперь опять оставляешь сына на её произвол.

– На какие-нибудь полтора часа. Я не мог отказать ему в этом прощальном свидании. И чего ты боишься? Уж не насилия ли с её стороны? Осип – не ребёнок, которого можно отнести на руках в экипаж и увезти, несмотря на его сопротивление.

– А если он не будет сопротивляться?

– Он дал мне слово возвратиться через два часа, – выразительно сказал Иван Осипович.

– Слово шестнадцатилетнего мальчика!..

– Который воспитан для военной службы и потому знает, что такое честное слово. Это вовсе не беспокоит меня, мои опасения клонятся совсем в другую сторону.

– Сестра сказала мне, что вы наконец поладили, – заметил Сергей Семёнович, бросая взгляд на сильно омрачённое лицо друга.

– На несколько минут, а потом мне опять пришлось быть строгим, суровым отцом. Именно этот час показал мне, какая трудная задача покорить и воспитать такую необузданную натуру; но, что бы там ни было, я пересилю её.

Сергей Семёнович подошёл к окну и стал смотреть в сад.

– Уже смеркается, – заметил он, – а до лесного пруда по крайней мере полчаса быстрой ходьбы. Если это свидание неизбежно, то ты должен был допустить его только в своём присутствии.

– Чтобы ещё раз встретиться со Станиславой? Это невозможно. Этого я не хотел и не мог требовать.

– А если это прощанье кончится иначе, нежели ты предполагаешь? Если Осип не вернётся?

– В таком случае он был бы негодяем, изменником своему слову,

дезертиром, так как он уже состоит на службе. Не оскорбляй меня подобными предположениями, Сергей!

– Ну, не будем спорить, тебя ждут в столовой. Ты хочешь уехать сегодня же?

– Да, через два часа, – твёрдо и спокойно ответил Иван Осипович. – К этому времени Осип вернётся.

Сергей Семёнович печально улыбнулся, но не сказал ничего. Оба друга отправились в столовую.

На полях и в лесу уже ложились серые тени летних сумерек. Вдоль берега лесного пруда беспокойно двигалась взад и вперёд Станислава, закутанная в тёплый плащ. Она не обращала внимания на спускающуюся сильную росу, всё её существо было полно лихорадочного ожидания.

С того дня, когда девочки застали её и Осипа в роще вдвоём и были поневоле посвящены в их тайну, Станислава Феликсовна назначала свиданья по вечерам, когда около пруда и в роще было совершенно пустынно. Но они всё-таки расставались до наступления сумерек, для того чтобы позднее возвращение Осипа не возбудило в ком-нибудь подозрения. До сих пор Осип всегда был аккуратен, а сегодня мать ждала уже напрасно целый час. Задержал ли его случай, или же их тайна была открыта?

Вокруг в роще царила могильная тишина, нарушаемая шорохом шагов тревожно ходившей по траве женщины. Наконец послышался слабый звук шагов, сначала совсем вдали, но они приближались к пруду со страшной быстротою. Скоро показалась стройная фигура юноши. Станислава бросилась ему навстречу. Через минуту сын был в её объятиях.

– Что случилось? – спросила она, осыпая его бурными ласками. – Отчего ты так поздно? Что задержало тебя?

– Я не мог прийти раньше... я прямо от отца.

– От отца? – вздрогнула Станислава Феликсовна. – Так он знает?

– Всё! – И мальчик наскоро рассказал, что случилось.

Не успел он кончить, как горький смех матери прервал его.

– Понятно, все они в заговоре, когда дело идёт о том, чтобы отнять у меня моё дитя! А отец? Он, конечно, опять сердился, грозил и заставил тебя тяжёлою ценою купить страшное преступление – свидание с матерью?

– Нет, – тихо сказал Осип, – но он запретил мне видаться с тобою и неумолимо требует нашей разлуки.

– Тем не менее ты здесь! О, я знала это!

– Не радуйся слишком рано, мама, – с горечью произнёс мальчик. – Я пришёл только проститься с тобою. Отец знает об этом, он позволил мне пойти проститься, а потом...

– А потом он снова возьмёт тебя к себе, и ты будешь снова потерян для меня? Не так ли?

Мальчик не ответил. Он обеими руками охватил мать, и страшное рыдание вырвалось из его груди, рыдание, в котором было столько же гнева и горечи, сколько страдания.

– Ты плачешь? – произнесла Станислава Феликсовна. – Я давно всё предвидела; даже если дети не видели нас, всё равно в день отъезда из Зиновьева к отцу ты был бы поставлен в необходимость или расстаться со мною, или решиться.

– На что решиться?.. Что ты хочешь сказать? – с изумлением спросил сын.

– Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься насилию, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребёнком и попать ногами нашу любовь? Если ты допустишь сделать это, в твоих жилах нет ни капли моей крови, ты – не мой сын.

– Мама! – воскликнул мальчик.

– Он послал тебя проститься со мною, а ты терпеливо покоряешься, да ещё принимаешь его позволение за величайшую милость с его стороны! – перебила его Станислава Феликсовна. – Ты в самом деле пришёл проститься со мною... навсегда, в самом деле?

– Я должен! Ты знаешь отца и его железную волю; разве есть какая-нибудь возможность противиться ей?..

– Если ты вернёшься к нему, то нет; но кто же заставляет тебя возвращаться?

– Мама! Ради Бога! – с ужасом воскликнул он, но руки матери ещё крепче охватили его, а горячий, страстный шёпот продолжал раздаваться над его ухом:

– Что так пугает тебя в этой мысли? Ты ведь только пойдёшь за матерью, которая безгранично любит тебя и с той минуты будет жить исключительно тобою. Ты часто жаловался мне, что ненавидишь военную службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе; если ты вернёшься к отцу, выбора уже не будет: отец неумолимо будет держать тебя в оковах; он не освободил бы тебя, даже если бы знал, что ты умрёшь от горя.

Ей не было надобности уверять в этом сына – он знал это лучше её. Поэтому его голос стал почти беззвучным от горечи, когда он ответил:

– И всё-таки я должен вернуться; я дал слово быть дома через два часа.

– В самом деле? – резко и насмешливо произнесла Станислава Феликсовна. – Так я и знала! То тебя считали не более как мальчиком, каждым шагом которого надо руководить; за тебя рассчитывали каждую минуту, ты не смел иметь ни одной самостоятельной мысли, теперь же, когда дело идёт о том, чтобы удержать тебя, за тобой вдруг признают самостоятельность взрослого человека. – Она нервно захохотала. – Ну, хорошо, – продолжала она, – так покажи же, что ты взрослый не только на словах; действуй как взрослый! Вынужденное обещание не имеет никакой силы: разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать; освободись!.. Пойдём со мною, Осип! Я давно всё предвидела и всё подготовила; я ведь знала, что день, подобный сегодняшнему, настанет. В получасе ходьбы отсюда ждёт мой экипаж, он отвезёт нас на ближайшую почтовую станцию, и прежде чем в Зиновьеве догадаются, что ты не вернёшься, мы уже будем с тобою далеко-далеко.

– Нет, мама, нет, это невозможно! – воскликнул Осип.

Станислава Феликсовна, не слушая его, продолжала:

– Там свобода, жизнь, счастье! Я введу тебя в широкий, вольный свет, и

только тогда, когда ты узнаешь его, ты вздохнёшь полной грудью и почувствуешь радость освобождённого из темницы узника. О, я знаю, каково бывает на душе у такого счастливец: ведь и я носила цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении; но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хороша свобода! Ты собственным опытом убедишься в этом.

Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались тысячным эхом в груди юноши, в котором до сих пор насильственно подавляли бурное стремление ко всему тому, что ему предлагала мать. Как светлая, очаровательная картина, залитая волшебным сиянием, стояла пред ним жизнь, которую рисовала ему мать. Стоило протянуть руку – и она была его.

– Моё слово... моё слово! – бормотал он.

– Это ловушка.

– Отец будет презирать меня, если...

– Если ты достигнешь великой и славной будущности? Тогда явись к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя. Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые уносят тебя под облака. Он не может понять твою натуру, никогда не поймёт её. Неужели ты хочешь погибнуть из-за простого обещания? Пойдём со мною, Осип, со мною, для которой ты – всё! Пойдём на свободу! – И Станислава Феликсовна увлекала сына прочь, медленно, но неудержимо.

Правда, некоторое время он ещё противился, но вырваться ему не удалось. Под влиянием мольбы и нежности матери последний остаток сопротивления постепенно ослабел. Он последовал за нею.

Через несколько минут у пруда уже никого не было. Мать и сын исчезли. Между тем в то время, когда у берега лесного пруда происходило описанное нами объяснение между матерью и сыном, в столовой княгини Вассы Семёновны, хозяйка дома, её брат и полковник Иван Осипович Лысенко, казалось, спокойно вели беседу, которая совершенно не касалась интересовавшей всех троих темы. Эта тема была, конечно, разрешённое отцом свидание сыну с матерью.

Иван Осипович не касался этого предмета, а другим было неловко начинать разговор об этом.

Сергей Семёнович иногда серьёзно, с искренним сожалением поглядывал на своего друга. В душе у него сложилось полное убеждение, что мать одержит победу над сыном и что последний не вернётся. Княгиня Васса Семёновна думала то же самое, хотя и не успела объясниться с братом ни одним словом. И брат и сестра слишком хорошо знали Станиславу Феликсовну.

Время шло. Иван Осипович стал нервно двигаться на стуле и чутко прислушиваться к малейшему шуму, долетавшему из сада.

Густые сумерки стали ложиться на землю. Слуги зажгли в столовой огни. Назначенные отцом сыну два часа миновали.

Разговор между тремя собеседниками ещё продолжался, но всё чаще и чаще стал обрываться не только на полужелании, но на полуслове. Напряжённое состояние духа собеседников достигло высшей степени.

Его совершенно неожиданно разрешил Иван Осипович.

– Лошади, вероятно, готовы, – вдруг встал он.

– Лошади... Какие лошади?..

– Лошади, которые могли бы отвезти меня в Тамбов, а оттуда в Москву. Мне, как я уже говорил, необходимо уехать сегодня же; я и так заговорился с вами и опоздал на целый час.

– А сын? – невольно вырвалось у Сергея Семёновича.

– У меня нет сына, – холодно произнёс Иван Осипович.

Княгиня переглянулась с братом, но оба они не сказали ни слова. Они хорошо поняли, что Иван Осипович убедился сам, что сын нарушил данное им слово и перешёл на сторону матери. Тогда действительно он мог считаться погибшим для отца.

“У меня нет сына!” – эта фраза, казалось, так и осталась висеть в атмосфере комнаты, атмосфере тяжёлой и неприветной.

Все трое стояли несколько минут как окаменелые. Первая прервала эту томительную паузу княгиня Васса Семёновна, дёрнув сонетку.

– Вели подавать лошадей!.. – приказала она явившемуся лакею.

Иван Осипович стал прощаться. Он с почтительностью и с какой-то особой нежностью поцеловал руку хозяйки дома, а затем нервно обнял друга, несколько раз поцеловал его и тотчас отвернулся, чтобы смахнуть предательскую слезинку, появившуюся на ресницах. После того он твёрдою, ровной походкой вышел в переднюю, а затем на крыльцо, у которого уже позвякивала бубенцами и колокольчиками княжеская тройка.

Лошади тронулись. Княгиня и её брат молча стояли на крыльце, вдыхая лёгкую свежесть тёплого июльского вечера.

Звук колокольчика и бубенцов удалявшейся тройки, по мере его удаления, точно снимал с них тяжёлую ношу.

Наконец эти звуки замолкли. Брат и сестра вернулись в столовую, молча вошли и молча сели на свои места.

– Нелегко ему, бедному! – прервала молчание княгиня.

– Да-а-а, – протянул Сергей Семёнович. – Но он сам виноват... Зачем было отпускать сына?.. Я говорил ему... Он рассердился... Он заявил, что уверен в возвращении Осипа, так как тот дал ему честное слово. Но он не принял во внимание, что мальчик уже вторую неделю находится под влиянием женщины, для которой слово “честь” не существует.

– Не слишком ли вы строги к ней... – заметила княгиня. – Она прежде всего – мать.

– Но разве мать не должна жертвовать своим личным “я” для пользы своего ребёнка? Разве она не понимает, что отец, конечно, скорее выведет сына на честную дорогу, нежели она, бездомная скиталица, разведённая жена?.. Как враждебно ни была бы она настроена против своего мужа, она не может усомниться в одном – в его честных правилах... Где она была восемь лет? Почему только теперь ей понадобился сын? Нет, это возмутительно!.. Мальчик погиб не только для Ивана, он погиб для всех.

XV. ПРИДВОРНАЯ ЖИЗНЬ

С воцарением Елизаветы Петровны немецкий гнёт, тяготевший над Россией, был уничтожен мановением прелестной, грациозной ручки дочери Великого Петра.

Елизавета Петровна отличалась добротой своей матери, отвращением к крови, здравым смыслом и умением выбирать людей. Она сохранила на престоле ту любовь к своей родине, ту простоту Петра, которые стяжали ей имя "матушки" у народа.

Её двор был отрицанием "Домостроя". Он подчинялся овладевшему тогда Европой влиянию Франции. Пышность, блеск, увеселения, маскарады, оперы, водевили, возникшие при Анне Иоанновне в грубом виде, достигли версальского изящества. Императрица сама переодевалась несколько раз в день, в её гардеробе было до 15 000 шёлковых платьев. Она любила сидеть перед зеркалом, болтая вздор, слушая сплетни дипломатов, а вследствие этого проходили месяцы, пока министр достаивался доклада.

В глубине души Елизавета Петровна была настоящей русской помещицей. По вечерам она была окружена бабами и истопником, которые тешили её сказками и народными прибаутками. От балов она переходила к томительному богослужению, от охоты – к "богомольным походам". Она благоговела перед духовенством и часто жила в Москве.

При Елизавете Петровне возникли русская литература, науки и высшее образование, а внешняя политика отличалась национальным направлением. Императрица начала с объявления, что останется девицей, а наследником назначает своего племянника, сына Анны Петровны, который тотчас же был выписан из Голштинии и обращён в православие под именем Петра Фёдоровича. Это был тот самый "чёртушка", который, если припомнит читатель, смущал покой Анны Леопольдовны.

Наряду с этим при дворе интриги были в полном разгаре. Первую роль играли женщины: Мавра Егоровна Шувалова, Анна Карловна Воронцова, Настасья Михайловна Измайлова и другие. От женщин не отставали и

мужчины. Немедленно по воцарении Елизаветы Петровны образовались партии, только и думавшие о том, как бы одна другую низвергнуть. Их вражда забавляла государыню, и она часто пересказами старалась ещё более возбуждать противников друг против друга.

С одной стороны стояли представители союза с Францией, к которым присоединилась ещё голштинская свита наследника престола, с другой – Бестужев, опиравшийся на Разумовского. Сам же Алексей Григорьевич не принимал участия в придворных сплетнях и интригах. Его близкими приятелями были Бестужев и Степан Фёдорович Апраксин; но тем не менее в государственные дела он не вмешивался, а Бестужева любил потому, что несмотря на его недостатки чуял в нём самого способного и полезного для России деятеля.

Первая стычка между двумя партиями имела следствием несчастное лопухинское дело.

Герману Лестоку хотелось уничтожить соперника, им же самим возвышенного. Он ухватился за пустые придворные сплетни, надеясь запутать в них вице-канцлера Бестужева-Рюмина и тем повредить Австрии.

Надо заметить, что в числе осуждённых на смертную казнь, но помилованных Елизаветой Петровной, был и граф Левенвольд, казнь которого была заменена ссылкой в Сибирь. Негодование и досада овладели близкой к нему женщиной – Натальей Фёдоровной Лопухиной. Она отказалась от всех удовольствий, посещала только одну графиню Бестужеву, родную сестру графа Головкина, сосланного также в Сибирь, и, очень понятно, осуждала тогдашний порядок вещей.

Этого было достаточно. Лесток и князь Никита Трубецкой стали искать несуществующий заговор против императрицы в пользу младенца Иоанна. Агенты Лестока – Бергер и Фалькенберг – напоили в одном из гербергов подгулявшего юного сына Лопухиной и вызвали его на откровенность. Лопухин дал волю своему языку и понёс разный вздор. Из этого же вздора Лесток составил донос, или, лучше сказать, мнимо-ботто-лопухинское дело. Лесток и Трубецкой старались замешать в это дело

также бывшего австрийского посла при нашем дворе маркиза Ботта д'Адорна, который был в хороших отношениях с Лопухиной, и выставить их как главных зачинщиков. Итогом процесса было присуждение Лопухиных: Степана, Наталью и Ивана бить кнутом, вырезать язык, сослать в Сибирь и всё имущество конфисковать. Однако Бестужева это дело не сломало.

После описанной трагической развязки этого процесса двор переехал в Москву. Через несколько недель, весной 1744 года приехала принцесса Ангальт-Цербст-Бернбургская Иоганна Елизавета с дочерью Софией Августой Фредерикою. Этот приезд был неожиданным ударом для Бестужева, мечтавшего о брачном союзе для наследника престола с принцессой Саксонской. В то же самое время миропомазание принцессы Софии, принявшей с православием имя Екатерины Алексеевны, было последним торжеством Лестока.

Во время пребывания двора в Москве, 12 мая 1744 года, императрица подарила Алексею Григорьевичу Разумовскому село Перово и деревни Татарки и Тимохово, а также и двор Гороховский на земле Спасо-Andроньевского монастыря, отобранный прежде в военную канцелярию, но с тем чтобы за землю платить монастырю оброчные деньги.

Разумовский в государственные дела вмешиваться не любил... Он понимал, что высшие правительственные соображения не про него писаны, что он к этому делу не подготовлен, и потому ограничился тем, что передавал государыне бумаги Бестужева и не пропускал случая замолвить за него доброе слово. К тому же свойственная всем истым малороссиянам лень ещё более отстраняла его от головолomных занятий. Однако были два вопроса, которые задевали его за живое.

Для них он забывал свою природную лень и отвращение к делам и смело выступал вперёд, не опасаясь из-за них докучать государыне. Первый вопрос касался дел духовных и духовенства.

Благодаря Разумовскому влияние духовенства на набожную и суеверную Елизавету приняло огромные размеры.

“Первейший тогда, в особливой милости и доверенности у её

императорского величества находящийся господин обер-егермейстер граф Алексей Григорьевич Разумовский, – говорит князь Яков Петрович Шаховской, – приятственно с духовными лицами обходился и в их особых надобностях всегда предстателем был”.

Если не по инициативе Разумовского, то, по крайней мере, через его посредство учреждена была в Свияжске особая комиссия с целью распространения христианства в среде инородцев. Миссионеры посылались и в Сибирь, и на Кавказ, и в Камчатку, и результаты их деятельности были блестящи. Доброе семя было брошено и начало уже пускать корни. Вслед за принятием христианства неминуемо последовало бы окончательное обрусение края, но, к сожалению, эти благие начала не принесли доброго плода и благодаря равнодушию следующих царствований прошли без следа.

К сожалению, религиозное настроение Разумовского и императрицы имело и тёмную сторону. Их набожностью пользовались для достижения своих целей хитрые интриганы. Этим объясняется то, что несмотря на исключительное положение некоторых духовных лиц при дворе, на постоянное благорасположение к ним государыни и непрестанное ходатайство за них Разумовского, собственно для улучшения всего духовенства и рационального усиления его влияния было сделано или ничего, или крайне мало.

Другим вопросом, возбуждившим живое участие в Алексее Григорьевиче, были дела Малороссии. Здесь он действовал совершенно самобытно, руководимый единственно страстной любовью к родине.

При дворе никто не обращал внимания на отдалённую Украину, до неё никому не было дела, и она стенала под игом правителей, посылаемых из Петербурга. Её права были забыты, и на ней страшным образом отозвался ужас бироновщины.

В Петербург прибыли депутаты от Украины с поздравлением с совершившимся священным коронованием Елизаветы Петровны. Приём, оказанный им, льготы, привезённые ими, рассказ о силе и влиянии Разумовского при дворе, о любви его к родине и всегдашней готовности

хлопотать и стоять за земляков, произвели сильное впечатление в Малороссии. Все вздохнули привольнее, во всех сердцах зародились надежды на будущие блага, и "генеральные старшины" громко стали поговаривать об избрании гетмана.

По отъезде депутатов-земляков Алексей Григорьевич загрустил по родине и стал думать только о том, как бы ему побывать в Малороссии, а так как малейшие желания тайного супруга императрицы были законом для её двора, то она сама решила посетить Киев.

Это путешествие в Малороссию или, как тогда выражались, "поход", началось 27 июня 1744 года.

Поезд государыни был огромный. Её сопровождал Разумовский, гофмейстер Шепелев, граф Салтыков, Фёдор Яковлевич Лубянский, два архиепископа, графиня Румянцева, князь Александр Михайлович Голицын, граф Захар Григорьевич Чернышёв, Брюммер, Берхгольц, Декен и другие. Вся свита состояла из двухсот тридцати человек.

Генеральные старшины взяли было на себя поставку лошадей и провизии на станциях от Глухова до Киева. Решено было подготовить 4 000 лошадей, но Алексей Григорьевич сообщил, что всех лошадей нужно будет 23 000, так что принуждены были их собирать с обывателей.

Пред государыней проехали великий князь Пётр Фёдорович и его невеста, принцесса Ангальтская; они сперва в Козельске, а потом в Глухове дожидались поезда императрицы.

Начало путешествия было неблагоприятно. Открылся, или, вернее, уверили государыню, что был открыт заговор. Многие лица из свиты прямо с дороги отправлены были в ссылку. Вследствие этого Елизавета Петровна сначала была в очень дурном расположении духа, но туча разошлась дорогою и уже в Малороссии рассеялись последние следы бури.

Приём, сделанный императрице в Толстодубове, под Глуховом, на самом рубеже Украины, был великолепен. В нём участвовало двенадцать полков и несколько отрядов из надворной гетманской хоругви. Полки были выстроены в одну линию, в два ряда. Первый полк, отсалютовав

царице знамёнами и саблями, обскакивал весь фронт и другой полк и останавливался за последним; второй делал то же, и таким образом государыня видела неразрывную цепь полков до Глухова. Доехав до городских ворот, государыня вышла из кареты и пошла пешком в Деви́чий монастырь, где слушала обедню. Из монастыря государыня отправилась в карете на монастырский двор, где была аудиенция всем старшинам. После аудиенции был обед и вечером танцы.

На другой день после приезда государыни ей через Разумовского было подано прошение о гетмане. В тот же день Елизавета Петровна поехала далее, милостиво приняв прошение.

Такие же встречи были в Кролевце, Нежине и Козельце. Из Киевской академии были выписаны "вертепы". Певчие пели, семинаристы представляли зрелища божественные в лицах и пели поздравительные кантаты.

Есть предание, что в Козельце государыня останавливалась на долгое время у матери Алексея Григорьевича – Натальи Демьяновны – и ещё ближе познакомилась с семейством Алексея Григорьевича.

Встреча в самом Киеве была чрезвычайно торжественна. В ней приняло участие всё население города. Воспитанники духовной академии ожидали Елизавету Петровну, одев наряды греческих богов. С помощью машин были произведены разные удивительные явления. Так, между прочим, выехал за город седовласый старик в богатой одежде, с короной на голове и жезлом в руках. Он представлял киевского князя Владимира Великого, приветствовал государыню, как свою наследницу, пригласил её в город и поручил ей весь русский народ. Он сидел на колеснице, названной "Божественный фаэтон", в который были запряжены два пиетических крылатых коня, или пегаса.

Все полковники на дистанциях до Киева с полчанами своими подавали прошения о гетмане.

Государыня в Киеве оставалась две недели. Она была в восторге от приёма и от самого Киева, посещала церкви и монастыри, где оставляла богатые вклады, собственноручно золотила великолепную церковь

Андрея Первозванного и повелела строить в Киеве дворец.

На возвратном пути государыня опять посетила Козелец и пригласила Наталью Демьяновну с дочерьми в Петербург на свадьбу наследника престола.

В ответ на прошение о гетмане генеральным старшинам было приказано прислать в Петербург торжественную депутацию ко дню бракосочетания наследника.

Вскоре по возвращении из "малороссийского похода" стали готовиться к бракосочетанию великого князя. И без того безумная роскошь двора того времени приняла особенные размеры. Всем придворным чинам за год вперёд было выдано жалованье, так как они "по пристойности каждого свои экипажи приготовить имеют". Именным указом было повелено знатным обою пола особам изготовить богатые платья, кареты цугом и прочее. Из Парижа было выписано подробное описание всех церемоний празднеств и банкетов, бывших при свадьбе дофина с инфантою испанскою, а из Дрездена – все рисунки, программы, объявления тех торжеств, которыми во время правления роскошного Августа II сопровождалось бракосочетание его сына, царствовавшего в то время короля польского.

Государыня страстно любила празднества. При дворе бывали постоянно банкеты, куртаги, балы, маскарады, комедии французская и русская, итальянская опера и прочее. Два раза в неделю бывали при дворе маскарады – один для двора и для тех лиц, которых государыня удостоивала приглашениями, другой – для шести первых классов и знатного шляхетства.

Кроме того, часто бывали публичные праздники для дворянства. Иногда на них допускалось и купечество, и всякого звания люди, кроме людей боярских.

На эти маскарады дамы должны были являться в домино с "баутами" и "быть на самых маленьких фижмочках, то есть чтобы обширностью были малые". Строго запрещалось привозить с собою малолетних и употреблять в убранстве хрусталь и мишуру. Дозволялось являться в

приличных масках и платьях маскарадных, "точно кроме пилигримского, арлекинского и непристойных деревенских".

Даже французы, которые в то время гордились Версалем и его праздниками, не могли надивиться роскоши русского двора.

"Красота и богатство апартаментов, – говорит де ла Мессельер, секретарь французского посольства, – невольно поразили нас, но удивление вскоре уступило место приятному ощущению при виде более 400 дам, наполнявших оные. Они были почти все красавицы, в богатейших костюмах, осыпанных бриллиантами. Но нас ожидало ещё новое зрелище: все шторы были разом спущены, и дневной свет внезапно был заменён блеском 1 200 свечей, которые отражались со всех сторон в многочисленных зеркалах. Загремел оркестр, составленный из 80 музыкантов. Вдруг услышали мы глухой шум, имевший нечто весьма величественное. Дверь внезапно отворилась настежь, и мы увидели великолепный трон, с которого сошла императрица, окружённая своими царедворцами, и вошла в бальный зал. Воцарилась всеобщая тишина. Государыня поклонилась троекратно. Дамы и кавалеры окружили нас, говоря с нами по-французски, как говорят в Париже. Зал был огромный, и зараз танцевали до 20 менуэтов что производило довольно странную, но в то же время приятную для глаз картину. Контрданцев вообще танцевали мало, всего несколько польских и полонезов. В 11 часов обер-гофмейстер объявил её величеству, что ужин готов. Все перешли в очень большой и богато убранный зал, освещённый 900 свечами. На середине стоял фигурный стол на 400 персон. На эстраде во время ужина гремела вокальная и инструментальная музыка. Были кушанья всех возможных стран Европы, и прислуживали французские, русские, немецкие и итальянские официанты, которые старались ухаживать за своими соотечественниками".

Однажды Елизавета Петровна вздумала приказать, чтобы на некоторых придворных маскарадах все мужчины являлись без масок, в огромных юбках и фижмах, одетые и причёсанные как одевались дамы на куртагах. Такие метаморфозы не нравились мужчинам, которые бывали от того в

дурном расположении духа. С другой стороны, дамы казались жалкими мальчиками. Кто был постарее, тех безобразили толстые и короткие ноги. Но мужской костюм очень шёл к государыне, и несчастные дамы и кавалеры должны были покориться судьбе своей. При высоком росте и некоторой полноте, Елизавета Петровна была чудно хороша в мужском наряде. Ни у одного мужчины не было такой прекрасной ноги; нижняя часть особенно была необыкновенно стройна.

Государыня во всяком наряде умела придавать своим движениям особенную прелесть. Она танцевала превосходно и отличалась в особенности в менуэтах и русской пляске.

Кокетство было тогда в большом ходу при дворе, и все дамы только и думали о том, как бы перещеголять одна другую. Императрица первая подавала пример щегольства, но при этом никто не смел одеваться и причёсываться так, как она.

О причёсках и нарядах дам издавались особые высочайшие указы, ослушницам которых грозило чувствительное наказание, а главное – гнев императрицы, которую обожали. Этими указами отчасти старались ограничить издержки частных лиц, но в этом смысле не достигли цели: указы исполнялись, а роскошь всё усиливалась.

XVI. ВЕЗДЕ КИРИЛЛ

В водоворот великосветской придворной жизни тогдашнего Петербурга сразу окунулся младший брат Алексея Григорьевича – Кирилл, только что вернувшийся из-за границы. Он был отправлен туда своим братом в марте 1743 года, “дабы учением наградить пренебрежённое поныне время, сделать себя способнее к службе её императорского величества и фамилией своей впредь, собою и поступками своими принести честь и порадование”.

Кирилл Григорьевич отправился на два года в Германию и Францию под надзором Григория Николаевича Теплова; поучившись в Кенигсберге, он

со своим пестуном переехал в Берлин и здесь стал учиться под руководством знаменитого математика Леонарда Эйлера, бывшего профессора Петербургской академии. В то же время Разумовский изучал французский язык, бывший при дворе Фридриха-Вильгельма в большом употреблении.

Из Пруссии путешественник отправился во Францию и наконец весною 1745 года возвратился в Россию и был пожалован в действительные камергеры и кавалеры голштинского ордена Св. Анны.

Эта двухлетняя поездка совершенно преобразила молодого Разумовского. По своём возвращении в Россию он явился при пышном дворе Елизаветы и стал вельможей не столько по почестям и знакам отличия, сколько по собственному достоинству и тонкому врождённому уменью держать себя. В нём не было в нравственном отношении ничего такого, что определяется словом "выскачка", хотя на самом деле он и брат его были "выскачками" в полном смысле слова. Отсутствие гениальных способностей вознаграждалось в нём страстною любовью к родине, правдивостью и благотворительностью – качествами, которыми он обладал в высшей степени и благодаря которым заслужил всеобщее уважение.

Кирилл Григорьевич был очень хорош собою и очень приятен в обращении. Все красавицы при дворе были без ума от него. Почести и несметное богатство не вскружили ему головы, роскошь и все последствия, неразрывно связанные с нею, не испортили ему сердца. Он был добр и великодушен, благотворителен, щедр в милостынях и без лишних гордости и гнева всем доступен, со всеми ласков, полн наивного, оригинального ума, с лёгким оттенком насмешливости.

А было отчего вскружиться голове при дворе роскошной Елизаветы, и едва ли кто-либо, подобно Кириллу Григорьевичу, лучше мог бы сохранить трезвость мыслей среди этого водоворота интриг и непрестанных наслаждений.

"Двор, – говорит князь Щербатов, – подражая, или, лучше сказать, угождая императрице, облекался в расшитые, златотканые одежды.

Вельможи изыскивали в одеянии всё, что есть самого богатого, в столе – всё, что есть драгоценнее, в питье – всё, что есть реже, в услуге, возобновля древнюю многочисленность служителей, – приложили к ней пышность их одежды. Экипажи заблестали золотом, дорогие лошади впрягались в золочёные кареты. Дома стали украшаться позолотою, шёлковыми обоями во всех комнатах, дорогою мебелью, зеркалами и прочим”.

Особенною роскошью отличались два приятеля Алексея Разумовского. Первым был великий канцлер Бестужев, у которого был столь большой погреб, что его сын “знатный капитал составил, когда по смерти его погреб был продан графам Орловым”, у которого и палатки, ставившиеся на его загородном доме, на Каменном острове, имели шёлковые верёвки. Вторым был Степан Фёдорович Апраксин, “всегда имевший великий стол и гардероб, из многих сот разных богатых кафтанов состоявший”.

Впрочем, и старший Разумовский не отставал от своих приятелей. Он первый стал носить бриллиантовые пуговицы, звёзды, ордена и эполеты. Он вёл большую игру, сам держал банк и нарочно проигрывал, “причём статс-дама Настасья Михайловна Измайлова (урождённая Нарышкина) и другие попроще из банка крадывали у него деньги, да и не только лишь важные лица, которые потом в надлежащем месте выхваляли его щедрость, но и люди совсем неважные при этом пользовались”. За действительным тайным советником князем Иваном Васильевичем Одоевским, александровским кавалером и президентом Вотчинной коллегии, один раз подметили, что он тысячи монет в шляпе перетаскал и в сенях отдавал своему слуге.

В Петербурге в это время готовились к свадьбе великого князя.

Туда спешили гости из Малороссии. Наталья Демьяновна Розумиха собралась со всей семьёй. Она ехала по зову государыни, но главным образом влекло её на север свиданье с её младшим сыном, которого она не видала несколько лет.

Вместе с Натальей Демьяновной прибыл в Петербург генеральный бунчужный Демьян Оболонский и депутаты, избранные от

малороссийского народа: генеральный обозный Лизогуб, хорунжий Ханенко и бунчужный товарищ Василий Андреевич Гудович. Все они, конечно, были своими людьми у графа Алексея Григорьевича, где впервые увиделись и познакомились с графом Кириллом Григорьевичем, к избранию которого в гетманы их стали исподволь готовить. На всех торжествах они занимали почётное место и жили в Петербурге, ласкаемые императрицею и Разумовским, ожидая окончательного решения вопроса об избрании гетмана.

Но решения никакого не выходило. Депутатам, разумеется, дали почувствовать, кого им готовили в начальники, однако до окончательного избрания было ещё далеко. Находили ли Кирилла Григорьевича слишком юным, сам ли он не желал оторваться сейчас же по приезде от столичной жизни, решить трудно, но дело в том, что Лизогуб, Ханенко и Гудович сидели у моря и ждали погоды, а будущий гетман тем временем только и думал о праздниках.

Свадьба наследника престола была отпразднована с необыкновенными блеском и пышностью. Десять дней продолжались празднества. Бал сменялся банкетом, банкет – маскарадом, маскарад – итальянским действием, именуемым пасторалью, пастораль – оперой, французскими комедиями, балетом и прочим.

Граф Кирилл Григорьевич с увлечением бросался в вихрь света. Он ежедневно находился в обществе государыни, то при дворе, то у своего брата. Елизавета Петровна большую часть дня проводила в комнатах своего супруга во дворце, да кроме того, часто посещала она его дом и в городе, и за городом. Особенно любила она Гостилицы. В них приезжала она иногда на несколько дней летом, поздней осенью и зимой. Там она охотилась верхом то с собаками, то с соколами, в мужском костюме.

В Гостилицах Алексей Григорьевич давал роскошные обеды и ужины – то в разных апартаментах дома, то на дворе в поставленной белой палатке. Во время этих угощений гремела итальянская музыка, иногда играли валторны, при питии здоровья палили из пушек. Изредка собирались в дом крестьянки, “бабы и девки”, так как государыня любила народные

песни.

Особенно любил Алексей Григорьевич угощать государыню и весь двор у себя в цесаревнином, а позднее в Аничковском доме в день своих именин 17 марта. Для этих праздников он не щадил денег и во всё царствование Елизаветы Петровны 17 марта считалось чем-то вроде табельного дня.

Так в пирах и веселье пролетели первые годы пребывания молодого Разумовского при дворе.

Григорий Николаевич Теплов продолжал находиться при нём, хотя в это время он едва ли мог усмотреть за своим бывшим учеником. Впрочем, он этого и не домогался, а терпеливо выжидал времени, пока судьба призовет Кирилла Григорьевича к серьёзной деятельности, и заранее готовился принять в этой деятельности самое живое участие.

Из своих сверстников граф Кирилл особенно сблизился с умным, оригинальным и любезным графом Иваном Григорьевичем Чернышёвым. Их связали и молодость, и оригинальность, и одинаковые успехи в свете, но особенно общая страстная любовь к родине. Чернышёв много знал и читал. Бывши за границей, он сошёлся со всеми замечательными людьми того времени, отлично говорил в обществе, был добрым человеком, весьма гостеприимным и со всеми одинаково любезным. Сходство характеров и наклонностей и породило дружбу.

Шесть месяцев прогостила Наталья Демьяновна у своего сына, и снова стало тянуть её в родную Адамовку, где в то время строился хутор Алексеевщина. Она уехала с дочерью, оставив внуков и внучек, родного и двоюродных братьев Будлянских, Закревских, Дараганов и Стрешенцевых на попечении Алексея Григорьевича. Эти внуки и внучки помещены были во дворце.

21 мая 1746 года Кирилл Григорьевич был назначен президентом Академии наук. Как ни странно теперь назначение в президенты двадцатидвухлетнего юноши, едва выпустившего из рук указку, однако это объясняется не только исключительным положением графа Алексея Григорьевича при дворе, но ещё тем полным отсутствием людей образованных и способных, которым отличалась Россия особенно в

начале царствования Елизаветы Петровны. К тому же при тогдашнем настроении умов во главе академии хотелось видеть русского, а не немцев. Но из русских никто к этому делу не оказывался годным, так что академия оставалась без президента. Тем временем вернулся из-за границы брат всемогущего временщика с огромным запасом лстивых свидетельств от падких на русские деньги иностранных профессоров. По городу и при дворе громко трубили о талантах и познаниях молодого Разумовского, и он, не сознавая ни значения академии, ни обязанностей, возложенных на него, очутился вдруг президентом императорской Российской академии наук.

Очевидно, при отсутствии серьёзного классического образования недавний казак, каким-то чудом преобразованный в придворного кавалера, не мог быть примерным президентом. Без руководителя невозможно было обойтись, и таковым стал знакомый с академией его воспитатель Теплов, получивший место асессора при академической канцелярии.

Однако, несмотря на недостаточность познаний и совершенную неподготовленность к такому делу, Кирилл Григорьевич управлял академией не хуже своих предшественников. Он, с помощью своего бывшего наставника и руководителя Теплова, и давно состоявший в академии Шумахер горячо принялись за академические дела. Начались проекты преобразований, с планами новых регламентов, но распри академиков, разделившихся на две партии, русскую и немецкую, были до того перепутаны, что даже человеку более опытному едва ли было возможно доискаться истины. Всё это сразу охладило пыл нового президента. Дела академии пошли по-прежнему под руководством Теплова и Шумахера.

В конце 1746 года императрица Елизавета Петровна сосватала за Кирилла Григорьевича Разумовского свою внучатую сестру и фрейлину Екатерину Ивановну Нарышкину, родившуюся 11 мая 1731 года.

По своему отцу, капитану флота Ивану Львовичу Нарышкину, она была внучкой любимого дяди Петра Великого, боярина Льва Кирилловича,

заведовавшего Посольским приказом. Её тётки при дворе Петра Великого играли весьма важную роль и считались чем-то вроде принцесс крови. По матери невеста графа Разумовского происходила от Фомы Ивановича Нарышкина, дяди Кирилла Полуэктовича.

Екатерина Ивановна лишилась родителей в младенчестве и воспитывалась в доме дяди, Александра Львовича, известного своею надменностью. Таким образом, всё своё детство она прожила с двоюродными братьями, Александром и Львом Александровичами, известными в восемнадцатом столетии любезностью и гостеприимством.

В приданое она получила половину всего огромного состояния Нарышкиных. За нею считалось 88 000 душ и, между прочим, дом на Воздвиженке в Москве (теперь графа Шереметева), подмосковные сёла: Петровское (известное под именем Петровско-Разумовского), Троицкое, Котлы, огромные пензенские вотчины: Черниговская и Ерлово.

Свадьба Кирилла Григорьевича была с изумительной торжественностью отпразднована 27 октября 1746 года при ближайшем участии императрицы Елизаветы, великого князя-наследника Петра Фёдоровича, его супруги Екатерины Алексеевны и всего придворного штата. На другой день после свадьбы графиня Екатерина Ивановна была пожалована в статс-дамы.

Между тем малороссийские депутаты Лизогуб, Ханенко Гудович всё ещё находились при дворе, ожидая окончательного решения об избрании гетмана. Впрочем, они сумели в это время выхлопотать много льгот для своей родины.

Наконец 16 октября 1749 года был подписан Елизаветой указ об отправке графа Гендрикова для избрания гетмана малороссийского и о передаче всех дел украинских из сената в коллегия иностранных дел. В это время были отпущены и депутаты.

Граф Гендриков приехал в Глухов 15 января 1750 года. Он привёз жалованную грамоту, и через два дня по его приезде, по его требованию, генеральные старшины съехались в генеральную канцелярию и подписывались на "прошении в гетманы Кирилла Григорьевича". 14

февраля прибыли на избрание митрополит киевский и архиерей черниговский, а 17-го – и все полковники, старшины и бунчужные, кроме рядовых казаков, которым не было указа являться к этому сроку. На другой день в квартире Гендрикова были собраны все полковники, бунчуковые товарищи, полковые старшины, сотники, архиереи и всё духовенство, и им было объявлено избрание гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского, “а рядовых казаков при этом не было”.

Несколько дней было посвящено на подготовку самого избрания при обстановке, дотоле ещё неизвестной на Украине. Наконец 22 февраля произошло самое торжество избрания. По пробитии утренней зари и по данному сигналу из трёх пушек народ толпою стал собираться со всех сторон на площади, между церквями Николаевскою и Троицкою, где было приготовлено возвышение о трёх ступенях, покрытое гарусным штофом и обведённое перилами, обитыми алым сукном. В то же время к тому месту выступили полки. В восемь часов собрались в дом графа Гендрикова генеральные и войсковые старшины, бунчуковые товарищи и знатное малороссийское шляхетство, а митрополит киевский с тремя епископами и прочим духовенством отправился в церковь Св. Николая Чудотворца. В девять часов третий сигнал возвестил народу о начале церемонии. Прежде всего выехали шестнадцать выборных кампанийцев в полном вооружении под предводительством своего старшины. За ними следовали гетманские войсковые музыканты с литаврщиками; потом в богатой карете секретарь коллегии иностранных дел вёз высочайшую жалованную грамоту, держа её в руках, на большом серебряном вызолоченном блюде. За каретою несли гетманские клейноды: большое белое знамя с русским гербом, подарок Петра Великого гетману Даниилу Апостолу, гетманские булаву, бунчук и печать. Наконец, несли войскового прапор.

Затем цугом ехали в богатой карете граф Гендриков и его ассистенты. Когда Гендриков приблизился к возвышению, на него были внесены царская грамота и гетманские клейноды и положены на два стола. За ними поместилось духовенство в полном облачении. Около стола, где

лежали клейноды, стояли генеральные старшины и бунчуковые товарищи, а вокруг возвышения – всё шляхетство.

Посреди возвышения стал граф Гендриков и произнёс:

– Её императорское величество, по прошению всего малороссийского народа, всемилостивейше соизволяет быть по-прежнему на всей Малой России гетману и повелевает избрать им себе из природных своих людей гетмана, по малороссийским своим правам и вольностям, вольными голосами, для которого избрания я с высокомонаршею грамотою сюда, в Малую Россию, и прислан.

После этого секретарь Писарев громогласно прочёл всему собранию жалованную грамоту. Тогда граф Гендриков спросил:

– Кого желаете себе в гетманы?

На это духовенство, войсковые чины и шляхта объявили, что так как самым неутомимым ходатаем за них был граф Алексей Григорьевич Разумовский, то они за правое полагают быть в Малой России гетманом его брату, природному малороссиянину, графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому. Народ троекратным криком подтвердил избрание.

Гендриков поздравил всех присутствующих с новоизбранным гетманом. Раздался сто один пушечный выстрел, и по полкам все казаки стали стрелять беглым огнём. Грамота и гетманские клейноды были внесены в церковь Св. Николая, куда отправилось собрание. Началась литургия, после которой был отпет молебен с многолетием государыне.

В следующие дни состоялось избрание депутатов, которые должны были ехать в Петербург, чтобы благодарить государыню и поздравить нового гетмана.

XVII. НОВЫЕ ФАВОРИТЫ

В Петербурге между тем влияние канцлера Алексея Петровича Бестужева на государственные дела всё усиливалось. Крайне пронырливый и подозрительный, неуживчивый и часто мелочный, он в то же время был

твёрд и непоколебим в своих убеждениях. Он с необыкновенным искусством умел действовать даже через своих недругов, и долгое время Шуваловы служили его целям. Однако главной силой Бестужева была тесная его связь с Алексеем Григорьевичем Разумовским.

Значение Алексея Петровича ещё более возвысилось со времени женитьбы его сына на молодой графине Разумовской. Императрица поставила Бестужева на такую близкую ногу, что не проходило почти вечера без приглашения его на маленькие вечеринки, и Елизавета Петровна дозволила ему говорить всё, что он хочет.

Эта "молодая графиня Разумовская" (Евдокия Даниловна), титулованная так и в камер-фурьерских журналах, была родной племянницей Алексея и Кирилла Разумовских, дочерью их покойного брата, и фрейлиной императрицы.

Брак был совершён 5 мая 1747 года, но оказался несчастным. У молодых с первых же дней стали происходить домашние ссоры. Молодая графиня грозила пожаловаться государыне и своему старшему брату, обещалась обратить своё замужество в унижение великого канцлера и его семейства. В конце 1747 года графиня Евдокия Даниловна поехала с мужем в Вену, куда молодой Бестужев был отправлен с поздравлением по случаю рождения эрцгерцога Леопольда. Мария-Терезия, нуждаясь в союзе с Россией и зная, что Бестужев и Разумовский были сторонниками венского кабинета, осыпала любезностями графиню Бестужеву.

Однако последняя жила недолго: беспутный муж скоро вогнал её в могилу.

Горячий сторонник союза с Англией и с Австрией, дружественные отношения к которой были ещё завещаны Петром Великим, Алексей Петрович Бестужев не мог равнодушно думать о Пруссии и Франции. Он знал, сколько денег потратили и Фридрих Великий, и версальский кабинет на то, чтобы свергнуть его, и направил все усилия к тому, чтобы окончательно уничтожить влияние этих двух держав в Петербурге. Он перехватил депеши Шетарди, полные дурных отзывов о Елизавете Петровне, и добился того, что французский посланник был со срамом

выгнан из России.

Один враг был сломлен, но за Пруссию стоял ещё граф Лесток, которому государыня была многим обязана, но которого терпеть не мог граф Алексей Григорьевич и который сам открытым презрением ко всему русскому, бестактным поведением и необдуманными словами приготовил себе гибель. 22 декабря 1747 года Лестока схватили, допрашивали, пытали и сослали сперва в Углич, а потом в Устюг Великий.

Другие враги Бестужева, Шуваловы и Воронцов, держались благодаря своим жёнам, но трепетали пред всемогущим канцлером.

Великий князь Пётр Фёдорович, о котором Бестужев отзывался с величайшим презрением, лишённый своей голштинской свиты, которую канцлер выгнал без всяких церемоний из России, и великая княгиня Екатерина Алексеевна, на которую он смотрел как на малозначащую девочку, окружённые соглядатаями, не могли ни двинуться, ни вымолвить слова без его ведома.

Вскоре после ссылки Лестока двор переехал в Москву, и тут Елизавета Петровна очень серьёзно заболела. У неё сделались страшные спазмы, от которых она лишилась чувств, и её жизнь была в опасности.

Придворные страшно переполошились, но болезнь хранилась под величайшим секретом. Даже великий князь и великая княгиня узнали о ней только случайно.

“Целую ночь, – пишет посланник Линар, хорошо знакомый с тем, что делалось при дворе, так как он был принят как свой у Бестужевых, – были собрания и переговоры, на которых между прочим решено было главными министрами и военными властями, что, как скоро государыня скончается, великого князя и великую княгиню возьмут под стражу и императором провозгласят Иоанна Антоновича. Число лиц, замешанных в это дело, очень велико, но до сих пор никто друг друга не выдавал. Я подозреваю многих в том, что они принимали участие в заговоре, особенно же имеющих причины опасаться великого князя и весьма естественно ожидающих более милостей от принца, который всем им будет обязан”.

Однако опасения катастрофы исчезли, государыня скоро поправилась и переехала в Перово, к Алексею Григорьевичу Разумовскому. Туда приглашён был и великий князь с великой княгиней. Каждый день бывали охоты, и мужчины возвращались домой поздно, усталые и нелюбезные, так что дамам приходилось искать развлечения в себе самих.

Государыня ежедневно принимала участие в охоте. Великая княгиня Екатерина усердно принялась за чтение, что составило исключение при дворе, где редко кто брался за книгу. Обер-гофмейстерина Чеглокова, состоявшая при Екатерине, горько жаловалась на скуку. Не с кем было поиграть в карты, до которых она была страстной охотницей, да к тому же её муж, которого она страшно ревновала, совсем отбился от рук.

В Перове великая княгиня заболела и здесь увидела доказательство того обаятельного влияния на приближённых, которым природа столь щедро наградила её. Враждебная ей Чеглокова, приставленная к ней Бестужевым, чтобы следить за каждым её шагом, с самою нежною заботливостью стала ухаживать за великою княгинею во время её болезни и с этих пор совершенно переменилась в своих отношениях к ней.

Вскоре после этой болезни захворала вторично и государыня. Она приказала перевезти себя в Москву, и весь двор шагом ехал за нею. Новый припадок спазм не имел последствий, и вскоре потом Елизавета Петровна отправилась на богомолье к Троице. Она дала обет пройти пешком все шестьдесят вёрст и начала своё путешествие от Покровского дворца. Пройдя в день версты три или четыре, императрица возвращалась в Москву в карете. Иногда она в экипаже отправлялась далее, к тому месту, где была приготовлена стоянка, а после отдыха снова возвращалась в карете туда, где останавливалась в своём пешеходстве, и отсюда снова продолжала своё шествие. Таким образом этот "поход" занял почти всё лето, тем более что иногда императрица по нескольку дней отдыхала в Москве и сёлах по дороге.

На время богомолья великий князь и великая княгиня переехали на

Троицкую дорогу и поселились в Раеве, имение Чеглоковых, близ Тайнинского.

В июле государыня отправилась в Воскресенский монастырь. Ей сопровождали граф Алексей Григорьевич и некоторые из самых приближённых к ней лиц. Дорогой государыня останавливалась в принадлежащем Разумовскому селе Знаменском и там вечернее кушанье кушать изволила в ставке на лугу, подле Москвы-реки.

В это пребывание императрицы в Знаменском и произошло возвышение нового любимца – камер-пажа Ивана Ивановича Шувалова. Доказательством этого служит то, что он уговорил Разумовского уступить ему Знаменское, напоминая ему о начале его "случая". Уже через месяц, накануне своих именин, которые она праздновала в Новом Иерусалиме 4 сентября, императрица пожаловала своего камер-пажа в камер-юнкеры. Это было событием при дворе. Все на ухо друг друга поздравляли с новым фаворитом.

Возвышение Ивана Ивановича Шувалова, который ещё камер-пажом обратил на себя внимание Елизаветы своим прилежанием и любовью к чтению, исподволь было подготовлено его родственниками. Графиня Мавра Егоровна Шувалова, женщина умная, ловкая и дальновидная, пользовалась разными случаями, чтобы обратить на красавца пажа внимание государыни, и благодаря ей Иван Иванович получил сперва золотые часы, потом был пожалован камер-пажом и, наконец, камер-юнкером. С необычайной хитростью Шувалов так устроил дело, что Бестужев и Апраксин просили государыню пожаловать Ивана Ивановича в камер-юнкеры. Нет сомнения, что оба они обратились к своему другу Разумовскому и что добродушный Алексей Григорьевич сам же просил о возвышении своего соперника.

С этих пор был нанесён первый удар могуществу Бестужева, и Алексей Григорьевич Разумовский стал мало-помалу удаляться на второй план. Однако Алексей Петрович уступил не без борьбы. Он решил заменить нового фаворита своим собственным созданием, который был бы его орудием, а не подмогою для недругов.

В самом деле, вскоре при дворе стали замечать, что роскошнее всех бывал одет на представлении актёров-кадетов красивый юноша Никита Афанасьевич Бекетов. Ему было лет восемнадцать, и он исполнял роли первых любовников. Потом и вне театра показались на нём и бриллиантовые перстни, и кольца, и часы, и кружево, и всё самое лучшее. Наконец он вышел из корпуса, и, несомненно, вследствие настояния Бестужева ненавидевший всякие интриги Алексей Разумовский взял молодого Бекетова к себе в адъютанты, что давало тогда капитанский чин.

Придворные не замедлили вынести из этого свои заключения. Стали говорить, что если Разумовский приблизил к себе Бекетова, то это сделано с целью противопоставить его молодому камер-юнкеру Шувалову, так как бывший кадет обратил на себя особенное внимание государыни. Придворные не ошиблись. Действительно, Бекетов был избран Бестужевым, чтобы отстранить Шувалова и его партию.

Он приставил к молодому и неопытному Бекетову другого адъютанта, состоявшего при Разумовском, Ивана Петровича Елагина, который в то же время служил и под его начальством в коллегии иностранных дел. Жена Елагина – камер-фрау государыни – доставляла Бекетову тонкое бельё и кружева, и так как она не была богата, то ясно было, что деньги тратились не из её кошелька.

Более года оба соперника жили при дворе. Бекетов был произведён в полковники, занял комнаты во дворце и, казалось, брал решительный перевес над Шуваловым.

Между тем положение Алексея Разумовского среди всей этой интриги для людей, не посвящённых во все тайны придворной жизни, казалось не изменившимся. Государыня зимой гостила по нескольку дней у него в Гостиницах и праздновала, по обыкновению, в его доме день Св. Алексея, человека Божия, причём в продолжение обеденного и вечернего столов была обычная пальба из пушек, итальянская музыка и иллюминация. Брат Алексея Разумовского был назначен малороссийским гетманом. Казалось, всё было по-прежнему, да в сущности и было так,

потому что положение новых фаворитов государыни было очень далеко от положения её "тайного супруга".

Придворные жадно следили за соперничеством между двумя новыми фаворитами – Шуваловым и Бекетовым. С любопытством ждал исхода этой борьбы и вновь избранный гетман малороссийский граф Кирилл Разумовский. Однако ему не довелось лично быть свидетелем окончания этого придворного эпизода.

Летом 1751 года, когда граф Кирилл был уже в Малороссии, Бекетов, любивший литературу и занимавшийся вместе со своим другом Елагиным писанием стихотворений, стал перелагать свои стихи на музыку. Песни, сочинённые им, певали у него молоденькие придворные певчие. Некоторых из них Бекетов полюбил за их прекрасные голоса и в простоте душевной иногда гулял с ними по петергофским садам. Шуваловы поспешили ухватиться за это и стали мотивировать поведение Бекетова самым отвратительным образом. Но этого оказалось недостаточным – злонамеренность сплетни была слишком явной.

Тогда, чтобы окончательно погубить молодого любимца государыни, граф Пётр Иванович Шувалов вкрался в доверие неопытного Бекетова, то и дело восхвалял его красоту, чрезвычайную белизну лица и для сохранения постоянной свежести дал ему притиранье. Доверчивый Бекетов поспешил воспользоваться им, и всё его лицо покрылось угрями и сыпью.

Графиня Мавра Егоровна Шувалова немедленно обратила на это внимание государыни и осторожно посоветовала удалить Бекетова, как человека зазорного поведения.

На этот раз удар был верен. Государыня вследствие этой последней проделки переехала в Царское Село, куда запрещено было следовать Бекетову.

Несчастный Никита Афанасьевич остался с Елагиным и заболел горячкою, от которой чуть не умер. В бреду он постоянно говорил об императрице, которая, видимо, занимала все его мысли. Однако, как только он оправился, его удалили от двора.

Шуваловы торжествовали.

Ранее этого, в феврале 1751 года, стали поговаривать на Украине о беспокойствах со стороны татар. Мешкать было более невозможно; новый гетман должен был отправиться туда и вступить в исполнение своих обязанностей.

13 марта 1751 года он торжественно присягал в Санкт-Петербурге во дворцовой церкви, подписался на поднесённом ему канцлером присяжном листе, а затем получил из рук императрицы все гетманские клейноды: богато украшенную дорогими камнями золотую булаву, большое белое с русским гербом знамя, бунчук, войсковую печать и серебряные литавры с богатыми, на бархате шитыми, занавесками и с золотыми висячими кутосами.

В апреле месяце гетманша первая тронулась из Петербурга в Москву, сам же гетман ожидал жалованной грамоты и был уволен в Малороссию только 22 мая 1751 года.

Он уехал со своим неразлучным спутником Тепловым со множеством экипажей, верховыми лошадьми, с поварами и музыкантами, с гайдуками и скороходами, сержантами Измайловского полка и даже труппою актёров.

В Москве Разумовский съехался с женою, и они вместе продолжали путь к Глухову. Здесь ему была оказана чрезвычайная торжественная встреча, в которой участвовали все местные чины, шляхетство, духовенство и масса войска.

Тотчас по приезде было сделано "повелительное объявление", чтобы старшины, полковники, шляхетство и прочие особы и люди всякого звания собрались в Глухов к 13 июля для торжественного и публичного объявления жалованной грамоты. В назначенный час состоялось перевезение гетманских клейнодов в церковь Св. Николая. Их сопровождали старшие войсковые чины, отряды казаков с музыкой и лакеи в богатых ливреях. Потом следовал в богатой карете цугом Григорий Николаевич Теплов, державший пред собою на роскошной подушке высочайшую грамоту. За ним в великолепной карете,

запряжённой шестью богато убранными лошадьми, ехал сам гетман, сопровождаемый большой свитой.

Грамота и клейноды были внесены в церковь и положены на стол, покрытый богатым персидским ковром. Посредине положили грамоту, по правую сторону булаву, а по левую – печать. По бокам стола стали генеральный бунчужный Оболонский с бунчуком и генеральный хорунжий Ханенко со знаменем в руках.

Началась торжественная обедня. По окончании её Тепловым была вслух “пред всем народом” прочитана жалованная грамота. Последовало благодарственное молебствие, при конце которого была произведена пушечная пальба из города и ружейная из всех полков. Вечером весь город горел огнями.

В Глухове ожидали Кирилла Григорьевича его старушка мать и сестра. Наталья Демьяновна впервые увидела свою невестку, которую знавала в девушках во время своего пребывания в Петербурге и в Москве. Граф Кирилл Григорьевич всеми силами старался удержать мать при себе, свято чтит все её деревенские обычаи и нарочно для неё заказывал привычные ей кушанья. Но и в глуховском дворце, как и прежде во дворце царицы, старушке было не по себе. Не сошлась она и с невесткою, с детства привыкшей к придворному обхождению и воспитанной в доме надменного Александра Львовича Нарышкина, выискавшего себе невесту между дочерьми владетельных немецких князей. В конце концов старушка вернулась в свою Алексеевщину, в мирный Козелец и соорудила там каменный двухъярусный собор с каменной колокольней, по образцу той, которая находится в Киево-Печерской лавре.

Глуховской двор был миниатюрной копией двора петербургского. Граф Кирилл Григорьевич зажил царьком. В своих универсалах он употреблял старинную формулу: “Мы, нашим, нам, того ради приказуем, дан в Глухове” и тому подобное. При нём находилась в роли телохранителей большая конная команда, под названием “команда у надворной корогвы”, или гетманского знамени. Во дворце был целый придворный штат:

капеллан Юзефович, придворный капельмейстер, новгородский сотник Рочинский, конюшенный Арапкин и прочие. В торжественные дни и семейные праздники происходили выход в николаевскую и придворную гетманскую церкви и молебствия с пушечною пальбою. Во дворце давали банкеты с инструментальной музыкой, балы и бывали даже французские комедии. Одним словом, придворная петербургская жизнь в сокращённом виде повторялась и в Глухове.

XVIII. БОРЬБА ПАРТИЙ

Веселы показались жителям Глухова 1751 и 1752 годы. У гетмана бал сменялся комедиею, комедия – банкетом, на семейных праздниках вино лилось рекою.

Как маленький властелин, гетман давал даже аудиенции старшинам после богослужения в придворной церкви, торжественно вручил пернач полковому судье миргородскому Остроградскому, которого произвёл в полковники, и на приёмах у себя поздравлял кого с повышением, кого с наградой.

Впрочем, иногда эти его замашки заходили слишком далеко, и из Петербурга спешили умерить его пыл. Однако там не особенно сильно гневались. Доказательством этому служила присланная 18 февраля 1752 года гетману Андреевская лента. 19 февраля в Глухове было торжество “ради привезённой кавалерии”. Торжество продолжалось до 25 числа и окончилось обедом в гетманском доме, балом и фейерверком.

В начале мая гетман, сопровождаемый Тепловым, генеральным писарем Безбородко, генеральным есаулом Якубовичем и десятью бунчуковыми товарищами, отправился осматривать малороссийские полки. Он сперва посетил Батурин, потом Стародуб и Чернигов, а оттуда проехал в степные полки и Киев.

Путешествие продолжалось более двух месяцев. Гетмана везде принимали с радостью, везде были устроены пышные приёмы. Вся

Малороссия ликовала, и только один случай, породивший толки в народе, смутил малороссов.

Гетман в Чернигове объезжал городские укрепления. За ним ехали многочисленная свита и все чины черниговского полка. Разумовский подъехал к главному бастиону у церкви Св. Екатерины. Вдруг вихрь сорвал с него Андреевскую ленту. Теплов, ехавший за ним, успел подхватить её и хотел снова надеть, но гетман взял у него ленту, свернул и положил в карман. Ропот в народе и толки дошли до старухи Натальи Демьяновны. Она уговаривала сына удалить Теплова, сказывая ему неизбежные несчастья, если он будет следовать советам своего любимца. Однако гетман не послушал матери.

Пред окончанием путешествия Разумовский ещё раз посетил Батурин, где была его жена. 22 октября у Разумовского родился сын, названный, в воспоминание недавно полученной "блакитной кавалерии", Андреем. Сын генерального подскарбия Скоропадского был отправлен курьером в Петербург этим известием. Главные чиновники являлись к гетманскому двору с поздравлениями, причём подносили гетманше "обычный презент".

Вскоре после торжественных крестин Наталья Демьяновна вернулась в Адамовку, а как только графиня Екатерина Ивановна оправилась от родов, она и её муж, по приглашению государыни, поехали в Москву, где в то время находился двор. Они прибыли в Москву почти в одно время с двором.

Последний 14 декабря тронулся из Петербурга; вместе с ним приехал, разумеется, и граф Алексей Григорьевич, всё ещё могущественный, хотя уже не всемогущий и единственный фаворит.

Великий канцлер Бестужев не сопутствовал двору, так как дела и здоровье задерживали его в Петербурге. Грозная туча стояла на политическом горизонте, а при дворе ряды его приятелей заметно пустели.

Много злобы накопело в душе великого канцлера со времени падения Бекетова. Между тем Кирилл Григорьевич, несмотря на беспредельную,

почти сыновнюю привязанность к брату, был в весьма хороших и даже близких отношениях не только с Иваном Ивановичем Шуваловым, но даже с вице-канцлером графом Михаилом Илларионовичем Воронцовым. С Шуваловым его сблизил общий друг, граф Иван Григорьевич Чернышёв.

Кирилл Григорьевич надеялся с помощью Ивана Шувалова и Чернышёва примирить Бестужева с Шуваловым. Но дело между ними зашло слишком далеко. В борьбе канцлера с Петром Шуваловым о примирении не могло быть более и речи. Тем не менее, гетман всеми силами старался привлечь канцлера в Москву, и наконец Бестужев был призван туда.

Алексей Петрович слепо верил в своё счастье и твёрдо рассчитывал на него, однако, отлично угадывая, что под него подкапываются вице-канцлер Воронцов, мечтавший занять его место, а также партия Шуваловых, с беспокойством стал замечать, что царедворцы, не скрываясь, избегают его. Поэтому по приезде в Москву он лихорадочно начал искать себе союзников.

Уже с некоторых пор его внимание остановила на себе молодая великая княгиня Екатерина Алексеевна, старавшаяся в первой борьбе с ним воздавать ему по мере сил око за око и зуб за зуб. Стойкость и хитрость, с которой Екатерина защищала интересы и права мужа в вопросе о герцогстве Голштинском, доказывали ему, что он имеет дело с женщиной далеко не обыкновенной.

Бестужев знал, что в семейной жизни великая княгиня была несчастлива. Что касается великого князя, то Алексей Петрович уже давно понял, чего могла ожидать от него Россия. Он ненавидел его, кроме того, как друга Фридриха Великого и сторонника Шувалова. Беременность Екатерины давала надежду, что скоро родится наследник престола, а здоровье государыни, по свидетельству лечивших её врачей, не давало надежды на долгое царствование. Канцлер первый разгадал и понял Екатерину и решился сблизиться с нею.

Великая княгиня через Сергея Васильевича Салтыкова узнала, что канцлер ищет её дружбы, и хотя немало накипело у неё злобы на сердце

против Бестужева, однако шутить таким предложением было нечего.

При великом князе по делам его герцогства служил голштинiec Бремзен, вполне преданный канцлеру, и вот именно ему Екатерина поручила объявить Бестужеву, что она готова войти с ним в дружеские отношения. Заключён был тайный союз.

Канцлер стал всячески возбуждать Елизавету Петровну против её племянника. Это было ему легко, так как государыне давно опостылел её племянник, а все его немецкие бестактные замашки были ей крайне противны. В записках к Алексею Разумовскому и Ивану Ивановичу Шувалову она в самых резких выражениях отзывалась о великом князе.

Но этого было недостаточно. Бестужев решил, в случае кончины государыни, возвести на престол её внука, а правительницей провозгласить Екатерину. С рождением правнука Петра Великого об Иоанне Антоновиче никто уже не мог думать. Теперь на место Петра Фёдоровича, которого легко можно было или отправить в Голштинию, или заключить в Холмогоры, представлялся наследником не иностранный принц, который с детства был заключён в крепости и с именем которого были соединены все ужасы бироновщины, а кровь и плоть Петровы.

Следовало ко всему этому подготовить государыню. Однако это дело было крайне затруднительно, так как Елизавета Петровна страшно боялась смерти, и всякий намёк на её кончину мог бы дорого стоить тому, кто отважился бы на него.

В своих планах Бестужев нашёл сообщников, и главным из них был граф Алексей Григорьевич Разумовский.

Явное презрение великого князя ко всему русскому, пренебрежение всеми обрядами православной церкви, страсть ко всему немецкому уже давно отдалили старшего Разумовского от него. Как ни избегал Разумовский всяких интриг, как ни держал себя вдали от государственных дел, но в этом случае он, видимо, охотно поддался увещаниям Бестужева.

Впрочем, всё дело было содержимо в великой тайне, так что даже Шувалов ничего не подозревал, а великий канцлер не спал и втихомолку

стал готовить план действий.

Между тем гетман среди беспрестанной придворной суеты не забывал Малороссии. Приехавшие с ним вместе малороссы были представлены государыне, и она приняла их отменно милостиво. Ещё в бытность гетмана в Глухове ему из Петербурга было повелено выслать две тысячи казаков для постройки крепости Св. Елизаветы, нынешнего Елизаветграда.

В Москве Кирилл Григорьевич сумел выхлопотать, чтобы вместо двух тысяч туда отправлены были только шестьсот одиннадцать человек. Из генеральной канцелярии он вытребовал в Москву все бумаги, относившиеся к финансовым вопросам. Они были нужны ему для докладов государыне, вследствие которых разные сборы на Украине, отяготительные для народа, были уничтожены. Таможня на границах Малороссии и Великороссии была закрыта и объявлена свобода торговли между севером и югом.

Эти перемены сильно порадовали малороссиян.

Весною 1754 года двор из Москвы переехал в Петербург, а за двором последовал и гетман с семейством и со свитой. Он снова поселился в своих хоромах на Мойке, тогда ещё деревянных, и снова стал принимать у себя всё петербургское общество.

Зима 1754/55 года была одной из самых блестящих во всём славившемся празднествами царствовании Елизаветы Петровны. По случаю рождения великого князя Павла Петровича при дворе были беспрестанные приёмы. Частные люди со своей стороны старались не отставать от двора и наперерыв друг пред другом устраивали у себя обеды, балы, маскарады с иллюминациями и фейерверками.

Между ними особенно отличались своей роскошью праздники Разумовских.

Алексей Григорьевич принимал двор то в Аничковском дворце государыни, то в цесаревнином доме, то на своей приморской даче, то в Мурзинке, то в Гостиницах. Государыня часто посещала его балы и вечера. Стол его славился по всему Петербургу, и своих поваров он

выписывал из Парижа.

Кирилл Григорьевич был тоже охотником полакомиться. Его праздники, балы и банкеты не уступали праздникам его старшего брата, но кроме того, утончённые блюда, приготовленные французскими поварами, и вкусные особливые рыбки не предлагались одним только избранным и знакомым приятелям. У Кирилла Григорьевича был всегда открытый стол, куда могли являться и званные, и незванные.

Дела между тем шли своим порядком. Указом от 17 января 1756 года, состоявшимся по прошению гетмана Разумовского, все малороссийские дела были переведены из коллегии иностранных дел в сенат. Таким образом, гетман стал зависеть от первой в государстве инстанции.

В то же время, пока в Петербурге весело праздновалось рождение великого князя Павла Петровича и заветные замыслы Бестужева и Екатерины через это рождение получили новую силу, события на Западе быстро шли вперёд. Европа, умиротворённая Ахенским конгрессом, снова грозила загореться всеобщей войною. Алексей Петрович Бестужев справедливо гордился Ахенским миром и вполне имел право смотреть на него, как на своё творение. Ахенский конгресс состоялся благодаря появлению на Рейне русского тридцатитысячного корпуса, содержимого Англией и Нидерландами. Россия, не теряя ни людей, ни денег, вдруг заняла в Европе первое место; её дружбы домогались первенствующие державы. Это ли не была победа русской политики!

Но на самом деле Ахенский конгресс не решил ни одного из вопросов, волновавших тогда Европу. Вражда между Пруссией и Австрией не ослабевала, и обе державы только выжидали случая померить свои силы на поле битв.

Бестужев с самого начала царствования Елизаветы Петровны держался союза с Австрией. С венским двором был заключён договор, по которому обе державы обязывались, в случае нападения на владения одной из них, выставить тридцатитысячный корпус на помощь союзнице. В то же время Бестужев искал союза с Англией, к которой он был привязан лучшими воспоминаниями юности. От Пруссии и Франции отделяли его

как интересы России, так и ложная вражда к Фридриху II и версальскому кабинету, долго и неустанно трудившимся над его падением. Тройственным союзом между Россией, Англией и Австрией канцлер думал удержать status quo в Европе и помешать новому пролитию крови.

Из Англии для заключения тесного союза был отправлен в Россию Гэнбюри-Вильямс, один из искуснейших политиков того времени. Но императрица не скоро решилась закончить какое-нибудь дело. Месяцы текли за месяцами в нерешимости и бездействии, и, в то время как подписание союза с Англией откладывалось со дня на день, в Европе произошла внезапная перемена, которой никто не ожидал и не предвидел и которая спутала соображения самых искусных дипломатов, в том числе и Бестужева.

Льстивые письма Марии-Терезии к всемогущей маркизе де Помпадур изменили всю политику версальского двора: освящённые веками предания Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV были забыты: Франция протянула руку своему историческому врагу – Австрии и, забыв недавнюю связь с Пруссией, открыто выступила против Фридриха Великого.

Австрия, Франция и большая часть Германии соединились в одно. На стороне Пруссии осталась одна только Англия.

При таком неожиданном перевороте Бестужев более чем когда-либо стремился к союзу с английским двором, так как этот союз мог парализовать прежний договор с Австрией и спасти Россию от пагубной войны.

Бестужев решился на всякий случай двинуть войска к границе и наготове выжидать удобного случая вмешаться в дела Европы, не теряя ни людей, ни денег. К несчастью Алексея Петровича и русских, павших на равнинах Пруссии, перемены в европейской политике произошли в то время, когда положение великого канцлера при дворе со дня на день становилось всё более критическим.

Несмотря на все свои огромные недостатки, на корыстолюбие, неразборчивость в средствах для достижения своих целей, крайнее

честолюбие, Бестужев всё-таки оставался на шестнадцатом году царствования Елизаветы Петровны тем, чем был при начале его, то есть единственным человеком, способным управлять кормилом государства среди волнений внешней политики. С большою опытностью в делах дипломатических он соединял редкие познания и, несомненно, желал величия России, хотя иногда любовь к родине и подчинял личным выгодам. Однако в описываемое нами время Бестужев должен был непрерывно бороться с сильными противниками, на каждом шагу наталкиваться на подкопы и интриги и видеть, как под меткими ударами врагов сокрушалось здание его политики, с таким трудом им возведённое.

С другой стороны, влияние Шуваловых дошло до высшей степени. Иван Иванович, новый любимец государыни, был всемогущ, но своё влияние он по мере сил употреблял на пользу отечества, забывая о себе и довольствуясь личным расположением государыни. Зато его двоюродные братья быстро достигли высших государственных должностей. Оба были Андреевскими кавалерами и графами. Из них граф Александр Иванович, по смерти графа Ушакова, был назначен начальником страшной Тайной канцелярии, а граф Пётр Иванович, настоящий глава всей шуваловской партии, в 1756 году получил пост генерал-фельдцейхмейстера и благодаря своей жене, графине Мавре Егоровне, некогда любимой камер-фрау, а теперь всемогущей наперснице государыни, успел завладеть доверием Елизаветы Петровны.

Беспрестанные недуги ослабили нервы императрицы. Ей постоянно приходила на ум первая ночь её царствования, и она опасалась, чтобы с нею не поступили точно так, как некогда поступила она с несчастной Анной Леопольдовной. Поэтому у неё был даже особый телохранитель, Василий Иванович Чулков.

Простой служитель у цесаревны, он по восшествии её на престол был сделан камергером и получил несколько вотчин. Своим возвышением он обязан не красоте, как другие, но тому, что у него был чуткий сон, какой только можно себе представить. Чтобы не быть захваченной врасплох,

императрица приказала Чулкову каждую ночь оставаться во дворце и дремать в кресле в комнате, смежной со спальней государыни.

Мало спал Чулков, не ложась в постель. Сон был для него гораздо меньшей потребностью, чем для других; а слегка дремать на стуле было для него достаточным отдыхом, так что он не ложился спать и днём.

Этим настроением Елизаветы Петровны ловко воспользовался Пётр Иванович Шувалов. Он старался ещё более усилить боязнь государыни, уверяя её, что она окружена тайными недоброжелателями, готовыми на всякое преступление, и наконец ему вполне удалось убедить императрицу в том, что один он в состоянии оградить её от действия скрытых врагов. В этом состояла его главная сила при дворе.

Без всякой подготовки к государственным делам, лишённый образования и познаний, крайне самонадеянный, Шувалов на самом деле способен был только к одним мелким придворным интригам. Однако, слишком тщеславный и самолюбивый, он стремился к достижению исключительного влияния на дела и хотел стать во главе управления. Не имея опытности в вопросах дипломатических, незнакомый с тайными пружинами европейских кабинетов, никогда не бывавший на войне и совершенно не знавший службы, он, однако, ни пред чем не останавливался – брался за составление нового уложения, и за финансовые вопросы, и за управление политикою русского двора, и за изобретение гаубиц, и за учреждение военного строя.

Достигнув почти исключительного влияния, он сделался самым гордым временщиком двора Елизаветы Петровны. Не менее Бестужева падкий до денег, он набивал свои карманы трудовую копейкой народа, тогда как канцлер исключительно пользовался деньгами, получаемыми от иностранных держав. Разумеется, все действия Шувалова носили отпечаток мелочности его способностей. Всё делалось наскоро, кое-как, без системы и логики.

Как при Петре были у нас в моде голландцы, при Екатерине I и Анне Иоанновне – немцы, так теперь, при Елизавете Петровне, со времён Шетарди, пошли в ход французы. Пышные праздники, блестящая свита и

звонкие фразы французского посла произвели глубокое впечатление на поверхностных людей, а между ними и на Петра Шувалова. Всё французское стало в моде при дворе и в высшем свете, французский язык быстро вошёл в общее употребление.

Благодаря этому настроению высшего общества, граф Пётр Иванович стал открытым сторонником Франции. Тайный союз с версальским двором сделался его любимой мечтой. Не разбирая, выгоден ли этот союз для России и какие будут от него последствия, он стал всячески, без ведома Бестужева, стремиться к осуществлению своей цели. Благодаря его проискам, тайным агентом в Париж был отправлен Бехтеев, довольно ничтожный человек, а со стороны Франции явились в Петербург известный шевалье, или, вернее, "шевальерша" д'Эон и шевалье Мекензи-Дуглас. Последний – ловкий и хитрый – вскоре стал домашним человеком у Шуваловых и Воронцовых и успел снова завязать дипломатические сношения между Россией и Францией и подготовить путь к приезду посла – маркиза Лопиталья.

Алексей Петрович долгое время не верил успеху своих противников, слепо полагаясь на своё счастье, и слишком поздно стал думать о приобретении союзников. Он надеялся, что влияние старшего Разумовского, благодаря брачному союзу, соединившему последнего с императрицей, не оскудеет во всё её царствование. Но Алексей Григорьевич отказался теперь от всякого, даже косвенного, вмешательства в дела управления. Австрийский посол стал требовать не только исполнения договора, но ещё и того, чтобы Россия всеми своими силами помогала Марии-Терезии. Однако, скоро поняв, что от Бестужева ожидать ему нечего, он перешёл на сторону Шувалова и Воронцова, и из приятеля сделался злейшим врагом канцлера.

На стороне Бестужева осталась одна великая княгиня Екатерина, он на неё рассчитывал для будущего, а в настоящем своём положении она могла принести ему мало пользы. Екатерина принуждена была скрывать своё сочувствие к канцлеру, которое могло, в случае если бы слухи о нём дошли до императрицы, сильно повредить и ей, и Бестужеву.

Против Шуваловых она могла действовать только орудием светской женщины. Она на каждом шагу выказывала им величайшее презрение, отыскивая их смешные стороны, и преследовала их своими насмешками и сарказмами, которые повторялись по всему городу.

Кроме того, Екатерина более чем когда-нибудь ласкала Разумовских и этим досаждала Шуваловым, так как последние были в описываемое нами время открытыми врагами графов Алексея и Кирилла Григорьевичей.

Императрица всё продолжала хворать. Царедворцы ясно видели, что едва ли можно надеяться на её выздоровление. Таким образом прошли 1755 и 1756 годы. Со всех сторон готовились к войне. Бестужев не переставал надеяться, что, по крайней мере для России, до открытой войны дело не дойдёт, и выдвинул к границе войска под начальством фельдмаршала Степана Фёдоровича Апраксина, своего лучшего друга, находившегося тоже в самых дружеских отношениях с Алексеем Разумовским. Ему Бестужев предписал всячески избегать столкновения с пруссаками и как можно медленнее подвигаться к границе, а сам стал бороться с врагами внутренними, трудиться над своим планом удаления великого князя от престолонаследия и хлопотать о заключении тайного союза с Англией.

С большим трудом успел он уговорить государыню подписать союз с Англией. Сэр Вильямс торжествовал, но это торжество продолжалось только сутки. На другой день он от самого Бестужева узнал, что Россия присоединилась к конвенции, заключённой в Версале между Австрией и Францией. Союз с Англией делался, таким образом, одною пустою формальностью. Бестужев уже не в силах был бороться с ежедневно усиливавшейся партией Шуваловых.

Часть вторая

I. В ЗИНОВЬЕВЕ

В то время когда в Петербурге и Москве при дворе Елизаветы Петровны кишели интриги, императрица предавалась удовольствиям светской жизни, не имевшей никакого соприкасательства с делами государственными, Россия всё же дышала свободно, сбросив с себя более чем десятилетнее немецкое иго. Во всей России немцы лишились своих мест и в канцеляриях, и в войсках. Народ был так озлоблен против немцев, что готов был разорвать их на части. Духовенство называло их "исчадием ада" и сравнивало время их господства с печальной памяти татарским владычеством.

Были, конечно, места в России, где петербургские и московские придворные передраги не только не производили никакого впечатления, но даже и не были известны. К таким уголкам принадлежало тамбовское наместничество вообще, а в частности – знакомое нам Зиновьево, где продолжала жить со своей дочерью Людмилой княгиня Васса Семёновна Полторацкая. Время летело с томительным однообразием, когда один день совершенно похож на другой и когда никакое происшествие, выходящее из ряда вон, не случается и не может случиться по складу раз заведённой жизни.

Скука этой жизни, кажущаяся невыносимой со стороны, не ощущается теми, кто втянулся в неё. Иной жизни они не знают и не имеют о ней понятия. Жизнь для них заключается в занятиях, приёме пищи и необходимом отдыхе. Если им сказать, что они не живут, а прозябают, они с удивлением взглянут на такого человека.

К таким лицам принадлежала и Васса Семёновна. Она выросла в деревне, в соседнем имении, принадлежавшем её родителям и теперь составлявшем собственность её брата, Сергея Семёновича. Она вышла замуж в деревне за князя Полторацкого и поселилась в Зиновьеве, имении сравнительно большем, чем имение, где жили её родители, и отданном ей в приданое. У князя Полторацкого были имения в других местностях России, но он, в силу ли желания угодить молодой жене или

по другим соображениям, поселился в жённом приданом имении.

Князь Василий Васильевич был слаб здоровьем, а излишества в жизни, которые он позволял себе до женитьбы и после неё, быстро подломили его хрупкий организм, и он умер, оставив после себя молодую вдову и младенца-дочь. Васса Семёновна, любившая всего один раз в жизни человека, который на её глазах променял её на другую и с этой другой был несчастлив (это был Иван Осипович Лысенко), совершенно отказалась от мысли выйти замуж вторично и всецело посвятила себя своей маленькой дочери и управлению как Зиновьевом, так и другими оставшимися после мужа имениями. Последние приносили значительный доход, так что княгиня могла жить широко и в довольстве, да ещё и откладывать на чёрный день.

Совершенно не зная жизни, выходящей из рамок сельского житья-бытья, если не считать редких поездок в Тамбов, княгиня Васса Семёновна, естественно, и для своей дочери не желала другой судьбы, какая выпала ей на долю, за исключением разве более здорового и более нравственного мужа, чем покойный князь Полторацкий.

Хозяйственные и домашние заботы поглощали всю жизнь княгини, она свыклась с этой жизнью и совершенно искренне находила, что лучше и не надо. Ширь и довольство жизни заключались в постоянно полном столе, в многочисленной дворне, изяществе убранства комнат и во всегда радушном приёме соседей, которых было, впрочем, немного и которые лишь изредка наведывались в Зиновьево, особенно зимою.

Летом жизнь несколько оживлялась. Приезжал гостить сын Ивана Осиповича Лысенко – Ося, наведывался и сам Иван Осипович. Наконец, неукоснительно каждое лето наезжал в побывку брат Вассы Семёновны – Сергей Семёнович.

Так было в первые годы вдовства княгини, но затем всё это круто изменилось. Со времени исчезновения Осипа Лысенко его отец прекратил свои посещения Зиновьева, навевавшего на него тяжёлые воспоминания. Сергей Семёнович, со своей стороны, получив ответственную должность в петербургском административном мире, не мог ежегодно позволять

себе продолжительные отлучки.

Прошло шесть лет со дня происшествия в Зиновьеве, когда Иван Осипович Лысенко уехал из княжеского дома, оставив княгиню и её брата под впечатлением страшных слов: "У меня нет сына!"

Для Сергея Семёновича Зиновьева эти слова не могли иметь то впечатление, какое имели для княгини Вассы. Старый холостяк не мог, естественно, понять то страшное нравственное потрясение, последствием которого может явиться отказ родного отца от единственного сына. Зато Васса Семёновна, сама мать, сердцем поняла, что делалось в сердце родителя, лишившегося единственного любимого им сына. Она написала Лысенко сочувственное письмо, но по короткому, холодному ответу поняла, что его несчастье не из тех, которые поддаются утешению, и что, быть может, даже время бессильно против обрушившегося на его голову горя.

Княгиня не ошиблась. Иван Осипович, вернувшись к месту своей службы, весь отдался своим обязанностям, совершенно удалился от общества и даже со своими товарищами по полку сохранил только деловые отношения. Вскоре узнали причину этого и преклонились пред обрушившимся на Лысенко новым жизненным ударом.

Княгиня Васса Семёновна всё же изредка переписывалась с Иваном Осиповичем, не касаясь не только словами, но даже намёком рокового происшествия в Зиновьеве.

В последнем жизнь, повторяем, текла своим обычным чередом. Старое старилось, молодое росло. Княжна Людмила Полторацкая и её подруга служанка Таня обратились во вполне развившихся молодых девушек, каждой из которых уже шёл семнадцатый год. С годами их сходство сделалось ещё более поразительным, а отношения, естественно, изменились: разница общественного положения выделилась рельефнее и, видимо, это открытие производило на Таню гнетущее впечатление. Она стала задумчива, и порой бросаемые ею на свою молодую госпожу взгляды были далеко не из дружелюбных.

Княжна Людмила – добрая, хорошая, скромная девушка – и не

подозревала, какая буря подчас клокочет в душе её “милой Тани”, как она называла свою подругу, по-прежнему любя её всей душой, но вместе с тем находя совершенно естественным, что та не пользуется тем комфортом, которым окружала её, княжну Людмилу, её мать, и не выходит, как прежде, в гостиную, не обедает за одним столом, как бывало тогда, когда они были маленькими девочками.

“Она ведь дворовая” – это было достаточным аргументом, для тогдашнего крепостного времени, даже в сердце и уме молоденькой девушки, не могшей понять, под влиянием среды, что у “дворовой” бьётся такое же, как и у неё, княжны, сердце.

Без гостей, у себя, в своей уютненькой комнате с окнами, выходящими в густой сад, княжна Людмила по целым часам проводила со своей “милой Таней”, рисовала перед нею свои девичьи мечты, раскрывала своё сердце и душу.

Хотя, как мы уже говорили, гости в Зиновьеве были редки, но всё же в эти редкие дни, когда приезжали соседи, Таня служила им наравне с другой прислугой. После этих дней Татьяна обыкновенно по неделям ходила насупившись, жалуясь на головную боль. Княжна тревожилась болезнью любимицы и прилагала старания, чтобы как-нибудь помочь ей лекарством или развеселить её подарочками, в виде ленточек или косыночек. Однако на самолюбивую Таню эти “подачки”, как она внутренне называла подарки княжны, производили впечатление, обратное тому, на которое рассчитывала княжна Людмила: они ещё более раздражали и озлобляли Татьяну Никитишну (так звали по отцу Таню Берестову).

Раздражали и озлобляли её также признания и мечты княжны о будущем. “И всё-то ей доступно! Ведь если мать умрёт, всё её будет. К тому же она – княжна, богатая, красавица, – со злобой думала о своей подруге Татьяна и тут же не раз говорила себе: “Да, она красавица, такая же, как и я, ни дать ни взять, как две капли воды. И с чего это я уродилась на неё так похожей?”

Однако пока что этот вопрос для наивной Тани оставался тёмным. Она не

могла ничего узнать даже среди дворни, так как последняя, опасаясь близости Тани к княжне и княгине, боялась хоть как-нибудь проболтаться об этом.

Татьяна между тем продолжала думать со злобным чувством: "Да, я тоже красавица, однако мне мечтать так, как княжне, не приходится; ведь высмеют люди, коли словом и чем-нибудь о будущем хорошем заикнусь; ведь я холопка была, холопкой и останусь".

Эти мысли посещали её обыкновенно среди проводимых ею без сна ночей, когда она ворочалась на жёстком тюфяке в маленькой, убогой комнатке, отгороженной от девичьей перегородкой, не доходившей до потолка.

Татьяна со злобным презрением оглядывала окружающую обстановку, невольно сравнивая её с обстановкою комнаты молодой княжны, и в её сердце без удержу клокотала непримиримая злоба.

"Даром что грамоте обучали, по-французски лепетать выучили и наукам, а что в них мне, холопке? Только сердце моё растравили, со своего места сдвинули. Бывало, помню, маленькая, ещё когда у нас этот черноглазый Ося гащивал, держали меня, как барышню, вместе с княжной всюду, в гостиной при гостях резвились, а теперь: знай, вишь, холопка, своё место, на тебе каморку в девичьей, да и за то благодарна будь, руки целуй княжеские!.."

– "Таня да Таня, милая Таня, – передразнивала она вслух княжну Людмилу, – на тебе ленточку, на тебе косыночку, ленточка-то запачкалась, да ты вычистишь". Благодетельствуют, думают, заставят этим своё сердце молчать... Ох уж вы мне, благодетели, вот вы где! – указывала она рукою на шею, вскочив и садясь на жёсткую постель. – Кровопийцы...

Так, раздражая себя по ночам, Татьяна Берестова дошла до страшной ненависти к княгине Вассе Семёновне и даже к когда-то горячо ею любимой княжне Людмиле. Эта ненависть росла день изо дня ещё более потому, что не смела проявляться наружу, а должна была тщательно скрываться под маской почтительной и даже горячей любви по адресу

обеих ненавидимых Татьяной Берестовой женщин. Нужно было одну каплю, чтобы чаша переполнилась и полилась через край. И эта капля явилась.

II. В ЛУГОВОМ

Верстах в трёх от Зиновьева находилось великолепное имение, принадлежавшее князьям Луговым. Последние жили всегда в Петербурге, вращаясь в высшем свете и играя при дворе не последнюю роль, и не посещали своей тамбовской вотчины. Поэтому на имение уже легла печать запустения. Однако и одичалость векового парка, и поросшие травой дорожки, и почерневшие статуи над достаточно запущенными газонами и клумбами придавали усадьбе князей Луговых ещё большую прелесть.

Обитатели Зиновьева часто ради прогулки отправлялись в Луговое, и для княжны Людмилы и Тани Берестовой не было лучшего удовольствия, как гулять в княжеском парке.

Огромный дом с террасами, башнями и круглым стеклянным фонарём посередине величественно стоял на пригорке и своею штукатуркою выделялся среди зелени деревьев. Запертые и замазанные мелом двойные рамы окон придавали ему ещё большую таинственность. Но в некоторых местах на стёклах меловая краска слезла, и можно было видеть внутреннее убранство княжеских комнат.

Княжна Людмила и Таня любили прикладываться глазами к этим прогалинам оконных стёкол и любоваться меблировкой апартаментов, хотя лучшие вещи были под чехлами, но, быть может, именно потому казались детскому воображению ещё красивее. Одним словом, дом в Луговом приобрёл в глазах девочек почти сказочную таинственность.

Однажды, когда княжеский управитель предложил её сиятельству Людмиле Васильевне – так он величая маленькую княжну – и Тане показать внутренность дома, то обе девочки, сопровождаемые

гувернанткой, с трепетом переступили порог входной двери и полной грудью вдохнули в себя тяжёлый воздух княжеских апартаментов. После этого несколько недель шли рассказы об этом посещении и воспоминания разных мельчайших подробностей убранства и расположения комнат. Но сказочная таинственность дома как-то вдруг умалилась, и уже при входе в княжеский парк обе девочки перестали ощущать биение своих сердец в ожидании заглянуть в окна дома. Они знали в подробности, что находится за этими таинственными белыми окнами, и дом перестал быть для них загадкой, потерял половину интереса.

Впрочем, в княжеском парке было одно строение, которое носило на себе печать глубокой таинственности. Это было восьмиугольное здание с остроконечную крышей, со шпилем, на котором находилось проткнутое стрелой сердце, с семью узенькими окнами и железной дверью, запертой огромными болтом и железным замком. Окна были все из разноцветных стёкол и ограждены железными решётками.

Ослабевший интерес обеих девочек к княжескому дому весь сосредоточился на этом загадочном здании. Рассеять или даже уменьшить этот интерес уже не мог управитель. По его словам, ключа от замка таинственного здания у него не было, да он полагал, что этого ключа и никогда не было ни у кого, кроме лица, затворившего дверь и замкнувшего тот огромный замок. А заперто здание было, как говорило предание, много десятков лет тому назад.

Оно стояло в самой глубине княжеского парка. Место вокруг него совершенно одичало, так как, по приказанию владельцев, переходившему из рода в род, его и не расчищали.

То же предание утверждало, что в этой беседке была навеки заперта молодая жена одного из предков князей Луговых; это сделал её оскорблённый муж, заставший её на свидании именно в этом уединённом месте парка. Похититель княжеской чести подвергся той же участи. Рассказывали, что князь, захвативши любовников на месте преступления, заковал их в кандалы и бросил в подвал, находившийся под домом, объявив им, что они умрут голодною смертью на самом месте их

преступного свидания. На другой же день начали постройку павильона-тюрьмы под наблюдением самого князя, ничуть даже не спешившего с её окончанием. Между тем несчастные любовники, в ожидании исполнения над ними сурового приговора, томились в сыром подвале на хлебе и на воде, которые подавали им через узкое отверстие.

Постройка продолжалась около года. Когда тюрьма была окончена, снова состоялся единоличный княжеский суд над заключёнными, которые предстали пред лицом разгневанного супруга неузнаваемыми: оба были совершенными скелетами, а их головы представляли собою колтуны из седых волос. Затем их отвели в беседку-тюрьму и князь, собственноручно заложив болт, запер замок, а ключ взял с собою. Куда девался этот ключ, неизвестно. После смерти обманутого мужа, женившегося вскоре на другой, этого ключа не нашли, а на смертном одре умирающий выразил свою последнюю волю – из рода в род оставлять навсегда запертым павильон и не расчищать того места парка, где он стоит. Потомки до сих пор свято исполняли эту волю.

Прогулки из Зиновьева в парк князей Луговых продолжались из года в год. В них принимал участие и Ося Лысенко, и на его пламенное воображение сильно действовал таинственный павильон. После его исчезновения, оставшегося непонятным для маленьких подруг, последние продолжали посещать Луговое и с сердечным трепетом подходить к таинственному павильону. Они знали сложившуюся о нём легенду, но смысл её был тёмен для них. "За что наказал муж жену так жестоко?" – этот вопрос, на который они, конечно не получали ответа от взрослых, не раз возникал в их маленьких головках. С годами девочки стали обдумывать этот вопрос и решили, что жена согрешила против мужа, нарушила клятву, данную пред алтарём, виделась без позволения с чужим мужчиною.

Это разрешение вопроса успокоило княжну Людмилу. Таня согласилась с нею, но внутренне решила, что молодая женщина, вероятно, погибла безвинно от княжеской лютости. Она воображала себе почему-то всех князей и княгинь лютыми.

В описываемое нами время в окрестности разнёсся слух, что в Луговое ожидают молодого хозяина, князя Сергея Сергеевича Лугового, единственного носителя имени и обладателя богатств своих предков. Стоустая молва говорила о князе, как будто его уже все видели и с ним говорили. Описывали его наружность, манеры, характер, привычки и тому подобное. Из всего этого на веру можно было взять лишь то, что князь очень молод, служит в Петербурге, в одном из гвардейских полков, любим государыней и недавно потерял старуху мать, тело которой и сопровождает в имение, где около церкви находится фамильный склеп князей Луговых. Его отец, князь Сергей Михайлович, уже давно покоем в этом склепе.

Как подтверждение этих слухов, княжна Людмила, совершив прогулку в Луговое, принесла известие, что там деятельно готовятся к встрече молодого владельца и праха старой княгини.

Княгиня Васса Семёновна, уже давно прислушивавшаяся к ходившему говору о приезде молодого князя Лугового, обратила на известие, принесённое дочерью, особенное внимание. Она начала строить планы относительно ожидаемого князя.

Конечно, князь после погребения матери сделает визиты соседям и, несомненно, не обойдёт и её, княгини Полторацкой, муж которой был не менее древнего рода, нежели князья Луговые. Не будет ничего мудрёного, что её Люда, как звала она дочь, произведёт впечатление на молодого человека, которое кончится помолвкой, а затем и свадьбой.

Когда Людмиле пошёл шестнадцатый год, княгиня начала серьёзно задумываться о её судьбе. Кругом, среди соседей, не было подходящих женихов. В Тамбове выбирать и подавно было не из кого. Девушка между тем не нынче-завтра – невеста. Что делать? Этот вопрос становился перед княгиней Вассой Семёновной очень часто, и, несмотря на его всестороннее обдумывание, оставался неразрешённым. “Ехать в Петербург или Москву!” – мелькало в уме заботливой матери, но она с ужасом думала об этом. О придворной и светской жизни на берегах Невы ходили ужасающие для скромных провинциалов слухи. Они не были

лишены известного основания, хотя всё, что начиналось в Петербурге, комом снега докатывалось до Тамбова в виде громадной снежной горы. В Москве не отставали в отношении привольной и, главное, разнузданной жизни от молодой столицы.

“И в этот омут пуститься со своим ребёнком? – с ужасом думала княгиня Васса Семёновна. – Никогда!”

Между тем при таком решении княгини Людмила рисковала остаться старой девой, и вопрос: “Что же делать?” – беспокоил княгиню.

И вдруг известие о приезде молодого князя Лугового открыло для материнской мечты новые горизонты. Что, если повторится с её дочерью её личная судьба? Быть может, и Людмиле суждено отыскать жениха по соседству; быть может, этот жених именно теперь уже находится в дороге. Так мечтала княгиня Васса Семёновна Полторацкая.

Это дело слишком переполнило её сердце, чтобы она не поделилась им с дочерью. Она сделала это в очень туманной форме, но для чуткого сердца девушки было достаточно намёка, чтобы оно забило тревогу. Несмотря на её наивность и неведение жизни, в стройном, сильном теле Людмилы скрывались все задатки страстной женщины. Ожидаемый князь уже представлялся ей её “суженым”. Её сердце стало биться сильнее обыкновенного, и она чаще стала предпринимать прогулки по направлению к Луговому.

Не скрыла она туманных намёков матери от своей “милой Тани”. Сердце последней тоже забило тревогу. Княжна, строившая планы своего будущего, один другого привлекательнее, рисовавшая своим пылким воображением своего будущего жениха самыми радужными красками, окончательно воспламенила воображение и своей служанки-подруги. Та, со своей стороны, тоже заочно влюбилась в воображаемого красавца князя, и к немым её злобствованиям против княжны Людмилы прибавилось и ревнивое чувство.

– Меня-то, наверно, за какого ни на есть дворового выдадут... Михайловыездной стал что-то уж очень маслено поглядывать на меня... А ведь он – княгинин любимец; поклонится ведьме – как раз велит она под венец

идти, а дочке князя-красавца, богача приспособливает... У, кровопийцы! – злобно шептала Таня во время бессонных ночей.

В Луговом действительно шли деятельные приготовления к погребению останков покойной княгини и прибытию молодого владельца, князя Сергея Сергеевича. Мыли окна, полы, двери, всё чистили, и вскоре под руками многочисленных работников и работниц дом стал неузнаваем. Он окончательно потерял свой таинственный вид и яркое июньское солнце весело играло в стёклах его окон и на заново выкрашенной зелёною краскою крыше. Побелённая штукатурка дома делала впечатление выстроенного вновь здания, и, кстати сказать, эта печать свежести далеко не шла окружающему вековому парку и в особенности видневшемуся в глубине его шпицу павильона с роковым, пронзённым стрелою сердцем.

Именно такое впечатление вынесли княжна Людмила и Таня, когда увидели княжеский дом реставрированным, и из их груди вырвался невольный вздох. Они пожалели старый дом с замазанными мелом стёклами.

Впрочем, отделанный заново дом, как вернейший признак скорого прибытия "его", вскоре рассеял их грусть, заняв их ум другими мыслями. Княжна Людмила предалась мечтам о будущем, мечтам, полным розовых оттенков, подобных лучезарной летней заре. Пред духовным взором Тани проносились тёмные тучи предстоявшего, оскорбляя её до болезненности чуткое самолюбие. Полный мир и какое-то неопределённое чувство сладкой истомы царили в душе княжны Людмилы, завистливой злобой и жаждой отмщения было переполнено сердце Тани.

– Мама, мама, там, в Луговом, уже всё готово, – быстро вошла в кабинет матери княжна Людмила.

– А... вы там были?

– Там, мама, там; только что оттуда! – И княжна Людмила пустилась подробно объяснять матери, какой красивый и нарядный вид имеет теперь старый княжеский дом.

Княгиня рассеянно слушала дочь и более любовалась её разгоревшимся

лицом и глазками, нежели содержанием её сообщения, из которого главное для неё было то, что "он" скоро приедет.

"Не может быть, чтобы такая красавица, такая молоденькая княжна с богатым приданым не поразила приезжего петербуржца, – думалось княгине. – Разве там, в Петербурге или Москве, есть такие, как моя Люда? Голову прозакладываю, что нет. Бледные, худые, измождённые, с зеленоватым отливом лица, золотушные, еле волочащие отбитые на балах ноги – вот их петербургские и московские красавицы; куда же им до моей Люды?"

– Значит, скоро приедет? – спросила княгиня дочь, когда та окончила своё повествование.

– На днях, не нынче-завтра.

– Что же, это хорошо... Никто, как Бог... – вздохнула княгиня.

– А если он к нам не приедет?

– Как можно, Людочка? Ведь он – светский, вежливый молодой человек, должен приехать. Конечно, не сейчас, после погребения матери, а выждет время; сперва делами займётся по имению, а там и визиты сделает, и нас тогда не обойдёт. Мы ведь даже – родственники, только очень дальние; такое родство и не считается, – с улыбкой сказал княгиня, заметив, что дочь как-то взволновалась. – Ах, Господи, кабы всё так устроилось, как я думаю!

Княжна Людмила ничего не ответила. Она сидела в кресле, стоявшем сбоку письменного стола, у которого помещалась её мать, и, быть может, даже не слыхала последних слов матери, так как мысленно была далеко от той комнаты, в которой сидела. Её думы витали по дороге к Луговому, где, быть может, уже ехал в свой родной дом молодой князь.

Прошло несколько дней, и до Зиновьева действительно дошла весть, что князь Луговой прибыл в своё имение.

Прогулки в Луговое были прекращены. Зиновьевский дом находился в состоянии ожидания.

Это состояние испытывали не только княгиня Васса Семёновна, Людмила и Татьяна, но и весь княжеский дом, то есть многочисленная дворня.

Что бы ни говорили, но в крепостном праве были и светлые стороны. К последним относились главным образом та подчас общая жизнь, которою жили крестьяне со своими помещиками, и отношение к этим помещикам их дворовых людей. Конечно, мы говорим о помещиках добрых и справедливых, хорошо понимавших ту истину, что их хорошее или дурное положение всецело зависит от положения подвластных им лиц в том же смысле. У хороших господ крестьяне и дворня жили со своими господами общею жизнью и не иначе говорили, как "мы с барином". Семейное начало, положенное в основу отношения крепостных людей к помещикам, и было той светлой стороной этого института, которое не могли затемнить единичные и печальные, даже подчас отвратительные, возмущающие душу, явления помещичьего произвола, доходившего до зверской жестокости.

Такого рода добрые, чисто родственные отношения соединяли дворню княгини Полторацкой с барыней и барышней. Дворовые жили действительно одною жизнью с "их сиятельствами", радовались их радостями, печалились их печалями и разделяли их надежды. Несмотря на то, что княгиня только туманным намёком открыла дочери свои надежды на князя Лугового, вся дворня основывала на нём такие же надежды и искренне желала счастья найти в нём суженого молодой княжне. Поэтому понятно, что мысли семьи княгини Полторацкой и её крепостных были направлены на Луговое.

В последнем между тем шли спешные приготовления к погребению старой княгини. Гроб был поставлен в церкви, где должен был простоять три дня, в продолжение которых крестьяне и дворовые могли попрощаться с прахом своей покойной помещицы.

Молодой князь Сергей Сергеевич на управителя и дворовых людей, которым всем он оказал барскую ласку, произвёл прекрасное впечатление.

– Князь-то наш даром что молод, а деловит, степенен. Весь в покойного своего батюшку: а ведь тот настоящий был князь.

– Да и лицом, и станом весь в покойного, две капли воды.

– И красавец же писаный... – добавляли женщины.

Согласно распоряжениям князя Сергея, нарочные, снабжённые собственноручно написанными им письмами, были разосланы по соседям. В этих письмах князь с прискорбием уведомлял соседей о смерти своей матери и просил почтить присутствием заупокойную литургию в церкви села Лугового, после которой должно было последовать погребение тела покойной в фамильном склепе князей Луговых.

Одной из первых получила это приглашение княгиня Полторацкая. На адресованном ей конверте была приписка: "С дочерью". Эта приписка появилась на конверте вследствие доклада управителя о том, что у княгини Полторацкой, ближайшей соседки Лугового, есть красавица дочь.

Эти два слова укрепили в княгине питаемые её сердцем надежды: значит, князь знает, что у неё есть дочь, значит, ему доложено об этом, и, конечно, доложено с похвалой.

С этими мыслями княгиня читала полученное приглашение и села с дочерью в карету, запряжённую шестёркой лошадей цугом.

В церкви села Лугового к назначенному часу уже собрались все приглашённые. Никто из соседей не пренебрёг приглашением молодого владельца села Лугового отдать последний долг его покойной матери. Было несколько семейств, приехавших, быть может, с теми же самыми надеждами, какие питала княгиня Васса Семёновна; это было заметно по тому, с каким беспокойством и тщательностью осматривали матери костюм своих взрослых дочерей. Это поняла княгиня Полторацкая, но тщательный осмотр других претенденток на княжеский титул и богатство Лугового успокоил её.

Действительно, ни одна из девушек не могла выдержать ни малейшего сравнения с её дочерью, даже не с точки зрения матери. Это были заурядные молодые лица, с наивным и в большинстве даже испуганным выражением, нежные блондинки, бесцветные шатенки, каких немало встречается в провинциальных гостиных, да и там они остаются незамеченными. Мог ли обратить на них внимание избалованный князь-

петербуржец?

Этот вопрос княгиня Васса Семёновна разрешила отрицательно, с любовью и материнскою гордостью смотря на свою красавицу дочь, дивный цвет лица которой особенно оттенялся чёрным платьем. Княжна Людмила действительно была очень эффектна.

Церковь была переполнена. Молодой князь прибыл в неё за час до назначенного времени и всё время молился у гроба своей матери. Затем он стал в дверях церкви принимать приглашённых.

Князь был высокий, статный молодой человек с выразительным лицом, с изысканно изящными манерами, которые приобретаются исключительно в придворной сфере, где люди каждую минуту думают о сохранении элегантной внешности. На его лице лежала печать грусти, вполне гармонизировавшей с обстановкой, местом и причиной приёма.

Все заметили, что князь с особой почтительностью поцеловал руку княгини Полторацкой.

После погребения тела матери в фамильном склепе князь пригласил всех прибывших в свой дом помянуть покойную княгиню.

В огромной столовой княжеского дома был великолепно сервирован стол для приглашённых. Не забыты были и дворовые люди, и даже крестьяне. Для первых были накрыты столы в людской, а для последних поставлены на огромном дворе княжеского дома, под открытым небом.

Князь Сергей Сергеевич и в доме принимал гостей с тою же печальною сдержанностью, как и в церкви, но это не помешало ему быть с ними предупредительно-любезным и очаровать всех своим гостеприимством.

Княгиня Васса Семёновна и княжна Людмила заняли почётные места у стола, и князь весь обед проговорил с княгиней о хозяйственных делах, о своих намерениях изменения некоторых порядков в имении, и почтительно выслушивал её ответы и советы. О своей покойной матери он сказал лишь несколько слов по поводу её продолжительной и тяжкой болезни, не поддававшейся лечению лейб-медиков, присылаемых императрицей. Между прочим, он счёлся родством.

– Ну, что касается родства, то оно у нас очень отдалённо, – заметила

княгиня.

– Да, если я не ошибаюсь, сто лет тому назад одна из княгинь Полторацких была замужем за князем Луговым.

– Может быть, может быть, – ответила княгиня.

При этом известии княжна Людмила наострила уши.

“Что, если через сто лет это повторится?” – мелькнуло в её уме, и она густо покраснела.

Это было кстати, так как молодой князь в этот самый момент обратился к ней с вопросом:

– Я слышал, что вы часто гуляли в здешнем парке? Мне очень приятно, что он вам нравится.

– У нас в Зиновьеве тоже есть хорошие места, но они не могут сравниться с вашим парком, – ответила за дочь княгиня, – моя девочка летом чуть ли не каждый день ходила сюда.

– Тем дороже для меня будет этот парк, – любезно произнёс князь Сергей и метнул на княжну Людмилу выразительный взгляд, а затем, когда окончился поминальный обед и приглашённые перешли в гостиную и разбились на группы, почти не отходил от княгини и княжны Полторацких.

Они первые поднялись после десерта и стали собираться домой.

Князь Луговой проводил их до кареты.

– Надеюсь, увидимся, – сказала княгиня Васса Семёновна.

– Я не премину, княгиня, очень скоро лично поблагодарить вас за сочувствие, которое вы выказали мне в память моей покойной матери, и за честь, которую вы оказали мне своим посещением.

После отъезда княгини и княжны стали разъезжаться и остальные гости. Князь всем сумел сказать на прощание что-нибудь приятное. Все, кроме огорчённых маменек взрослых дочерей, злобствовавших на князя за его внимание к Полторацким, уехали от него обворожённые.

Княгиня Васса Семёновна и Людмила некоторое время молчали. Обе были под впечатлением давно ожидаемого ими свидания. На обеих князь произвёл сильное впечатление. Надежда, что её дочь найдёт в Луговом

свою судьбу, превратилась в сердце княгини Вассы Семёновны в уверенность. Она видела, какие восторженные взгляды бросал молодой князь на её Люду, заметила злобные лица других маменек и основательно заключила, что её дочь одержала победу. Людмила встретила в князе Луговом олицетворение созданного её воображением "жениха". Она мысленно таким воображала себе мужчину, который поведёт её к алтарю, и чутьём догадалась, что произвела на князя впечатление.

"Я понравилась ему, – неслось в её уме, – а он, он... я влюблена в него".

Наконец княгиня Васса Семёновна нарушила молчание.

– Какой милый молодой человек этот князь! – сказала она. – Я даже этого не ожидала.

– А я, напротив, – вырвалось у княжны Людмилы, – именно таким и представляла его себе.

– Представляла?

– Да, мама, представляла. Ведь когда ты мне сказала, что было бы хорошо, если бы князь сделал мне предложение, то есть когда стала представлять себе, каким он может быть на самом деле...

Девушка склонилась к плечу матери и опустила головку.

– И каким же ты его себе представила?

– Да таким почти, как он есть... – уже совершенно склонившись на грудь матери, прошептала молодая девушка.

– Глупенькая моя! – потрепала её княгиня по щеке, но вдруг заметила, что эта щека мокрая, – княжна плакала. – О чём же ты плачешь, Людочка?

– Это так, мама, это пройдёт. Всё это так странно...

– Что странно?

– Да то, что он именно такой, каким я представляла себе его.

– Значит, он тебе нравится?

– Да... – снова чуть слышно произнесла молодая девушка.

– Вот и хорошо... Кажется, и ты на него произвела впечатление. Теперь, когда он придет, надо быть с ним любезной, но сдержанной... Надо

помнить, что ты – взрослая девушка, невеста. Не скрою от тебя, я с удовольствием увидала бы тебя княгиней Луговой.

– Он скоро приедет к нам? – спросила княжна Людмила.

– Вероятно, на днях... не станет медлить.

Они в это время подъехали к дому, и карета остановилась.

Княжна Людмила прошла в свою комнату раздеваться. К ней, конечно, явилась Таня.

– Милая, хорошая, какой он красавец! – восторжённо воскликнула княжна, бросаясь на шею своей служанки-подруги.

– Да неужели, ваше сиятельство?

– Что с тобою, ты опять сердишься на меня? – отшатнулась от Тани княжна Людмила.

– Смею ли я?..

– Что это за тон?!

Таня со времени начавшихся в Зиновьеве надежд на молодого князя Лугового стала титуловать свою молодую госпожу, как-то особенно подчёркивая этот титул. Княжна Людмила запрещала ей это; Таня подчинялась в обыкновенные дни и звала её просто "Людмила Васильевна", но, когда бывали гости и несколько дней после их визитов, будучи в дурном расположении духа, умышленно не исполняла просьбы своей госпожи и каждую минуту звала её "ваше сиятельство".

– Таня, милая, что я тебе сделала? – плаксиво заговорила княжна.

– Да ничего. Что вы можете сделать мне, своей холопке, чтобы я смела рассердиться?

– Вот опять "холопки". Что это такое? Ты знаешь, что ты – мой лучший и единственный друг.

– Какой же друг? Ведь я – крепостная.

– Что же из того? Я и мама любим тебя как родную.

– Знаю, знаю и благодарна, – сквозь зубы проговорила Таня. – Но не об этом речь. Вы говорили, что князь – красавец.

– Ах, Таня, такой красавец, что я и не видывала.

Обе девушки снова замолчали. Таня занялась расстёгиванием платья

княжны, а последняя устремила куда-то вдаль мечтательный взор. О чём думала она? О прошлом или настоящем?

– Каков же он собою? – первая нарушила молчание Татьяна.

Княжна вздрогнула, как бы очнувшись от сна, но это не помешало ей через минуту яркими красками описать своей подруге церемонию погребения, обед и в особенности внешность князя и сказанные им слова.

– Да вот ты увидишь его на днях. Он приедет, – закончила она свой рассказ. – Ты тогда скажешь мне, права я или нет?

– Коли удастся посмотреть в щёлочку, скажу, – со злобною иронией сказала Таня.

Вскоре они расстались. Княжна пошла к матери на террасу, а Таня пошла чистить снятое с княжны платье. С особенною злобою выколачивала она пыль из подола платья княжны: в этом самом платье “он” видел княжну, говорил с нею и, по её словам, увлёкся ею. Ревность, страшная, беспредметная ревность kloкотала в груди молодой девушки.

“Сама увидишь!” – дрожа от внутреннего волнения, думала она. – Прикажут подать носовой платок или стакан воды, так увижу. На дворе, когда из экипажа будет выходить, тоже могу увидеть. В щёлку, ваше сиятельство, и взаправду глядеть не прикажете ли на вашего будущего жениха?” И рука Татьяны, вооружённая щёткой, нервно ходила по платью княжны.

В то время как всё это происходило в Зиновьеве, князь Сергей Луговой находился в отцовском кабинете. Все гости разъехались. Слуги были заняты уборкой комнат, а князь, повторяем, удалился в свой кабинет и с трубкою в руке стал медленно шагать из угла в угол обширной комнаты, пол которой был покрыт мягким ковром. Он переживал впечатления дня, сделанные им знакомства, и его мысли, несмотря на разнообразие лиц, промелькнувших пред ним, против его воли сосредоточились на княжне Людмиле Полторацкой. Её образ неотступно носился пред ним, и это начинало даже бесить его.

“Неужели я влюбился, как мальчишка, с первого взгляда? – думал он и

тут же добавил: – Впрочем, ведь она несомненно очень хороша”.

Князь стал припоминать петербургских дам и девиц, у первых из которых он имел весьма реальные, а у последних платонические успехи. Некоторые из них хотя и не уступали красотой княжне Людмиле, однако всё же были в другом роде, менее привлекательными для молодого, но уже избалованного женщинами князя. Здесь красота, несомненно выдающаяся, соединялась с обворожительной наивностью и чистым деревенским здоровьем. Женская мощь, казалось, kloкотала во всём теле княжны Людмилы, проявлялась во всех её движениях, не лишая их грации. Эта сила, сила здоровой красоты, совершенно отсутствовавшая у столичных женщин и девушек, казалось, и поработила князя. Он, выехавший из Петербурга с твёрдым намерением как можно скорее вернуться туда и принять участие в летних придворных празднествах, теперь решил пожить в своём поместье, присмотреться к хозяйству и к соседям.

Думая о последних, он, конечно, имел в виду лишь княгиню и княжну Полторацких.

“Надо вытащить их из этого захолустья, уговорить их хотя на зиму поехать в Петербург. Государыня любит красавиц, но не одного с нею склада лица. Княгиня может быстро сделаться статс-дамой, а княжна – фрейлиной. Какой эффект произведёт её появление на первом балу! А я, их сосед, хороший знакомый, конечно, буду одним из первых среди массы ухаживателей, первый по праву старого знакомства. Можно будет и жениться. Она – княжна древнего рода и очень богата. Ну, да это мне безразлично: ведь я и сам богат”.

Вот те думы, которые после первой же встречи обуревали молодого князя. Нельзя сказать, чтобы они в общих чертах не сходились с мечтами и надеждами, питаемыми в Зиновьеве. Исключение составляла разве проектируемая князем поездка в Петербург. Впрочем, о ней думала и княгиня Васса Семёновна, но в несколько иной форме: “Женись и поезжай!”

III. БЕГЛЫЙ

Незадолго пред приездом Лугового спокойствие жизни Зиновьева нарушило одно происшествие, сильно взволновавшее не только всю дворню, но и самоё княгиню.

Это случилось раннею весной. Однажды вечером староста Архипыч после обычного доклада княгине стал переступать с ноги на ногу, как бы не решаясь высказать, что у него было на уме.

– Теперь ступай и делай всё, как сказано, – повторила княгиня, думая, что староста ожидает от неё ещё приказаний.

Архипыч продолжал мяться.

– Ещё что-нибудь есть? – спросила княгиня.

– Никита вернулся.

– Что-о-о? – вскинула на него взор княгиня.

– Никиту ноне ещё на заре пришёл... В лесочке хоронился, а в обед в деревне объявился.

– Что же теперь делать? – как-то растеряннo обводя вокруг себя словно взывающим о помощи взглядом, сказала княгиня.

– Я-с, ваше сиятельство, и докладываю. Как прикажете?

– Уж я и сама не знаю... Что он хочет?

– Чего ему хотеть, ваше сиятельство? Ведь он – в чём душа держится – худ очень, и ни к какой работе его не приспособишь.

– К какой там работе?.. И не надо, только бы жил тихо да зря не болтал несуразное.

– Это вестимо, ваше сиятельство! Зачем болтать? Я ему уже сказывал: "О прошлом забыл ли? Как я о тебе, шельмеце, её сиятельству доложу?.."

– Что же он?

– Он мне в ответ: "Что прошло, быльём поросло, а умереть мне в родных местах охота".

Лицо княгини сделалось спокойнее.

– Если так, пусть живёт. Но где?

– В Соломонидиной хибарке можно его поместить, за околицей, у берёзовой рощи... избушка пустует со смерти Соломониды...

– Отлично, пусть живёт! Месячину ему отпускать, по положению, как всем дворовым. Только ты с ним строго поговори, накажи, чтоб язык держал за зубами.

Староста вышел. Княгиня осталась одна. Некоторое время она сидела в глубокой задумчивости. Доклад старосты всколыхнул печальное далёкое прошлое княгини.

Никита Берестов был мужем Ульяны, матери Тани. Он служил дворецким при покойном князе Полторацком и, конечно, знал, какую роль при его сиятельстве играла его жена Ульяна. Когда князь задумал жениться, Никита вдруг стал грубить барину, и последний приказал выпороть его на конюшне. Однако на другой день после наказания Никита сбежал. Ульяна Берестова осталась в ключницах и после женитьбы князя и считалась вдовой. Почти одновременно с молодой княгиней она родила дочку Таню, так что та была лишь на месяц или на два старше княжны Людмилы. Теперь этот Никита возвратился.

Княгиня вздрогнула. Она под первым впечатлением жалости к больному человеку, каким оказался вернувшийся беглец, согласилась пустить его в Зиновьево, хотя имела полное право отправить его, как беглого, в острог и сослать в Сибирь. Она упустила из виду, что Таня Берестова по бумагам считается его дочерью. Что, если он пожелает видеться с нею и даже расскажет Тане о её происхождении? Она, княгиня, и так сделала большую ошибку, допустив сближение в детском возрасте девушек, так разительно похожих друг на друга. Она сделала это из недальновидного великодушия к своей сопернице, а главное для того, чтобы исполнить волю покойного князя, повелевшего ей позаботиться об Ульяне и её ребёнке.

Странное чувство возбуждал в Вассе Семёновне её муж. Она вышла за него замуж не любя, так как любила Ивана Осиповича Лысенко, и с первого дня брака почувствовала какое преступление совершила против человека, с которым связала свою судьбу. Оргии, которым предавался

князь, его продолжавшаяся почти явная связь с Ульяной – всё это при тогдашнем своём настроении духа княгиня Васса Семёновна считала возмездием за свою вину. Она глубоко жалела князя и, когда он умер на её руках, благословив её и дочь, с просьбой позаботиться об Ульяне и Тане, её заперто вынесли из его спальни. Она впервые полюбила своего мужа мёртвого, полюбила до того, что стала после его смерти жестоко ревновать Ульяну к покойному и действительно непосильной работой и вечными попреками ускорила исход и без того смертельной болезни молодой женщины.

Смерть Ульяны совершила в княгине Полторацкой новый нравственный переворот. Она горько оплакивала свою бывшую соперницу и исключительно для самобичевания за совершённые ею, по её мнению, преступления против мужа и его любовницы взяла в дом Таню Берестову и стала воспитывать её вместе со своей родной дочерью.

Годы шли. Девочки выросли, и княгиня постепенно стала исправлять свою ошибку и ставить Татьяну Берестову на подобающее ей место дворовой девушки.

Мы видели, к какому настроению души бывшей подруги княжны привело это изменение её положения, и если княжна Людмила недоумевала относительно состояния духа своей любимицы, то от опытного глаза княгини не укрывалось то “неладное”, что делалось в душе Татьяны.

– Отогрела я, кажется, змею на груди... – в минуту особенно пессимистического настроения говорила сама себе княгиня. – Надо поскорее выдать её замуж.

Таким образом, Таня была права, предчувствуя, что княгиня охотно выдаст её замуж за первого, кто поклонится “её сиятельству”.

“Если Татьяна теперь так ведёт себя, – продолжала думать княгиня, – то что будет, если она узнает своё настоящее происхождение? Надо поговорить с Никитой... Архипыч не сумеет, самой лучше... покойнее будет”.

Остановившись на этом решении, княгиня Васса Семёновна позвонила и приказала вошедшей горничной:

– Позвать ко мне Архипыча!

Через четверть часа внушительная фигура старосты уже появилась в дверях кабинета княгини.

– Вот что, Архипыч, приведи ко мне Никиту!

– Когда прикажете?

– Да попоздней, когда барышня ляжет, да и в девичьей улягутся. Он где?

– Да я уже на новом месте его устроил, как приказали.

– Наказывал, что я тебе говорила? Да? А он что же?

– “Да я всё перезабыл, говорит, что и было; чуть ли не два десятка лет прошло”, – говорит.

– Хорошо, но всё же я сама накажу ему, крепче будет.

– Вестимо, ваше сиятельство, крепче, это вы правильно: то наша речь холопская – то княжеская.

– Так приведи!

Княгиня снова осталась одна в своём кабинете и пробовала заняться просмотром хозяйственных книг, но образ Никиты – мужа Ульяны, которого она никогда в жизни не видала, – рисовался пред её глазами в разных видах. Ей даже подумалось, что он явился выходцем из могилы, чтобы потребовать у неё отчёта в смерти его жены. Княгиня задрожала.

Это настроение было, по счастью, прервано докладом, что ужин подан. Однако княгиня почти ничего не ела. Ожидаемая беседа с Никитой, по мере приближения её момента, всё сильнее и сильнее волновала её.

Наконец ужин кончился. Княжна Людмила, поцеловав у матери руку и получив её благословение на сон грядущий, удалилась в свою комнату. Княгиня направилась в кабинет, рядом с которым помещалась её спальня.

– Федосья! – окликнула она, подойдя к двери спальни.

– Что прикажете, ваше сиятельство? – появляясь в дверях, спросила горничная и наперсница княгини.

– Войди сюда! – сказала княгиня и, когда Федосья приблизилась, спросила: – Ты слышала, Никита вернулся?

– Слышала, ваше сиятельство, слышала, как с неба упал.

– Что ты об этом думаешь?

– Да что же думать, ваше сиятельство? Побродил, побродил, добродился до того, что, говорят, кожа да кости остались, ну, домой и пришёл умирать.

– А не ровен час, болтать будет.

– Какой уж болтать? Говорят, еле дышит.

– Так-то так, а всё же я велела Архипычу привести его сюда: наказать ему хочу молчать, а главное – не видеться с Таней, чтобы он ей чего в голову не вбил.

– Это вы правильно, ваше сиятельство: тогда с нею совсем сладу не будет, и теперь уж...

Федосья остановилась.

– Что теперь? – взволнованно спросила княгиня.

– Девки болтают, будто она по ночам не спит, сама с собой разговаривает, плачет.

– Замуж девку отдать надо.

– Вот это, ваше сиятельство, истину сказать изволили. Ох, надо пристроить бы девку, да в дальнюю вотчину.

За дверями в кабинет раздался в это время топот ног.

– Вот они и пришли, потом поговорим. Впусти, Федосья!

Федосья пошла к двери, и вскоре на её пороге появился Архип в сопровождении другого мужика. Княгиня невольно вздрогнула при взгляде на последнего.

“Выходец из могилы”, – мелькнула в её уме мысль.

Действительно, вошедший вместе со старостой Никита Берестов имел вид вставшего из гроба мертвеца. Одежда висела на нём, как на вешалке. Видимо, весь он состоял из одних костей, обтянутых кожей. Лицо землистого цвета с выдававшимися скулами, почти сплошь обросло чёрными волосами, включенными и спутанными; такая же шапка волос красовалась на голове. А среди этой беспорядочной растительности горели каким-то адским блеском чёрные как уголь глаза.

Никита взглянул ими на княгиню и, казалось, приковал её к месту. Но это

было лишь мгновение – Берестов упал в ноги её сиятельству и жалобным надтреснутым голосом произнёс:

– Не губите, ваше сиятельство!

Несколько оправившись, княгиня пришла в себя. Обдумывая это свидание с беглым дворецким её покойного мужа, она хотела переговорить с ним с глазу на глаз, выслав Архипыча и Федосью, но теперь не решалась на это. Остаться наедине с этим “выходцем из могилы” у неё не хватало духа.

“Кроме того, – несло в голове княгини соображение, – и Архипыч, и Федосья – свидетели прошлого, они знают тайну рождения Татьяны и тайну отношений покойного князя к жене Никиты. Их нечего стесняться”. Она решила их оставить в кабинете.

– Встань! – властно сказала она. – Бог тебя простит.

Беглец приподнялся с пола, но остался на коленях. Его глаза были опущены; они не смотрели на княгиню, и последняя внутренне была очень довольна этим.

– Живи, доживай свой век на родине, но только чтобы о прошлом ни слова! – сказала она. – У меня есть на дворне дочь твоей жены, так с нею тебе и видеться незачем.

– На что мне она? – как-то конвульсивно передёрнувшись, тихо произнёс Никита. – Не до неё мне... умирать пора.

– Зачем умирать? Поправляйся, живи на покое, но не смутьянь, а то, чуть что замечу, не посмотрю, что хворый, в Сибирь сошлю.

В голосе княгини слышались грозные ноты.

– Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, отсохни мой язык, коли слово о прошлом вымолвлю. Вот оно где у меня, прошлое! – указал Никита на шею. – А девчонку эту я и видеть не хочу.

– Тогда будет тебе хорошо. Теперь ступай, я всё сказала.

Никита с трудом поднялся с колен и поплёлся вслед за вышедшим из кабинета Архипычем.

IV. РОКОВОЕ ОТКРЫТИЕ

Оба они двинулись по направлению к деревне и шли некоторое время молча. Первым нарушил молчание староста:

– Княгиня-то у нас, что говорить, душа-барыня. Правда, под горячую руку к ней даже не приступайся, а потом отойдёт...

– Ишь, какая!

– Теперь хоть тебя взять. Пожалела, как я сказал, что хворый ты, умирать пришёл.

– Известное дело, умирать.

– Я к тому и говорю, что пожалела; правда, на тебя тоже властно да строго зыкнула, а всё же говорит: “Живи, поправляйся”.

– Сердобольная! – с иронией в голосе заметил Никита.

– Ну, теперь подь к себе, спи спокойно! – сказал староста, поравнявшись со своей избой.

– Прощенья просим, – ответил Никита, снимая шапку.

Староста прошёл в ворота своего дома, а Берестов направился далее к околице, за которою стояла отведённая ему избушка Соломонида.

Последняя была одинокая вдова-бобылка, древняя старуха, когда-то бывшая дворовая, фаворитка отца княгини Полторацкой, когда тот был холост. После женитьбы князя она была сослана из барского дома и поселена в построенной ей нарочно избушке, в стороне от крестьянских изб. В этом её жилище было две комнаты с чисто вытесанными стенами, узорчатое крылечко, а за избушкой был выстроен сарай. Тут же был навес для лошадей, а от двора шло место для огорода.

Соломонида жила в своей избушке, получая увеличенную месячину, как говорили крестьяне, “всласть”, с единственным запретом – ходить на барский двор. Исполнить этот запрет ей было тем легче, что вскоре после своей женитьбы отец княгини Вассы Семёновны покинул Зиновьево и поселился в своём соседнем маленьком именье Введенском. Барский дом стоял пустым, дворня была переведена в Введенское, на барский двор и так ходить было незачем. Он оживился только с выходом замуж Вассы

Семёновны, поселившейся с мужем в Зиновьеве; но в нём начались новые порядки, в обновлённой дворне были новые люди, с которыми Соломону ничто не связывало, а потому она жила уединённо и не только избегала ходить на барский двор, но даже сторонилась крестьян. Она как бы ушла в самое себя и жила не настоящим, а прошлым.

По селу Соломонида прослыла “знахаркой”, и к этому присоединилось подозрение в колдовстве. Последнему способствовали уединённая жизнь и нелюдимость Соломониды, а главное – огромный чёрный кот, сидевший на крыльце её избышки. Соломонида пользовала крестьян разными травами, прыскала наговорённой водой от “сглазу” – словом, проделывала такие таинственные манипуляции, которые в то тёмное, суеверное время заставляли её пациентов быть уверенными, что она, несомненно, имеет сношение с “нечистой силой”.

Месяца за два до появления в Зиновьеве Никиты Берестова Соломонида умерла, и притом так же таинственно для людей, как и жила. Никто не присутствовал при её смерти, никто не голосил у её постели. За несколько дней до кончины её видели копошившейся около своей избы, а затем не видали её несколько дней. Нужды до неё на деревне не было, а потому на это обстоятельство не обратили особенного внимания. Только случайно зашедшая в избу бабёнка, желавшая посоветоваться об усилении удоя “бурёнки”, которая вдруг стала давать молока меньше прежнего, увидела Соломону лежавшую на лавке со сложенными на груди руками. Баба дотронулась до этих рук и, взвизгнув на всю избу, бросилась вон, прибежала в деревню и всполошила всех. Отправились в избу Соломониды и действительно убедились, что она умерла. Кот тоже оказался околевшим. Доложили княгине, и по её приказанию, несмотря на то что “колдунья” не сподобилась христианской кончины, её похоронили после отпевания в церкви на сельском кладбище и даже поставили большой дубовый крест.

После этого избышку заколотили до времени, хотя не было надежды, что найдётся человек, который решился бы в ней поселиться. Она простояла бы так пустая, быть может, много лет, но вдруг, когда в Зиновьеве

объявился беглый Никита, и когда возник вопрос, куда девать его, у старосты Архипыча мелькнула мысль поселить его в избушке Соломоницы. "Мужик он бывалый, – соображал он, – в бегах разные виды видывал, не струсит". Да и пропадал он почти двадцать лет – именно то время, за которое сложилась среди крестьян страшная репутация Соломоницы. В его время она была только опальной "барской барыней", а это не представляло ничего страшного.

Действительно, когда староста сказал Никите Берестову о свободной избушке Соломоницы, тот согласился поселиться в ней и даже усердно поблагодарил. Таким образом избушка за околицей снова приобрела странного жильца, тоже находившегося под некоторым запретом.

Между тем, как только Архипыч скрылся на своём дворе, Никита Берестов совершенно иначе зашагал по заснувшей деревне. Куда девались его расслабленная походка, еле волочившиеся ноги, сгорбленность стана и опущенная dolu голова. Никита выпрямился и почти побежал к околице. Дошедши до своей избы, он вошёл в неё, закрыл дверь, засветил светец и, сбросил с себя зипун, потрянул головой, отчего его волосы откинулись назад и приняли менее беспорядочный вид, пятернёй расправил включенную бороду и совершенно преобразился.

Мерцающее пламя лучины осветило внутренность избы, действительно представлявшей много таинственного, устрашающе действовавшего на суеверный люд. На почерневших стенах были развешаны пучки каких-то засушенных трав и кореньев, там и сям виднелись прибитые шкуры кошек и мышей, с потолка спускались такие же пучки трав и кореньев и, наконец, болталось на бечёвке чёрное крыло какой-то большой птицы. В комнате был образ, но совершенно почерневший, так что не было возможности разглядеть лик изображённого на нём святого. Черневшее отверстие большой печи, не закрытое заслонкою, завершало ужасающую обстановку этой "избы колдуньи", как продолжали звать избу Соломоницы на деревне.

Но Никита Берестов не был из суеверных. Он совершенно спокойно стал

ходить по избе, даже заглянул в другую тёмную горницу, представлявшую такой же склад трав, корней, шкур животных и крылатых птиц, этих таинственных и загадочных предметов, и время от времени ухмылялся в бороду. Его горящие глаза принимали несколько раз сосредоточенное выражение. Это было как раз в то время, когда он останавливался и ворчал себе под нос.

“Ишь, старая карга, сразу догадалась: “Таньку тебе видеть незачем”, когда в Татьяне-то вся суть!” – подумал он, складывая на лавку свой зипун в виде изголовья, а затем потушил светец, впотьмах добрался до лавки и растянулся на ней во весь рост.

Вскоре избу колдуньи огласил богатырский храп – Никита Берестов заснул...

Несмотря на принятые княгиней меры предосторожности, в девичьей узнали не только о возвращении Никиты, но и о том, что он был принят барыней и по её распоряжению поселён в Соломонидиной избушке. Некоторые из дворовых девушек успели, кроме того, подсмотреть в щёлочку, каков он собой.

Всё это произошло без Тани, бывшей в то время в комнате княжны, которой она помогала совершать свой ночной туалет. Когда она вернулась в свою комнату, отделённую от девичьей лишь тонкой перегородкой, шушуканье между дворовыми девками было в полном разгаре. Тане, конечно, было известно, что в Зиновьево, после почти двадцатилетнего отсутствия, вернулся беглый Никита, но при ней ни разу не назвали его прозвища “Берестов”, а потому она особенно им и не интересовалась. С детства отдалённая от двора, она, естественно, не могла жить её интересами, слишком мелочными для полубарышни, каковою она была. Однако когда она разделась и легла на свою постель, то невольно, мучимая бессонницей, стала прислушиваться к говору не спавших и оживлённо беседовавших дворовых девушек, и тут впервые до неё донеслось прозвище Никиты.

– И страшный какой этот Никита Берестов! – сообщила одна из девушек, успевшая посмотреть на “беглого” в замочную скважину, когда он шёл с

Архипычем к её сиятельству.

– Кто он такой будет?

– Кто? Наш брат, дворовый. Дворецким служил при покойном князе. Здесь поблизости именье у его сиятельства было, он его брату двоюродному подарил пред женитьбой, а его, Никиту, да его жену Ульяну сюда перевести приказал, в дворню нашу, значит; только Никита сгрубил ему ещё до перевода, и князь его на конюшне отодрал; он после этого и сгинул.

– Чего же он сюда пришёл? Ведь родимая-то сторона его не тут.

– Не тут, а всё же поблизости. Замятино знаешь?

– Это за болотом?

– Оно самое.

– Да! Так вот туда бы и шёл.

– Уж не знаю, может, потому, что дочка его здесь. Ведь он – муж Ульяны.

– А дочка его кто? – слышался вопрос.

– Известно кто! Татьяна Берестова, наша дворовая барышня.

Таня с момента произнесения своего прозвища ещё более чутко стала прислушиваться к доносившейся до неё беседе. Когда же оказалось, что эта беседа касалась исключительно её, она вскочила, села на постель и с широко открытыми глазами как бы замерла после слов: “Известно кто! Татьяна Берестова, наша дворовая барышня”.

Таким образом, этот “беглый Никита”, о котором ещё сегодня возбуждали вопрос, отправят ли его в острог или сошлют в Сибирь или княгиня над ним смилуется – её, Тани, отец.

“Может, потому, что дочка здесь...” – гудело в ушах ошеломлённой девушки, и у неё мелькнула мысль: а вдруг да княгиня отдаст её отцу, и она должна будет поселиться в Соломонидиной избушке, к которой она с детства вместе с княжной питала род суеверного страха.

Холодный пот выступил на лбу Тани.

Нечего и говорить, что она провела ночь совершенно без сна. Думы, страшные, чёрные думы до самого утра не переставали витать над её бедной головой.

V. В ИЗБУШКЕ "КОЛДУНЫИ"

Дни шли за днями. Тревога, возникшая в сердце и уме Тани, постепенно улеглась. Княгиня, видимо, не намерена была водворить её на жительство к отцу, и её положение ничуть не изменилось со времени появления "беглого Никиты".

Последний видимо сторонился всех. Никита оказался страстным охотником и, получив с разрешения княгини ружьё, порох и дробь, по целым дням пропадал в лесу и на болоте. Ни один из княжеских дворовых охотников не доставлял к обеденному столу столько дичи, сколько "беглый Никита".

Итак, Таня успокоилась и даже почти забыла о существовании на деревне отца, тем более что к этому именно времени относилось появление в Зиновьеве первых слухов о близком приезде князя Лугового. Этот приезд, равно как восторженное состояние княжны Людмилы после первого свидания с Сергеем Сергеевичем, подействовали на Таню: она озлобилась на княжну и на княгиню и, естественно, старалась придать своим мыслям другое направление. Таким отвлекающим мотивом являлась мысль о беглом Никите.

"Отец он мне или не отец? – думала она. – Может, сбrehнули девки. Если бы он был отцом, так неужели не захотел бы взглянуть на родную дочь? Чудно что-то!"

Эта мысль начала развиваться и привела Таню к решению повидаться с таинственным обитателем избушки Соломонида.

Однажды, уложивши княжну, Таня как-то совершенно машинально не отправилась в свою комнату, а прошла девичью и вышла на двор. Ночь была тёплая, луна ярко освещала поля, вдоль которых вилась тропинка за задами деревни. Молодая девушка пошла по тропинке и вскоре очутилась у таинственной избушки. В одном из её окон светился огонёк. Никита был дома.

Этот мерцающий свет лучины в затускневшем окне блеснул в глаза девушки ярким заревом. Она остановилась ошеломлённая. Первым её чувством был страх, она хотела бежать, но не могла двинуть ни рукой, ни ногой и стояла пред избушкой как замороженная, освещённая мягким лунным светом.

Через несколько мгновений дверь избушки отворилась, и на крыльце появился Никита. Стоявшая невдалеке Таня невольно бросилась ему в глаза.

– Чего тебе надобно здесь, девушка? – окликнул он её и стал спускаться с крыльца.

Девушка не тронулась с места. Страх у неё пропал – Никита был теперь далеко не так страшен, как в первый день появления в Зиновьеве. Он даже несколько пополнел и стал похож на обыкновенного крестьянина, каких было много там.

– Ты кто же такая будешь? – приблизившись к Тане, спросил Никита.

– Татьяна Берестова, – несколько дрогнувшим голосом ответила она.

– А, вот ты кто! – воскликнул Никита, и в его голосе послышались радостные ноты. – Ты зачем же сюда пожаловала?

– Так, гуляла.

– Правду говорят, что отцовское сердце дочке весть подаёт! – со смехом произнёс Никита, как-то особенно подчеркнув слова “отцовское” и “дочке”.

– Так ты на самом деле мой отец? – смело глядя ему в глаза, спросила Таня.

– Отец, девушка, отец, – ответил Никита. – Да что мы тут-то гуторим? Хоть и поздно, а неравно чужой человек увидит... княгине доложат.

– А пусть докладывают... Мне што...

– Тебе, может быть, и ничего, а ведь мне княжеский запрет положен видаться с тобой, – возразил Никита. – Схоронимся-ка лучше в избу, верней будет, я тебе порасскажу! – и Никита пошёл снова по направлению к избушке.

Таня последовала за ним, а когда переступила порог Соломонидиной

избушки, сердце у неё болезненно сжалось. Ей сделалось страшно, но только на мгновение.

– Садись, гостя будешь, – сказал Никита, указывая вошедшей за ним девушке на лавку.

Татьяна села и с любопытством оглядела внутренность избы. Последняя уже потеряла свой загадочный характер. Никита выбросил все травы и шкурки, и изба приняла совершенно обыкновенный вид.

Никита между тем поправил светец и подвинул его поближе к сидевшей за столом Татьяне.

– Дай поглядеть на тебя, девушка. Ишь, какую уродилась!.. Вылитая княжна. Онамеднясь я её на деревне встретил.

– Да, мы очень схожи с княжной... – ответила Таня.

– Да оно так и должно быть: ведь вы одного корня деревца, одного отца детки; как же тут сходству не быть?

– Одного отца? – удивлённым голосом произнесла Татьяна. – Княжна, значит...

– Моя дочь, что ли? Ну, и дура же ты! – Никита захохотал. – Да ведь это ты-то сама – дочь княжеская, князя Василия дитя родное... от жены моей непутёвой, Ульянки, вот что!

Никита пришёл в ярость и даже руками ударил себя по бёдрам.

Воспитанная вместе с княжной, удалённая из атмосферы девичьей, обитательницы которой, как мы знаем, остерегались при ней говорить лишнее слово, Таня не сразу сообразила то, о чём говорил ей Никита. Сначала она совершенно не поняла его и продолжала смотреть на него вопросительно-недоумевающим взглядом.

– Ведь когда ты родилась, – продолжал Никита, – я уже около двух лет в бегах состоял; так как же ты мне дочерью приходится можешь? Ты это сообрази. Известно – тебя дворовая баба Ульяна, да к тому же замужняя, родила, ну, вот тебя по её мужу, то есть по мне, и записали.

Татьяна продолжала молчать, но вопросительно-недоумевающее выражение её взгляда исчезло. Она начала кое-что соображать.

– Значит, мать... – начала она.

– Что мать! Вот назвал я её сейчас непутёвой, а, только ежели по душе судить, её дело тоже было подневольное. Князь – барин. Замуж-то он за меня её выдавал для отвода глаз только. Пред женитьбой его дело-то это было. Я Ульяну любил, была она девка статная, красивая, а повенчали нас с нею – только я её и видел; меня-то дворецким сделали, а её к князю. Не стерпел я в те поры, сердце у меня загорелось, и уж этого князя стал я честить что ни на есть хуже. Известно, он – князь, барин властный. На конюшню меня отправили да спину всю узорами исполосовали. Отлежался я и задумал в бега уйти. Парень я был рослый, красивый, думал, что Ульяна за меня тоже не зазнамо для князя шла, что люб я ей. Думал я грех её подневольный простить и рассчитывал, что мы вместе убежим. Наказал я одной старушке душевной жене передать, что за околицей ждать её буду, да не пришла она, не сменила на меня князя, подлая. Только потом, много спустя, сообразил я, что нелегко и ей было, сердечной, судьбу свою переменить, из холи, из сласти княжеской с голышом, беглецом-мужем в бега пуститься. На первых-то порах проклинал я её, а потом, как сердце спало, жалость меня по ней есть начала; до сей поры люблю я её, а эту княгиню с отродьем её, княжной, ненавижу.

– За что же?

– Да ведь эта змея извела Ульяну, как только князь глаза закрыл.

– Извела? Мою мать! – воскликнула Таня, и её глаза загорелись огнём бешенства.

Уже тогда, когда Никита заявил, что ненавидит княгиню и княжну, в сердце девушки эта ненависть её названного отца нашла быстрый и полный отклик. В уме разом возникли картины её теперешней жизни в княжеском доме в качестве “дворовой барышни” – она знала это насмешливое прозвище, данное ей в девичьей – в сравнении с тем положением, которое она занимала в этом же доме, когда была девочкой. “У, кровопийцы!” – мелькнуло у неё в голове восклицание, обычное у неё по адресу княгини и княжны во время бессонных ночей.

Теперь же, когда она из слов Никиты узнала, что княгиня извела её мать, чувство ненависти к ней и княжне Людмиле получило для неё ещё более

реальное основание. Оно как бы узаконилось совершённым преступлением Вассы Семёновны.

– Известно, извела, – продолжал Никита. – Я тоже хоть и в бегах был, однако из своих мест весточки получал исправно. Стала княгиня, овдовевши, Ульяну так гнуть да работой неволить, что Ульяна-то быстрее тонкой лучины сгорела. Вот она какова, ваша княгинюшка. Правда, как уложила она Ульяну в гроб, то начала душу свою чёрную пред Господом оправлять, а для этого за тебя взялась – тебя, её же мужа отродье, барышней сделала. Да на радость ли?

– Уж какая радость! Сослали теперь опять в девичью.

– Знаю! Да мало того – замуж тебя выдать норовят, да не здесь, а в дальнюю вотчину.

– Что-о-о? – громко взвизгнула Татьяна и, как ужаленная, вскочила с лавки. – Ну, этому не бывать.

– И я говорю, не бывать... Положись только на меня, вызволю.

– Родимый, всё, что делать надо, сделаю.

– Садись! – Указал он ей на лавку, а сам сел рядом и, наклонившись к самому лицу Тани, стал что-то тихо говорить ей.

На её лице выражались то ужас, то злорадная улыбка.

Они проговорили далеко за полночь.

Таня благополучно пробралась назад в девичью: все девушки уже спали, так что никто, видимо, не заметил её отсутствия. Она тихо разделась и легла, но заснуть не могла. Голова её горела, кровь билась в висках, и Таня то и дело должна была хвататься за грудь – так билось в этой груди сердце.

А что, если всё действительно делается так, как он говорит? Ведь тогда и она успокоится, будет жестоко отмщена. И чем она хуже княжны Людмилы? Только тем, что родилась от дворовой женщины. Но ведь в ней видимо нет ни капли материнской крови, как в Людмиле нет крови княгини Вассы Семёновны. Недаром они так разительно похожи друг на друга. Они – дочери одного отца, князя Полторацкого, они – сёстры. Почему же она должна терпеть такую разницу их положения? Людмиле

всё, а ей ничего. У той общество, титул, красавец будущий жених, счастье, а у неё подневольная жизнь дворовой девушки и в будущем замужество с мужиком и отправка в дальнюю вотчину.

При одной мысли о возможности подобной отправки холодный пот покрывал всё тело молодой девушки, нервная дрожь пробегала по всем членам, и голова налилась как бы раскалённым свинцом.

– Нет, не будет этого, не будет! – внутренне убеждала себя Таня. – Я возьму то, что принадлежит мне по праву. Я возьму всё, раз они не хотят делиться со мной добровольно. Прав мой названный отец, тысячу раз прав.

Она всю ночь не сомкнула глаз и лишь под утро забылась тревожным сном.

Шум, поднявшийся в девичьей, вывел Таню из этого полузабытья или полусна. Она вскочила, наскоро оделась, умылась холодной водой, и это освежило её. Затем она вошла в комнату княжны как ни в чём не бывало и даже приветливо поздоровалась с нею.

“Потешу её сиятельство напоследки”, – злорадно думала она.

Княжна с её помощью оделась и вышла пить с матерью утренний чай, а Таня удалилась к себе. Волнение ночи постепенно улеглось в её душе, и она задумалась. Всё, что говорил ей вчера Никита, представилось ей вдруг до того страшным, до того невозможным, что она уже решила в своём уме, что он просто сбреднул по злобе. Но тут же у неё явилась мысль:

“А если это возможно? Если адский план, придуманный Никитой, действительно осуществим. Что тогда?”

В сердце девушки, независимо от её воли, закрылась жалость к своей подруге. Последняя ведь не виновата! Всё княгиня. Но что же делать? Тут нельзя разбирать большую или меньшую вину. Пусть княжна без вины виновата, а всё же виновата. Не пропадать же ей, Тане, не дожидаться же, когда отправят её в дальнюю вотчину! Но нет, может быть, княгиня обеспечит её, даст приданое, и она выйдет замуж за кого-нибудь из городских, из тамбовских, за чиновника. Мечта выйти за чиновника уже

давно жила в уме Тани, и с этим исходом она примирилась бы.

Думы в этом роде, одна другой противоречившие, неслись голове Тани; она сидела неподвижно, с устремлёнными в одну точку глазами и очнулась от этой задумчивости лишь тогда, когда её позвали к княжне.

Последняя встретила её радостным восклицанием:

– Князь приедет сегодня! Мама устроила так, чтобы нам дали знать из Лугового, когда князь сделает нам визит. И вот сейчас был нарочный оттуда, сказал, что сегодня. Мама приказала мне одеться получше, но вместе и попроще, как будто я в домашнем платье. За этим я и позвала тебя.

– Ага! – протянула Таня.

– Что же мне надеть?

Княжна и Таня занялись сперва обсуждением туалета, а затем и самым туалетом. Последний вскоре был окончен. Княжна осталась довольна и пошла показаться матери.

“Посмотрим, что за чудище такое заморское этот князь”, – думала Таня, возвращаясь в девичью.

Там ожидал её новый удар. Горничной княгини Вассы Семёновны Федосьей было вынесено приказание об отправке десяти дворовых девушек в дальний лес по ягоды. В число этих десяти была назначена и Таня.

Это был первый случай, чтобы Таню отправляли вместе с дворовыми на общую работу, и девушка до крови закусилась губу. Слезы готовы были брызнуть из глаз, но она употребила все усилия воли, чтобы сдержаться. Она поняла, что её хотят удалить, схоронить от княжеских глаз, однако не показала и вида, что это распоряжение удивило её, а напротив, с неподдельной, казалось, радостью пошла вместе с остальными дворовыми девушками в дальний лес. Между тем под этой наружной весёлостью скрывался целый вулкан злобы, бушевавшей в её груди.

“Поплатитесь вы мне, поплатитесь! – мысленно грозила она. – А я, дура, только что жалела их! У, кровопийцы!”

Князь Луговой между тем действительно приехал и был встречен княгиней в гостиной так, как будто явился неожиданным гостем.

– Моя девочка в саду, – сказала княгиня. – Она, вероятно, сейчас прибежит. Такая егоза, не посидит на месте.

– Молодость! – глубокомысленно умозаключил князь.

Минут через десять появилась и княжна Людмила. Она тоже как бы вспыхнула от неожиданности, вбежав в гостиную и увидев князя, но это не помешало ей грациозно присесть ему, а затем княгиня пригласила Сергея Сергеевича на террасу, куда были поданы прохладительные напитки.

Разговор завязался. Впрочем, говорил больше князь. Он рассказывал о петербургском житье-бытье и, видимо, старался увлечь своих слушательниц и поселить у них желание самим видеть невскую столицу. В особенности живо он описывал праздники придворные и даваемые братьями Разумовскими.

– Празднества гетмана Кирилла Григорьевича в особенности бывают оживлённы, так как на них являются званые и незваные, – сказал он.

– Как, все, кто хочет? – удивилась княгиня. – Но ведь это должно стоить бешеных денег.

– Ну, что значат для Разумовских деньги? – усмехнулся Сергей Сергеевич.

– Да, говорят, они очень богаты и делают много добра?

– Кирилл Григорьевич в особенности добр. Когда я уезжал из Петербурга, то весь город только и говорил о двух случаях, бывших с гетманом. У него всегда и для всех открыт стол, куда могут являться и званые и незваные. Этим правом воспользовался в прошлую зиму один бедный офицер, живший по тяжёлым делам в Петербурге. Каждый день обедал он у гетмана и, привыкнув наконец к дому, вошёл однажды после обеда в одну из внутренних комнат, где граф, по обыкновению, играл в шахматы. Разумовский сделал ошибку в игре, офицер не мог удержаться от восклицания. Гетман остановился и спросил у бедняка, в чём состоит ошибка. Сконфуженный офицер указал на промах графа. С

тех пор Разумовский, садясь играть, всегда спрашивал: "Где мой учитель?" Но недавно "учитель" не пришёл к обеду. Гетман велел навести справки, почему его не было. С трудом дознались, кто был незванный гость графа; несчастный был болен и в крайности. Кирилл Григорьевич отправил к нему своего доктора, стал снабжать его лекарствами и кушаньями, а после выздоровления помог ему выиграть тяжбу и наградил деньгами.

– Ах, какой он хороший! – наивно воскликнула княжна Людмила.

– Другой случай ещё интереснее. В прошлую зиму у Кирилла Григорьевича обедал австрийский посол граф Эстергази и показывал за столом богатую табакерку, подаренную ему государыней. Все любовались ею, и табакерка обошла вокруг стола. Под конец обеда посол захотел понюхать табаку, стал искать табакерку, но не находил её. Все присутствующие были поставлены этим в неприятное положение. Посол стал намекать на то, что табакерка украдена. Тогда гетман встал, вывернул карманы и громко сказал: "Господа, я подаю добрый пример, надеюсь, что все ему последуют и таким образом успокоят господина посла". Все бросились подражать графу; только один бедно одетый старичок, сидевший на отдалённом конце стола, отказался от этого и со слезами на глазах объявил, что желает наедине объясниться с гетманом. Разумовский вышел в соседнюю комнату, а за ним последовал его гость. Когда хозяин и старик очутились наедине, последний сказал: "Ваше сиятельство, я в крайней бедности и прокармливаю себя и своё семейство единственно вашими обедами; мне стыдно было признаться в этом пред вашими гостями, не взыщите с меня; я честный человек и живу праведным трудом". При этом он стал вынимать разную провизию из карманов. В эту минуту пришли сказать, что табакерка нашлась у посла: она провалилась между кафтаном и подкладкой. Бедняку гетман назначил пожизненный пенсион.

– Как это благородно и великодушно! – заметила княгиня.

В разговорах время летело незаметно. Князь просидел на террасе около двух часов и наконец, поднявшись с места, начал прощаться. Княгиня

пригласила его бывать запросто. Сергей Сергеевич обещал воспользоваться этим любезным приглашением и уехал.

Княгиня Васса Семёновна была очень довольна его визитом. Она заметила, что молодой человек во время разговора не спускал глаз с дочери. Победа была одержана, оставалось только ловко повести дело к желанной цели.

Княжна Людмила, ничего не зная об отправке Тани княгиней “по ягоды”, тотчас побежала разыскивать свою любимицу, чтобы передать ей впечатление визита князя и узнать, понравился ли он Тане. Каково же было её удивление, когда она узнала, что та, по распоряжению княгини, послана с остальными девушками в дальний лес.

– Мама! – вбежала княжна на террасу – Зачем ты услала Таню в лес? Она ведь никогда не ходила ни по грибы, ни по ягоды с остальными девушками.

– Так просто, душечка... я думала, что это доставит ей удовольствие. Пусть погуляет, погода такая хорошая, – сконфуженно стала оправдываться княгиня Васса Семёновна.

Княжна Людмила заметила, что поставила этим вопросом свою мать в неловкое положение, пристально поглядела на неё и замолчала, так как сообразила.

“Таня на меня так похожа. Мама не хотела, чтобы князь видел её. Но почему же она так похожа на меня?”

Этот вопрос несколько раз уже возникал в уме княжны но оставался без ответа и забывался. Она не раз хотела задать его матери, но какое-то странное чувство робости останавливало её. Теперь этот вопрос лишь на мгновение возник в уме девушки. Мысль о князе, о том скоро ли он приедет, опять отодвинула на задний план все остальные вопросы, а в том числе и вопрос о причине сходства её, княжны, с Таней. Она вышла в сад, углубилась в аллею из акаций, под сводом которых было прохладно, и начала мечтать.

VI. СТРАШНОЕ ПРИКАЗАНИЕ

Прошло три недели. Князь Сергей Сергеевич зачастил своими визитами в Зиновьево. Он приезжал иногда на целые дни, и в конце концов сделался своим человеком в доме княгини Полторацкой.

Княгиня Васса Семёновна, сделав должное наставление своей дочери, стала оставлять её по временам одну с князем, и молодые люди часто гуляли по целым часам по тенистому зиновьевскому саду.

При таких частых и, главное, неожиданных приездах князя, конечно, нельзя было скрыть от его глаз Татьяну Берестову. Княгиня Васса Семёновна после первого же раза сама осудила эту свою политику, тем более что из разговора с дочерью поняла, что последней было не по сердцу это отправление её любимой подруги детства на общую работу с другими дворовыми девушками. Поэтому княгиня решила не принимать больше таких мер, подумав: "Будь что будет! Не влюбится же он в холопку!" – и оставила Таню в покое.

Девушка видела князя уже несколько раз, но незаметно для него. Он произвёл на неё сильное впечатление, и оно ещё более увеличило её злобу против княжны Людмилы, за которой князь явно ухаживал. Все в доме уже называли его женихом, хотя предложения он ещё не делал. Однако Таня скрыла от княжны своё восхищение молодым соседом и на её вопрос ответила деланно холодным тоном:

– Ничего, красивый.

– Как ничего? Он прелесть как хорош! – обиженно воскликнула княжна.

– Он вашим мужем будет, вам и судить. Холопка я, холопий у меня и вкус, – ответила Таня.

– Ты опять!

– Что "опять", ваше сиятельство? Я правду говорю. Вот ваш князь в вас по уши влюблён, а на меня, хоть я и похожа на вас, и посмотреть, может быть, не захочет.

– Ты думаешь, что он влюблён в меня?

– Конечно же. Да и в кого же ему влюбиться здесь, в окружности, кроме

вас?

– Значит, и ты ему так же понравишься.

– Навряд! Ведь я – холопка, а ему красавицу княжну надо, – иронически ответила Татьяна.

– А вот я спрошу его. В следующий раз я позабуду носовой платок, и ты принесёшь его мне, когда мы будем в саду. Увидишь князя поближе, и он тебя.

– Хорошо-с, слушаю-с.

Тане это предложение было как нельзя более кстати; в душе она очень желала увидеть князя поближе, а кроме того, её особенно интересовало мнение, которое выскажет о ней князь. Она даже решила сама подслушать его, спрятавшись в кустах или чаще деревьев, смотря по месту, в котором она застанет “воркующую парочку”: ведь свои уши надёжнее всего.

Действительно, в следующий же приезд князя Сергея Сергеевича, когда после обеда княжна отправилась в сад, Таня, взяв носовой платок княжны, пошла, спустя некоторое время, разыскивать “воркующую парочку”. Она нашла князя и княжну на скамейке в аллее из акаций и, подавши платок княжне, хотела удалиться, но Людмила задержала её, сказав:

– Ах, благодарю, милая Таня, я забыла его... А где мама?

– Её сиятельство у себя в кабинете.

– А...

Видимо, княжна вела этот разговор исключительно для того, чтобы дать время князю разглядеть Таню, а той – князя. Когда наконец княжна сказала: “А...”, давая этим понять, что Таня может уходить, последняя быстро вышла из аллеи, но тотчас, обогнув её по траве, чуть слышно прокралась к тому месту, где стояла скамейка, на которой сидели князь и княжна. Она не слыхала, в какой форме спросила княжна у князя мнение о ней, но ответ последнего донёсся до неё отчётливо и ясно.

– Да, есть кое-какое сходство, – небрежно ответил князь, – но только кажущееся. Где же ей до вас! Сейчас видна холопская кровь.

“Дурак!” – мысленно послала Татьяна по адресу князя и едва удержалась, чтобы не произнести вслух этого далеко не лестного для него эпитета, а затем осторожно ушла с места своего наблюдения.

Её сердце теперь уже прямо разрывалось от клокотавшей в нём злобы.

“Холопская кровь! – мысленно повторяла она до физической боли тяжёлое для неё оскорбление. – Я тебе покажу эту холопскую кровь, князь Луговой”.

Когда князь уехал, Таня была позвана княжной в её комнату.

– Вообрази, Таня, князь не нашёл особенно большого сходства между мной и тобой, – сказала княжна.

– Вот как? – протянула Татьяна, стараясь казаться совершенно спокойной. – Впрочем, это понятно: ведь влюблённые, во-первых, слепы по отношению всех, кроме предмета своей любви, а во-вторых, любясь вами князь, конечно, не может допустить мысли, что есть другая, похожая на вас.

– Значит, ты думаешь, что он влюблён в меня?

– Если до сих пор я только думала это, то теперь в этом уверена. Я видела, как он смотрит на вас – словно кот на сало.

Княжна покраснела, но тотчас воскликнула:

– Ах, если бы ты была права!

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство: я права.

Разговоры о чувствах князя Сергея Сергеевича к княжне Людмиле повторялись почти каждый день. Деланное спокойствие Тани, с которым она принуждена была вести эти разговоры, всё более и более озлобляло её против княжны и князя. Всё чаще приходило ей на мысль его выражение: “Холопская кровь”, и вслед за этим мысленно же слагалась угроза: “Я тебе покажу, князь Луговой, холопскую кровь!” Во время одной из прогулок князя и княжны по зиновьевскому саду они прошли к стеклянной китайской беседке, стоявшей в конце сада над обрывом, откуда открывался прекрасный вид на поле и лес. Молодые люди вошли в беседку.

– Ах, князь, как я боялась одного места в вашем парке! – вдруг сказала

княжна, когда они опустились на круглую скамейку.

– Какого?

– Таинственного павильона, замкнутого большим замком.

– Отчего же вы боялись его?

– Разве вы не знаете, князь, легенду о нём?

– Как же, слышал несколько раз.

– И знаете, князь, я вам теперь признаюсь, когда вы за обедом после погребения вашей матушки сказали, что сто лет тому назад один из князей Луговых был женат на княжне Полторацкой, я подумала...

Княжна Людмила вдруг остановилась и густо покраснела. Она только сейчас сообразила, что напоминание с её стороны об этих словах князя похоже на вызов на предложение.

“Это может совершиться и теперь, если только она любит меня”, – промелькнуло в уме у князя Сергея, и он, особенно любовно посмотрев на покрасневшую княжну, спросил:

– Что же вы подумали, княжна?

– Нет, я не скажу. Всё это глупости. Может быть, это и не так.

– Скажите! Вы окончательно измучаете меня. Я любопытен.

– Говорят, это качество свойственно только женщинам, – повернула было разговор княжна, но князь не отставал: – Скажите, пожалуйста, скажите.

– Я подумала, что не эту ли самую бывшую княжну Полторацкую замуровал её муж, князь Луговой, в этой беседке.

– Если эта княжна Полторацкая, жившая сто лет тому назад, была так же хороша, как вы, княжна, то я понимаю своего предка, впрочем, при условии, если эта легенда справедлива.

– А вы ей не верите? – спросила княжна Людмила, всё ещё красная, не поднимая глаз.

– Конечно, не верю. Бабы рассказы, и больше ничего. Просто там заперты какие-нибудь садовые инструменты, лопаты, грабли...

При этих словах княжна взглянула на князя.

– Было бы очень интересно узнать это наверное.

Князь вздрогнул. Желая порисоваться пред любимой девушкой, он

усомнился в верности передаваемой из рода в род семейной легенды, а отступление теперь считал для себя невозможным.

“Пустяки, конечно, ничего подобного не было, бабьи рассказы”, – пронеслись в его голове как бы убеждавшие его самого мысли, и он с напускной небрежностью произнёс:

– Нет ничего легче убедиться в этом! Я завтра прикажу сбить замок, вычистить павильон, а послезавтра попрошу вашу матушку прокатиться с вами в Луговое и мы будем пить чай в этом самом павильоне.

– Что вы, князь! Нет, нет, не делайте этого! – взволнованно сказала княжна. – На этот павильон ведь положен запрет под угрозой страшного несчастья тому из князей Луговых, который осмелится открыть его.

– Говорю вам, княжна, всё это – бабьи рассказы.

– Нет, князь, не делайте этого, – умоляла княжна.

Эта настойчивость девушки ещё более раззадорила князя. Ему показалось, что она упрашивает его потому, что догадалась, что он сам трусит. Так как это было правдой, то именно это и бесило его.

– Говорю вам, княжна, что это пустяки; вы сами убедитесь в этом. Послезавтра мы пьем чай в этом страшном павильоне. Это решено бесповоротно.

– Я не буду от страха спать ночей! – воскликнула княжна.

– Стыдитесь! Как можно верить в таинственное? – продолжал бравировать князь Сергей Сергеевич.

Разговор перешёл на другие темы.

Когда молодые люди вернулись в дом и князь, прощаясь, пригласил княгиню на послезавтра вечером приехать в Луговое, та дала своё согласие.

Княжна Людмила не преминула рассказать Тане о роковом решении князя и упавшим голосом спросила:

– А что, если там действительно окажутся они?

– Это уж его дело.

– Но ведь ты знаешь, говорят, что на того из князей Луговых, кто откроет эту беседку, обрушится несчастье.

– Ну, может, это и пустяки.

– Ты думаешь?

Княжна искала успокоения, и, конечно, малейшее сомнение в возможности избежать для князя последствий прадедовского заклатья находило в ней желанную веру. Она отпустила Таню и легла, но долго не могла заснуть. Несмотря на некоторое утешение от слов Тани, мысль о том, что найдут в беседке и пройдёт ли это благополучно для князя Сергея Сергеевича, не давала ей долго сомкнуть глаз.

Не спала и Таня.

“Сам в пасть лезет, князюшка!” – думала она.

Решение князя Сергея нарушить заклятие предков в уме Тани подтверждало возможность плана, высказанного Никитой в роковую ночь их первого свидания...

Между тем князь Сергей Сергеевич вернулся к себе в Луговое в отвратительном состоянии духа, явившемся следствием той душевной борьбы, которая происходила в нём по поводу обещания, данного им княжне под влиянием минуты и охватившего его молодечества, ни за что не отступаться от него. Между тем какое-то внутреннее предчувствие говорило ему, что открытием заповедного павильона он действительно накликает на себя большое несчастье.

Он лёг спать, но сон бежал от его глаз. Когда он потушил свечу, ему явственно слышались тяжёлые шаги в его спальне и явилось ощущение, что кто-то приближается к его кровати. Князь дрожащими руками засветил свечу, но в комнате никого не было.

“Какое ребячество!” – подумал князь, однако свечи не погасил, и вошедший утром камердинер нашёл её оплывшею и ещё горевшею.

Князь спал видимо тревожным сном, забывшись на заре. Ему снился какой-то старец, одетый в боярский костюм и грозивший ему пальцем, который всё рос и наконец упёрся ему в грудь, так что князь чувствовал на ней тяжесть этого пальца. Словом, с ним был кошмар.

Проснулся князь с тяжёлой головой, был мрачен и, только вышедши на террасу, всю залитую весёлым солнечным светом, и вдохнув в себя

свежий воздух летнего утра, почувствовал облегчение.

Вскоре всё происшедшее вчера и даже всё случившееся ночью представилось ему совершенно в ином свете. Он стал припоминать свой разговор с княжной Людмилой и теперь уже не раскаивался, что дал ей обещание отворить заповедный павильон. Ведь это самое решение, высказанное им, выдало ему головой княжну Людмилу, открыло ему её чувство к нему.

“Как она испугалась, что со мной случится несчастье! – припоминал он. – Так испугаться может только девушка, которая любит! – И последнее слово чудной гармонией прозвучало у него в ушах, но он тотчас же подумал: – А как я вчера мальчишески струсил! Мне стало даже мерещиться что-то. Целую ночь я не сомкнул глаз, поневоле под утро мне стала сниться всякая чертовщина. Этот палец старика. И откуда может забраться всё это в голову?”

Вошедший лакей доложил князю о приходе управителя с докладом, и через несколько минут Терентьич уже стоял пред ним.

Это был древний, но ещё бодрый старик, с седой бородой и такими же волосами на голове, но с живыми глазами, глядевшими прямо и честно. Ещё при деде князя Сергея Сергеевича Терентьич служил в казачках и был предан всему роду князей Луговых, как верная собака. Он жил жизнью своих князей, радовался их радостями и печалился их печалью, был готов пожертвовать за них жизнью и перегрызть горло всякому, кто решился бы заочно отозваться о ком-нибудь из них с дурной стороны.

Степенно, твёрдым, хотя и старческим голосом, поклонившись князю поясным поклоном, Терентьич начал обстоятельный доклад о произведённых вчера работах и о намеченных на сегодня. Князь внимательно слушал, изредка затягиваясь трубкой.

– Всё, значит, идёт хорошо?.. – заметил он, когда управитель кончил свой доклад.

– Всё благополучно, ваше сиятельство.

Терентьич замолчал. Молчал некоторое время и князь. Наконец последний тряхнул головой, как бы отгоняя от себя назойливую мысль, и

произнёс:

– Вот что, Терентьич, сбей-ка народ в парк... Надо будет очистить место, где стоит старый павильон. Да и его надо отворить и вычистить внутри и снаружи. Слышишь?..

Князь Сергей Сергеевич, отдавая это приказание, не глядел на Терентьича. Когда же, не получая долго ответа, он взглянул на него, то увидел, что старик стоит пред ним на коленях.

– Что такое? Что тебе надо?

– Ваше сиятельство, послушайте старика, пса вашего верного, не делайте этого!..

– Что за вздор! Не век же самому лучшему месту парка быть в запустении и не век же стоять этому красивому павильону без всякой пользы и только нагонять страх на суеверных.

– Не губите себя, ваше сиятельство, – стоя на коленях, продолжал умолять старик.

– Встань, не глупи!.. Стыдись: ты стар, а веришь всяким бабьим рассказам... Вот увидишь сам, что в павильоне не найдётся ничего, кроме разве какого-нибудь хлама.

– Ваше сиятельство!.. – попробовал было снова начать свои убеждения Терентьич, но князь рассердился.

– Встань, говорю тебе, и делай, что тебе приказано... Я не люблю ослушников.

Старик покорно встал с колен и лаконически произнёс:

– Слушаю-с, ваше сиятельство.

– Так-то лучше, ступай и прикажи начать работы сейчас же!

Старик пошёл, но при уходе бросил на молодого князя взгляд, полный искреннего сожаления. На его светлых глазах блеснули слёзы.

На князя Сергея эта сцена произвела тяжёлое впечатление. Он стал быстро ходить по террасе, стараясь движением побороть внутреннее волнение, однако решился во что бы то ни стало поставить на своём и с нетерпением ожидал прибытия рабочих в парк.

Время шло, а рабочие не являлись. Князь уже взялся за звонок, чтобы

позвать лакея, как последний появился на пороге двери и доложил о приходе отца Николая, священника церкви села Лугового.

Это был тоже один из древних старожилов княжеской вотчины. Уже более полувека священствовал он в сельской церкви и считал себе лет под девяносто.

Он давно овдовел и был бездетен, жизнь вёл чисто монашескую и возбуждал в своей пастве к себе не только уважение, но и благоговение. Небольшого роста, с редкими, совершенно седыми волосами, в незатейливой крашенинной ряске, он по своему внешнему виду не представлял, казалось, ничего внушительного, но между тем при взгляде на его худое, измождённое лицо, всегда светившееся какой-то неземной радостью, невольно становилось ясно на душе человека с чистою совестью и заставляло потуплять глаза тех, кто знал за собою что-либо дурное. Его глаза, светло-карие и блестящие, глядели прямо в душу, и ничего-то от них не могло укрыться, так что его прозвали "провидцем" не только в Луговом, но и в округности, и издалека приезжали люди помолиться в церковь села Лугового и получить благословение, совет и утешение от отца Николая. Бывали случаи, когда он отказывал в них приезжавшим к нему, и всегда затем за этими лишёнными благословения отца Николая открывалось какое-нибудь очень дурное дело.

К его-то помощи и прибег Терентьич для вразумления молодого князя. Он прямо с барского двора погнал свою лошадку на село, явился пред лицом маститого "батюшки", вкратце передал ему об отданном молодым князем страшном приказании и со слезами на глазах просил отца Николая сейчас же пойти вразумить его сиятельство не готовить себе и своему роду гибели.

Отец Николай, конечно, знал о заклятии относительно неприкосновенности павильона-тюрьмы и вместе с другими верил в возможность несчастья, грозившего послушнику прадедовской воли, а потому сказал, что попробует вразумить князя.

Обрадованный Терентьич усадил отца Николая в свою тележку и погнал лошадку по направлению к княжескому дому. Таким-то образом и

случилось, что князь Сергей Сергеевич, нетерпеливо ожидавший рабочих, получил совершенно неожиданный доклад о приходе отца Николая.

“Этому что надо?” – с раздражением подумал князь, однако не принять его не решился.

Отец Николай с первого же свидания с ним произвёл на него то же впечатление, которое производил и на других. Быть может, оно не особенно укрепилось в душе князя, но всё же образ почтенного старца, служителя алтаря, внушал ему невольное уважение.

– Проси! – сказал он.

Через несколько минут на террасе появился отец Николай. Князь почтительно подошёл к нему под благословение и сам пододвинул стул старику.

Отец Николай сел и некоторое время хранил молчание, пристально смотря на князя Сергея Сергеевича, тоже севшего к столу.

Князю показалось это молчание целою вечностью.

– Что скажете, батюшка? – начал он.

Отец Николай откашлялся, заслоняя рот рукою.

– Духовный сын мой, Степан Терентьев, сейчас был у меня.

– Вероятно, жаловался на меня за то, что я задумал привести в порядок парк и почистить старый павильон!

– Порядок – дело хорошее, ваше сиятельство, но то, что веками сохранялось, едва ли следует разрушать, – начал отец Николай, но князь перебил его:

– Вы, батюшка, скажите мне без обиняков: верите вы сами в легенду об этом павильоне?

– Говорят, – ответил отец Николай после некоторой паузы, – что запрет на него положен для сохранения его из рода в род.

– Отец ничего не говорил мне об этом. Положим, я не присутствовал при его смерти – он умер в Москве, когда я был в Петербурге, в корпусе. Но мать умерла почти на моих руках и тоже ничего не сообщила мне об этом запрете.

– Всё-таки, по-моему, ваше сиятельство, лучше остеречься: это смутит крестьян.

– Почему смутит? – возразил князь. – Если там не найдут ничего, кроме старогохлама, в чём я почти уверен, то никакого смущения не будет и лишь уничтожится повод к суеверию. Затем, если даже там найдут тех, о которых говорит старая сказка, то и тогда я совершаю этим далеко не дурное дело. Они оба искупили свою вину строгим земным наказанием, за что же они должны быть лишены погребения и их кости должны покоиться без благословения в этом каменном мешке? Вы, как служитель алтаря, можете осудить их на это?

– Нет, не могу... – с усилием произнёс священник.

– Вот видите, батюшка! Значит, во всяком случае должно открыть павильон. Вы приехали к стати. Если в самом деле там найдутся человеческие кости, мы положим их в гробы, вы благословите их и похороните на сельском кладбище.

Отец Николай сидел в задумчивости, а затем произнёс:

– А если от этого приключится что-нибудь дурное для вас, как говорит предание? Подумайте, ваше сиятельство!

– Полно, батюшка! Вы под влиянием народных толков и в заботе обо мне забыли слова Писания о том, что ни один волос с головы человеческой не спадёт без воли Божией.

Отец Николай ничего не отвечал и сидел с поникшей головой. Его положение было из затруднительных. Как старожил этой местности, он невольно разделял некоторые предубеждения своей паствы, основанные на преданиях, во главе которых стояло заклятие из рода в род на неприкосновенность старого павильона. Он верил чистою верою ребёнка в это заклятие, но редко думал о нём и ещё реже рассуждал по этому поводу. Он был убеждён, что никто из князей Луговых не решится нарушить его, тем более что для этого не могло быть никаких серьёзных причин, кроме разве праздного любопытства. Теперь князь поставил вопрос, совершенно неожиданный и непредвиденный им. Действительно, если внутренность павильона не подтвердит сложившейся о нём легенды,

то уменьшится один из поводов суеверия; если же там найдутся останки несчастных, лишённых христианского погребения, то лучше поздно, чем никогда, исправить этот грех. Ни против того, ни против другого возражения молодого князя не мог ничего ответить отец Николай как служитель алтаря, а потому и умолк.

Князь между тем приказал позвать Терентьича.

Старик бодро вошёл на террасу в уверенности, что сейчас князь отменит страшное приказание, а потому широко раскрыл глаза, когда князь встретил его довольно сурово.

– Что я тебе приказал? – крикнул он. – Я велел тебе собрать рабочих для расчистки парка, а ты побежал жаловаться на меня батюшке.

– Виноват, ваше сиятельство, я думал... – дрожащим от волнения голосом произнёс старик.

– То-то “виноват”! Но чтобы впредь этого не было. Твоя обязанность не думать, а исполнять мои приказания. Мы с батюшкой решили оба присутствовать при вскрытии павильона.

Терентьич был совершенно уничтожен последними словами князя. Он перевёл недоумевающий, печальный взгляд с князя на отца Николая и встретился с его ясным взглядом.

– Да, сын мой, и в Писании сказано: “Рабы, повинуйтесь господам своим”.

– Ступай и исполняй, что приказано! – повторил князь.

Окончательно поражённый, старик вышел.

“Вот оно что!.. Господи Иисусе, и отец Николай ничего не поделал... тоже на руку его сиятельству погнул”, – рассуждал он сам с собою.

Когда он приехал в деревню и отдал приказание идти работать в княжеский парк для очистки павильона, крестьяне, наряженные на эту работу, были прямо ошеломлены.

– Господи, Иисусе Христе, да ведь нельзя этого, Терентьич, никогда мы это делать не станем, пока крест на шее имеем. Освободи, будь отец милостивый!

– Таков княжеский приказ, – объяснил управитель.

– Князь что! Князь молод... Ты вразумил бы его, – заметили некоторые из крестьян.

– Пробовал уже, православные, а он: “Ломай, – говорит, – да и весь сказ!”

– Дела. А нас всё же освободи! – настаивали крестьяне.

– Как же я вас освобожу, если князь сказал, что это надо делать беспрерывно сейчас... Отец Николай у него, так при нём чтобы.

– Отец Николай?.. Благословляет, значит? Тогда нечего и толковать, православные... Отец Николай даром не благословит.

Хотя отец Николай действительно не благословил работ, а лишь сказал о повиновении рабов господину, но Терентьич пошёл на эту ложь, так как по угрюмым лицам крестьян увидал, что они готовы серьёзно воспротивиться идти на страшную для них работу. Имя отца Николая должно было, по мнению Терентьича, изменить их взгляд, и он не ошибся.

Известие о том, что будут ломать страшный павильон, с быстротою молнии облетело всё село. Крестьяне заволновались; но когда передававшие это известие добавляли, что при этом будет присутствовать сам отец Николай, волнение мгновенно утихло, и крестьяне, истово крестясь, степенно говорили: “Видно, так и надо”, – и вскоре наряженные на работу в княжеском парке крестьяне тронулись из села. За ними отправились любопытные.

Князь Сергей сошёл с отцом Николаем в парк и направился к тому месту, где стоял павильон-тюрьма.

– Самое лучшее место в парке, – говорил он, пробираясь через чащу деревьев к павильону, – а вследствие людского суеверия остаётся целую сотню лет в таком запустении.

Оба они подошли к павильону на полянке, заросшей густой травой. Тень от густо разросшихся кругом деревьев падала на нижнюю половину павильона, но его верхушка, с пронзённым стрелой сердцем на шпиле, была вся озарена солнцем и представляла красивое и далеко не мрачное зрелище.

– Какое красивое здание! – невольно воскликнул князь.

Отец Николай задумчиво произнёс:

– Неужели оно действительно строено по внушению злобы?

– Я убеждён, батюшка, что это выдумки...

– Посмотрим, князь; те соображения, которые вы высказали мне, заставили умолкнуть мои уста, на которых была просьба оставить эту, как мне казалось, бесцельную затею, могущую, неровен час, действительно быть губительною для вас. Но теперь я изменил своё мнение и благословляю начало работы.

В это самое время к месту, где находился павильон, прибыли рабочие-крестьяне с Терентьичем во главе. Сюда же явились и садовники.

– Позвать слесаря! – распорядился князь. – А вы, ребята, расчищайте-ка дорожку, которая должна соединиться с ведущей сюда дорожкой парка, повычистите отсюда весь мусор, да живо принимайтесь за работу. Садовники укажут, что делать.

Двенадцать прибывших крестьян и четверо садовников молча выслушали приказание и все обратили свои взоры на отца Николая, стоявшего рядом с князем.

– Благослови вас Господь! – твёрдым голосом произнёс тот.

Работы по очистке аллеи начались. Вскоре снова явился Терентьич и привёл слесаря с инструментом. Последний шёл за управителем испуганный и бледный. Князь невольно вздрогнул и как-то инстинктивно с умоляющим взором обернулся к отцу Николаю.

– Успокойся, сын мой, – сразу понял священник немую просьбу князя и подошёл к неподвижно стоявшему слесарю, – надеюсь, ты веришь своему духовному отцу. Я благословляю тебя.

Отец Николай перекрестил слесаря, и тот сразу ободрился.

– Надо сломать этот замок, – указал князь ему на громадный замок, висевший на двери павильона.

– Слушаю-с, ваше сиятельство! – с дрожью в голосе ответил слесарь и быстро бросился к двери.

Прошло томительных полчаса, пока наконец тяжёлый замок был отперт.

Но петля, на которой бы надет железный болт, так заржавела, что его пришлось выбивать из неё молотком. Последним пришлось расшатывать и болт.

Наконец тот упал с каким-то визгом, похожим на человеческий стон.

Все невольно вздрогнули и на мгновение как бы оцепенели. Первым пришёл в себя князь Сергей Сергеевич.

– Отворяй! – крикнул он слесарю.

Тот потянул за скобку окованной железом двери, но она не поддавалась.

Князь приказал позвать на помощь рабочих, расчищавших парк, и под усилиями пяти человек дверь поддалась и распахнулась.

Рабочие отскочили, попятились и князь, и отец Николай, и Терентьич, несмотря на то, что стояли в отдалении.

В первые минуты в раскрытую дверь павильона не было видно ничего. Из него клубом валила пыль какого-то тёмно-серого цвета. Пахнуло чем-то затхлым, спёртым.

Отец Николай истово перекрестился, его примеру последовали и другие, в том числе и князь Сергей Сергеевич.

Когда пыль наконец рассеялась, он, в сопровождении отца Николая и следовавшего сзади Терентьича, приблизился к павильону.

То, что представилось им внутри, невольно заставило их остановиться на пороге. На каменном полу, покрытом толстым слоем пыли, прислонившись к стене, прямо против потайной двери, полулежали, обнявшись, два скелета. Их кости были совершенно белы, и лишь на черепках виднелись клочки седых волос.

Какую страшную иронию над взаимною любовью, над пылкой страстью людей, увлекающихся и безумствующих, представляли эти два обнявших друг друга костяка, глазные впадины которых были обращены друг на друга, а рты, состоявшие только из обнажённых челюстей с оскаленными зубами, казалось, хотели, но не могли произнести вслух во все времена исторической и доисторической жизни людей лживые слова любви!

Все остановились ошеломлённые, уничтоженные открывшейся пред ними картиной. Основная часть легенды, таким образом оказалась истинной:

павильон действительно служил тюрьмой-могилой для двух человеческих существ.

Весть о страшном открытии князя тотчас облетела всех рабочих, и они, пересилив страх пред могущим обрушиться на них гневом князя, собрались толпой у дверей павильона.

Когда первое впечатление рокового открытия прошло, Сергей Сергеевич упавшим голосом обратился к отцу Николаю:

- Батюшка, что нам делать?
- Предать их земле, – спокойно ответил священник.
- Затворите дверь! – приказал князь.

После некоторого замешательства два смельчака исполнили это приказание.

– Прикажи сейчас же сделать два гроба! – обратился князь к Терентичу. – А очистку сада продолжать. Батюшка, позвольте просить вас ко мне, пока всё приготовят.

Рабочие под наблюдением садовников принялись за работу, гуторя между собой о страшной находке. Любопытные из крестьян бросились обратно в село, чтобы рассказать о слышанном и виденном.

Князь, посоветовавшись с отцом Николаем, отдал приказание вырыть могилы у церкви близ родового склепа князей Луговых. На него эта находка произвела тяжёлое впечатление; теперь, когда дело было уже сделано, в его сердце невольно закралось томительное предчувствие о возможности исполнения второй части легенды, то есть кары за нарушение дедовского заклатья. Для того чтобы скрыть своё смущение, он начал беседовать с отцом Николаем о делах, не относившихся до сделанного ими рокового открытия в павильоне.

Часа через два было доложено, что гробы сколочены, и все снова отправились к павильону. Там костяки были бережно уложены рабочими в гробы, отнесены на сельское кладбище и после благословения их отцом Николаем опущены в приготовленные могилы. К вечеру того же дня часть парка, прилегающая к беседке, и сама беседка были вычищены.

VII. В МОГИЛЕ ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫХ

Известие об открытии князем заповедного павильона и о найденных двух скелетах в тот же вечер достигло Зиновьева. Княгиня Васса Семёновна и княжна Людмила сидели в это время за вечерним чаем. Новость, полученную из Лугового, сообщила им Федосья.

– Сумасшедший, зачем он это сделал! – воскликнула княгиня.

Княжна вся вспыхнула, а затем страшно побледнела.

– Ты знаешь? – воззрилась на неё мать.

Княжна рассказала свой вчерашний разговор с князем.

– Безумец! Надо было упросить его, чтобы он этого не делал, убедить его. И зачем ты не сказала мне об этом вчера при нём? Я переговорила бы с ним, как мать, а ты что! Самой интересно было знать, что в этом проклятом павильоне? Ах, молодёжь, молодёжь! Ничего-то у них нет святого!

Княжна молча потупилась, чувствуя правду в словах матери, а Федосья, стоя за стулом княгини, одобрительно качала головой.

– Ни за что ни про что! – продолжала Васса Семёновна. – Ни за понюх, что называется, табака беду на себя накликать. И ты туда же! Ведь и на тебя беда-то эта может обрушиться.

– На меня? – испуганно спросила княжна Людмила.

– Конечно же и на тебя. Сама ведь понимаешь, что не даром князь к нам зачастил. Не нынче-завтра предложение сделает, ты замуж за него выйдешь, и он не чужой человек тебе будет... И вдруг что-либо случится.

– Мама... – умоляюще почти простонала княжна Людмила.

Княгиня оборвала свою речь, поняв, что зашла слишком далеко в своих мрачных предсказаниях! Она ведь могла напугать дочь так, что та ни за что не согласится выйти замуж за обречённого на несчастье князя. Хотя княгиня внутренне была обеспокоена поступком князя и могущими быть последствиями, но видеть в этом поступке препятствие к его браку с дочерью, браку, мечта о котором была теперь так близка к

осуществлению, не решалась. Надежда, что, быть может, всё это обойдётся благополучно, закралась в её сердце и несколько успокоила.

– Ну, ну, не пугайся, – мягко продолжала она, – может быть, ничего и не случится. Я только говорю, какое ребячество!.. Чай пить будет в этом павильоне, меня пригласил. Да я ни за что и близко к нему не подойду.

– Теперь и сам князь этого не предложит, – степенно заметила Федосья.

– Конечно же, конечно... – подтвердила оправившаяся княжна.

Княгиня не отвечала. Она занялась своей чашкой чая. Княжна тоже умолкла. Обе были погружены в свои мысли, но они вертелись у одного пункта – князя Лугового.

– Мы завтра всё же поедem, мама? – первая нарушила молчание княжна Людмила, причём произнесла этот вопрос упавшим голосом и обратила на свою мать взор, полный немой мольбы.

– Конечно, поедem, отчего же не ехать? – ответила княгиня.

Людмила облегчённо вздохнула: она очень опасалась, чтобы мать, рассердившись на князя, не отменила поездки.

Поездка теперь в Луговое представляла для неё двойной интерес. Несмотря на то, что слова матери снова подняли в душе княжны мрачные опасения за будущее, любопытство увидеть павильон превозмогло тот страх, который княжна Людмила чувствовала к нему после рассказа о сделанной в нём роковой находке.

“Это он сделал для меня”, – мелькало в уме княжны, как самое лучшее оправдание безумного поступка князя Сергея.

Ни княгиня, ни княжна не спали хорошо эту ночь и до самого отъезда на другой день в Луговое были в нервно-напряжённом настроении.

Наконец мать и дочь сели в карету и поехали в Луговое.

Князь встретил дорогих гостей на крыльце своего дома. Он был несколько бледен. Да это было и немудрено, так как он не спал почти целую ночь.

После того как место парка около павильона-тюрьмы было приведено в порядок и сам павильон вычищен, князь Сергей сам осмотрел окончательные работы и приказал оставить дверь отворённой.

Вернувшись к себе, он выпил своё вечернее молоко и сел было за тетрадь хозяйственного прихода-расхода, но долго заниматься не мог – цифры и буквы прыгали перед его глазами. Князь приказал подать себе свежую трубку и стал ходить взад и вперед по своему кабинету. Его нервы были страшно возбуждены. Два скелета, найденные им, стояли перед ним неотступно. Он приказал оседлать себе лошадь, помчался, куда глядят глаза, скакал до полного изнеможения и вернулся домой только к вечеру. Однако, несмотря на сделанный моцион, есть он не мог.

Выкурив на сон грядущий трубку в своём кабинете, князь удалился в спальню и заснул.

Вдруг он был разбужен тремя сильными ударами, раздавшимися в стене, прилегавшей к его кровати. То, что представилось его глазам, так поразило его, что он остался недвижим на своей кровати. Князь почувствовал, что не может пошевелинуть ни рукой, ни ногой, хотел кричать, но не мог издать ни одного звука.

Вся спальня была наполнена каким-то белым фосфорическим светом. У самой его кровати стоял тот самый старый боярин, который являлся ему во сне прошлой ночью, причём был как живой. Князь даже уловил некоторое сходство стоявшего с его отцом и с ним самим.

– Ты нарушил положенное мною заветное, – сказал призрак, – твоё спасение в любимой тобою девушке. Береги её. Адские силы против вас. Голос призрака, казалось, шёл из пространства, он не шевелил губами, произнося слова, смотрел на князя строгим, суровым взглядом и, едва окончив свою речь, мгновенно исчез. С его исчезновением потух и фосфорический свет, наполнявший спальню князя.

К последнему между тем возвратилась способность движения. Первым его делом было вскочить и зажечь свечу. В спальне, конечно, не было никого, и дверь в кабинет была плотно затворена.

“Неужели это был сон?” – мелькнуло в голове князя, но он тотчас отбросил эту мысль.

Троекратный стук, которым он был разбужен, ещё до сих пор отдавался в его ушах. Присутствие старого боярина было для него так ясно, что он не

только видел его, но ощущал всем своим существом это его присутствие в комнате, а сказанные им слова глубоко запали в его памяти.

– “Ты нарушил положенное мною завет, твоё спасение в любимой тобой девушке. Береги её! Адские силы против вас!” – несколько раз повторил князь Сергей Сергеевич слова призрака, и его сердце болезненно сжалось: значит, опасность стережёт не его одного, а и княжну Людмилу.

При этой мысли князь почувствовал в организме приток свежих сил. О, он не даст в обиду княжны! За неё он готов бороться даже с адскими силами. Надо поскорей получить право быть её настоящим защитником, надо сделать предложение, но прежде объяснить с ней самой.

Это решение не только совершенно успокоило князя, но даже окрылило надежды на радужное будущее. Если действительно его предок вышел из гроба и явился к нему, то, несомненно, из его слов можно заключить, что он не очень рассержен за нарушение им, князем Сергеем, его векового завета; иначе он был бы грозней, суровее и не предостерегал бы его от беды, которая висит над головою любимой им девушки.

“Твоё спасение в любимой тобой девушке”, – эти слова призрака с особым внутренним удовлетворением вспоминал князь Сергей. Он видел в них благословение предка на брак с княжной Людмилой, благословение, дать которое явился выходец из могилы. Было ли в этом какое-либо дурное предзнаменование? Этот вопрос князь решил отрицательно. Впрочем, он после долгого размышления нашёл нужным скрыть от княжны Людмилы его ночное видение. Она, как ещё очень молодая девушка, естественно может придать преувеличенное значение таинственному явлению и сообщению с того света, это напугает её и даже может отразиться на её здоровье. Кроме того, происшествие минувшей ночи касается исключительно его, князя. Ему поручено оберегать любимую девушку, от неё зависит его спасение. С какой же стати ему говорить ей о грозящей опасности?

Рассудив всё так, князь начал свой день обычным образом, отдав приказание людям приготовить к пяти часам вечера чай на террасе.

“Я обещал княжне пить чай в павильоне... Но это невозможно... До Зиновьева, вероятно, уже успело дойти известие о вчерашней находке, а потому она поймёт”, – мелькнуло в голове князя.

Он всецело отдался приготовлению к вечернему приёму желанных гостей: лично отправился в великолепные оранжереи, чтобы выбрать лучшие фрукты, и долго совещался с главным садовником по поводу двух букетов, которые должны были красоваться на чайном столе пред местами, назначенными для княгини и княжны.

Из оранжереи князь пошёл бродить по парку и незаметно для себя направился именно к тому месту парка, которое было расчищено вчера по его приказанию.

Заросшую часть парка нельзя было узнать. Вычищенные и посыпанные песком дорожки, подстриженные деревья – ничто, казалось, не напоминало о диком, заросшем, глухом, таинственном месте, где над кущей почти переплетавшихся ветвями деревьев высился шпиль заклёпанного павильона с пронзённым стрелой сердцем. Только одно это здание, каменно-железный свидетель давно минувшего, которое нельзя было совершенно изменить и преобразить волею и руками человека, указывало, что именно на этом месте веками не ударял топор и по траве не скользило лезвие косы.

Но и сам павильон всё же несколько изменился и сбросил с себя большую часть таинственности. Это произошло отчасти оттого, что окружающая сумрачная местность стала более открытой и не бросала на павильон мрачной тени, и, наконец, оттого, что была отворена дверь, вымыты полы, стёкла и даже стены.

Павильон как будто даже манил к себе гуляющего.

Такое, по крайней мере, впечатление произвёл он на князя Сергея. Он совершенно спокойно вошёл в него и не смущаясь опустился на одну из двух поставленных по его же приказанию скамеек.

Внутри павильона было положительно уютно. Ничто не говорило о смерти, несмотря на то, что только вчера отсюда были вынесены останки жертв разыгравшегося здесь эпилога страшной семейной драмы,

несмотря на то, что это здание несомненно служило могилой двум возлюбленным.

Быть может, именно эта их любовь и смягчала впечатление их смерти. Любовь не умирает; она всегда говорит о жизни, она – сама жизнь.

Наконец князь вернулся домой, а вскоре приехала и княгиня Полторацкая с дочерью. Сергей Сергеевич провёл дорогих гостей на террасу, где был изящно и роскошно сервирован стол для чая.

– Зачем всё это? Мы запросто, – заметила княгиня, всё же окидывая довольным взглядом сделанные приготовления, доказывавшие, что она с дочерью в доме князя – действительно дорогие, желанные гости.

– Помилуйте, княгиня, для меня сегодня праздник! – И князь выразительно посмотрел на Людмилу.

Последняя покраснела, а княгиня, перехватив этот взгляд, улыбнулась и села на приготовленное для неё место за самоваром. Княжна села рядом с князем.

– А вы тут что, князь, набедокурили? – начала княгиня. – На всю окрестность страх нагнали... Зачем вам понадобилось тревожить неприкосновенность старого павильона?

– А, вы об этом, княгиня! В чём же тут бедокурство?

– Ах, князь, я ещё смягчила название вашего поступка. Согласитесь, что это безумие – так negliжировать семейные преданья. Вы ведь знали, что на этот павильон было наложено вековое заклятие.

– Знал, то есть слышал, хотя мне лично ни мой отец, ни моя мать не говорили серьёзно ничего подобного.

– Странно!

– Они, вероятно, и сами не считали это серьёзным. Я, напротив, взглянул на это дело серьёзнее их и других своих предков и вчера, прежде чем приступить к работе, высказал свой взгляд отцу Николаю, и в его присутствии и с его благословения открыли павильон.

– Вот как? Я этого не знала... Что же вы сказали ему?

Сергей Сергеевич в коротких словах передал княгине свой вчерашний разговор с отцом Николаем.

Княгиня Полторацкая была одной из самых ярых почитательниц луговского священника, а потому для неё участие отца Николая в казавшейся ей до сих пор безумной затее князя делало последнюю иной, освещало её в смысле почти богоугодного дела.

– Вот как? Это – другое дело!.. Как же всё это произошло? – уже совершенно другим, мягким тоном спросила она.

Князь начал подробный рассказ о вчерашних работах, и особенно о моменте, когда отворили павильон и глазам присутствующих представилась картина двух сидевших в объятиях друг друга скелетов.

– Ах, какой ужас! – почти в один голос воскликнули княгиня Васса Семёновна и княжна Людмила, до сих пор молча слушавшая разговор матери с князем и рассказ последнего.

– Павильон теперь совершенно вычищен и неузнаваем... Я не решился приказать подать туда чай только потому, что всё же с ним соединены тяжёлые воспоминания... – И князь, как бы извиняясь, взглянул на Людмилу.

– Вот что ещё выдумали, да я и близко не подойду к нему, а не то что пить чай... Глоток сделать нельзя было бы... Всё они мерещились бы, – заволновалась княгиня.

– Я говорю это потому, что третьего дня, разговаривая с княжной, я обещал ей сегодня пить чай именно в этом павильоне.

– Говорила мне она, говорила об этом... Я даже совсем не хотела по этому случаю ехать к вам, да потом подумала, что вы будете настолько благоразумны, что этого не сделаете.

– Я действительно, не решился на это. Но пройтись посмотреть на павильон не мешает; вы совершенно не узнаете ни того места, где он стоял, ни самого павильона.

Князь, говоря последнюю фразу, более обращался к княжне.

– Это интересно, – ответила Людмила.

– Может быть, тебе это и интересно, но я ни за что не пойду туда... Идите вы, если хотите, я посижу здесь и подожду вас, вечер так хорош! – воскликнула княгиня.

Радостная улыбка появилась на лице князя Сергея при этом позволении. Он с мольбой взглянул на княжну Людмилу и заметил промелькнувшую на её лице довольную улыбку.

Позволение матери пришлось ей, видимо, по сердцу.

Молодые люди поспешили кончить свой чай и, оставив княгиню любоваться картиной залитого красноватым отблеском солнечных лучей парка, спустились по отлогой лестнице террасы и пошли по разбитому перед нею цветнику.

Последний состоял из затейливых клумб, газонов и цветущих кустарников и с террасы виднелся как на ладони, а потому княгиня Васса Семёновна могла довольно долго любоваться идущей парочкой.

Радостная, самодовольная улыбка играла на губах княгини. Судьба дочери устраивалась на её глазах, согласно её желанию. Тревоги об этой судьбе, уже с год как змеёй вползшие в её сердце, исчезли. Молодой князь, видимо, по уши влюбился в её дочь, и предложение с его стороны было вопросом лишь очень близкого времени.

Между тем князь Сергей и княжна Людмила прошли цветник и повернули в одну из аллей парка. Они шли прямо к тому месту, где высился заветный павильон, верхняя часть которого была красиво освещена красноватым отблеском солнечных лучей.

– Вот видите, князь, я была права, говоря, что легенда о павильоне – не сказка, – заметила княжна.

– Признаюсь вам, что я сам то же думал. Я был почти убеждён, что найду в нём этих несчастных.

– Зачем же вы открыли павильон? – удивилась княжна.

– Именно потому и открыл, что знал, что найду там...

– Я вас не понимаю.

– Однако отец Николай понял меня.

– Для того чтобы предать их земле?

– Да, это одна из причин, но не единственная, хотя для отца Николая она оказалась достаточной.

– Значит, есть и другая?.. Какая же? Это не секрет?

– Для вас – нет.

Они уже дошли до выхода на полянку, среди которой высился павильон. Княжна вдруг остановилась.

– Мне страшно.

– Чего вы боитесь?.. Посмотрите, как изменились и само место, и павильон.

– Это так-то так, но всё-таки, – сказала княжна и взяла его под руку.

Князь повёл её, чувствуя, как дрожала её рука.

Они вошли в павильон, внутренность которого уже не представляла ничего страшного, усадил княжну на скамейку и сел рядом.

– Так вы хотите знать другую причину того, что если мы хотя и не пьём чая сегодня в этом павильоне, то всё-таки сидим в нём? Извольте, я скажу. Причина следующая: в те дни, когда над этим домом, над этим парком и надо мною должна заняться заря нового счастья, я не хотел, чтобы здесь оставался памятник семейного несчастья моего предка, которое он увековечил ужасным злодеянием...

Княжна Людмила не сразу поняла Сергея Сергеевича. Она некоторое время смотрела на него недоумевающе-вопросительно. Однако его взгляд, полный любви и восторжённого благоговения, казалось, пояснил ей его туманную фразу, и она, вдруг покраснев, опустила глаза.

На лице князя тоже заиграл румянец. Он взял за руку Людмилу и произнёс:

– Здесь, в этой недавней могиле заживо погребённых, которая является не обыкновенным памятником победы смерти, а скорее памятником победы любви, именно здесь, княжна, я хочу заговорить с вами об этом чувстве... Я люблю вас, люблю безумно, беззаветно!.. – И князь опустился на колени пред Людмилой.

Она сидела, низко опустив голову, и молчала.

– Княжна... Людмила... – с мольбою начал князь.

Людмила Васильевна протянула ему руки, но вдруг вскочила со скамейки.

– Не здесь, не здесь!

Князь торопливо встал, но Людмила уже успела выбежать из павильона и пошла по направлению одной из тенистых аллей парка. Князь догнал её и пошёл с нею рядом.

Некоторое время они шли молча.

– Княжна, простите, я... я обидел вас своим признанием?.. – начал Сергей Сергеевич.

Княжна обернула к нему своё лицо; на её чудных глазах блеснули слёзы.

– Княжна, вы плачете, – сам со слезами в голосе начал Луговой. – Простите, я не знал, что это может обидеть вас.

– Не то, князь, не то, – дрожащим голосом произнесла Людмила и пошатнулась, так что, если бы князь не поддержал её, она упала бы.

Он бережно довёл её до ближайшей скамейки и усадил.

– Что с вами, княжна, скажите... О чём вы плачете?

– Ни о чём... Мне там показалось вдруг так страшно...

– Так это не потому, что я позволил себе?.. – начал князь, обрадованный и ободрённый.

– Нет, нет... Что же тут обидного, если я сама...

– Княжна, Людмила, дорогая! – схватил её обе руки Луговой и стал покрывать их горячими поцелуями.

Княжна не отнимала рук. Она сидела, низко опустив голову, так что когда он поднял свою, чтобы посмотреть на неё, то их лица оказались так близко друг от друга, что невольно их губы встретились и слились в жарком поцелуе.

В этот самый момент где-то в глубине парка раздался резкий, неприятный смех. Влюблённые отскочили друг от друга, и стали оба испуганно озираться.

– Это там, – чуть не в одно слово сказали они.

Им обоим показалось, что смех раздался в стороне старого павильона.

– Это сова, – сказал князь Сергей Сергеевич.

– Сова! – упавшим голосом повторила княжна. – Боже мой, как всё это странно!

– Мы просто оба нервно настроены... Вот и вся причина... Успокойтесь,

дорогая моя! – и князь, взяв руку Людмилы, поднёс её к своим губам. – Успокойтесь, я около вас и всегда буду на страже.

Он вспомнил своё ночное видение и вздрогнул, но тотчас же вернул себе самообладание.

– Что с тобою? – вырвалось у княжны Людмилы.

При этом первом сказанном невзначай сердечном “ты” князь забыл все видения, откинул все опасения за будущее, подвинулся к Людмиле и привлёк её к себе.

– Дорогая, милая, хорошая.

Она доверчиво положила свою головку на его плечо, точно позабыв за минуту щемившее её сердце томительное предчувствие, недавний страх и этот вдруг раздавшийся адский хохот.

Он и она были счастливы настоящим. Для них не существовало ни прошедшего, ни будущего.

Княжна очнулась первая от охватившего их очарования.

– Что скажет мамаша?.. Мы так долго! – прошептала она.

– Завтра я буду в Зиновьеве, чтобы просить у княгини твоей руки, – сказал князь.

– Милый...

Луговой подал княжне руку, и они так дошли до конца аллеи, примыкавшей к цветнику.

При входе туда Людмила высвободила свою руку, и они пошли рядом.

– Что вы так долго? – пытливо смотря на дочь, деланно строгим тоном спросила княгиня, от зоркого глаза которой не ускользнуло пережитое молодой девушкой волнение.

– Мы обошли весь парк... – сказал князь, причём его голос дрогнул.

– А-а... – протянула княгиня. – Однако пора и восвояси. Прикажите подавать лошадей!

Лошади были тотчас поданы. Князь проводил княгиню и княжну до кареты.

– До свидания, – сказала княгиня.

– До скорого!.. – с ударением ответил князь, простившись с Людмилой

взглядами, которые были красноречивее всяких слов.

Когда карета покатила по дороге в Зиновьево, княгиня спросила дочь:

– Не скажешь ли ты мне чего-либо, Люда?

– Он приедет завтра, мама, – чуть слышно ответила княжна.

– Вот как? Может быть, ты мне скажешь, зачем он приедет?

– Он будет просить моей руки.

– А сегодня просил у тебя? Это по-модному, по-петербургски, – с раздражением в голосе заметила княгиня.

– Мама, ты сердишься? – подняла голову княжна Людмила.

– А ты думаешь, шучу? У нас это не так водится; не для того я его с тобою иногда одну оставляла, чтобы он пред тобою амуры распускал. Надо было честь честью сперва ко мне бы обратиться; я попросила бы время подумать и переговорить с тобою, протянула бы денька два-три, а потом уж и дала бы согласие. А они – на-поди... столковались без матери. “Он завтра приедет просить моей руки”. А я вот возьму да завтра не приму.

Княгиня серьёзно рассердилась на такое нарушение князем освящённых обычаев старины, но радость, что всё же так или иначе цель достигнута, превозмогла её, и Вассе Семёновне очень хотелось подробно расспросить дочь.

– Но ведь это случилось так нечаянно, – точно угадывая мысли матери, жалобно продолжала княжна.

Княгиня Васса Семёновна окончательно смягчилась.

– Ну его, Бог его простит! Шалый он, петербургский.

– Дорогая мамаша!

Княжна схватила руку матери и горячо поцеловала её.

– Ну, расскажи, плутовка, как это так нечаянно случилось? – погладила княгиня опущенную головку дочери.

Людмила начала свой рассказ. Она подробно рассказала, как они пришли и сели в этот вновь открытый павильон.

– И ты не боялась?

– Да, потом, мама, мне сделалось вдруг страшно, – ответила княжна и

передала матери форму, в которой Луговой начал ей признание в любви в павильоне.

– Ну, не права ли я, что он – шалый, нашёл место! – воскликнула княгиня Васса Семёновна.

– Но, мамочка, ведь я и ушла. А потом случилось страшное обстоятельство.

Княжна покраснела. Ей надо было передать предложение, признание князя и тот поцелуй, которым они обменялись, но княжна Людмила решила не говорить о последнем матери. Это было не страхом перед родительским гневом, а скорее инстинктивным желанием сохранить в неприкосновенной свежести впечатление первого поцелуя, данного ею любимому человеку.

– Что же случилось? – нетерпеливо спросила княгиня.

Княжна рассказала, что когда князь окончил признание, то вдруг раздался резкий хохот.

– Хохот? – испуганно переспросила княгиня, побледнев.

– Да, хохот, мама, и такой неприятный! Нам обоим показалось, что он был слышен со стороны... этого павильона, – с дрожью в голосе подтвердила княжна.

– И вы действительно оба слышали его? Впрочем, что же я спрашиваю. Какой-то странный звук слышала и я; он раздался именно с той стороны парка.

– Князь сказал, что это сова.

– Сова? А, знаешь ли, он, может быть, и прав. Мне самой показалось, что это был крик совы.

Собственно говоря, княгине ничего подобного не показалось, но она ухватилась за это предположение князя Сергея Сергеевича с целью успокоить не только свою дочь, но и себя. Хотя и крик совы, совпавший с первым признанием в любви жениха, мог навести суеверных на размышление – а княгиня была суеверна, – но всё-таки он лучше хохота, ни с того ни с сего раздавшегося из рокового павильона. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Княгиня и выбрала.

– Но почему же, мама, сова крикнула всего один раз? – озабоченно спросила Людмила.

– Да потому, матушка, что ей, вероятно, хотелось крикнуть только один раз, – с раздражением в голосе ответила княгиня.

Этот вопрос дочери нарушил душевное равновесие Вассы Семёновны. Остановившись на крике совы, она несколько успокоилась, а тут вдруг совершенно неуместный, но вместе с тем и довольно основательный вопрос дочери. Княгиня начала снова задумываться и раздражаться. К счастью, карета въехала на двор княжеской усадьбы и остановилась. Княгиня и княжна молча разошлись по своим комнатам.

Таню, пришедшую в комнату княжны Людмилы, последняя встретила радостным восклицанием:

– Таня, милая Таня, он меня любит!

– Сказал?

– Да, Таня, и как было страшно!

– Страшно? – удивлённо взглянула на неё Таня. – Что же тут страшного? Людмила подробно рассказала ей свою прогулку с князем по парку, начало объяснения в павильоне и крик совы после окончания объяснения на скамейке аллеи.

– Ха-ха-ха! – захохотала Таня.

Княжна вздрогнула. В этом хохоте ей вдруг послышалось сходство с хохотом, раздавшимся несколько часов тому назад в княжеском парке. Впрочем, это было на минуту; княжне самой показалась смешной мелькнувшая в её голове мысль.

– Чему ты смеёшься? – спросила она. – Я не понимаю.

– Как же, барышня, не смеяться? Совы испугались, точно маленькие дети!

– Если бы ты слышала!

– Сколько раз слыхала. Да и вместе с вами.

– Действительно, я тоже слыхала, но, значит, это вследствие другой обстановки.

– Расчувствовались... да развежились.

Княжна густо покраснела. Она вспомнила о подаренном ею князю поцелуе.

– Он говорил с княгиней? – спросила последняя.

– Он придет завтра делать предложение.

– Что же, поздравляю.

Княжне опять показалось, что её подруга высказала это поздравление слишком холодно, но она снова осудила себя за подозрительность.

“Чего ей не радоваться? Если мы поедem в Петербург, я возьму её с собою, – мелькнуло в голове княжны, – ей будет веселее в большом городе”.

Она сейчас же высказала эту мысль Тане.

– Ваша барская воля, – ответила та.

– Опять, Таня... А разве самой тебе не хочется?

– Мне всё равно... Где ни служить – в деревне ли, в городе...

– Но там же веселей.

– Господам. А какое веселье холопкам? Одна жизнь!..

– Опять ты за старое! “Холопка”! Какая ты холопка? Ты мой лучший друг.

– В деревне. А вот в городе у вас найдутся друзья богатые и знатные, вам ровня... Что я...

– Ты нынче опять не в духе.

– С чего же мне быть в духе? Я говорю, что думаю. Вы заняты другим, не думаете о жизни, а я думаю.

– Довольно, Таня. Я не хочу сегодня ни говорить, ни думать ни о чём печальном.

Княжна переделась и пошла к ужину, а Таня вернулась к себе в комнату. Тут её лицо преобразилось. Злобный огонь засверкал в её глазах, на лбу появились складки, рот конвульсивно скривился в сардоническую улыбку.

– Вот как, ваше сиятельство? Вы желаете получить меня в приданое? Вы делаете мне честь, будущая княгиня Луговая, избирая меня в горничные. Красивая девушка, хотя и видна холопская кровь, для Петербурга это нужно. Посмотрим только, удастся ли вам это! – злобным шёпотом

говорила сама с собой Татьяна Берестова. – Надо нынче же повидать отца... поведать ему радость семейства княжеского. Пусть позаботится обо мне, своей дочке.

Слова "отец" и "дочка" она произнесла со злобным ударением.

Между тем княгиня и княжна, обе успокоившиеся от охватившего их волнения, мирно беседовали о завтрашнем визите князя и об открывающемся будущем для княжны.

– Увезёт тебя молодой муж в Петербург, – сказала княгиня.

– А ты, мама, разве не поедешь с нами?

– Куда мне на старости лет трясти в такую даль свои кости? Вот, может, когда устроитесь совсем, поднимусь да и приеду навестить, но чтобы совсем переселяться в этот Вавилон – нет, этого я не смогу. Я привыкла к своему дому, к своему месту.

– И тебе не жаль расстаться со мной? Ведь я буду одна.

– Зачем одна? У тебя будет муж, а затем там дядя.

– Не лучше ли Сергею выйти в отставку и навсегда поселиться в Луговом?

– Это не для того ли, чтобы меня, старуху, каждый день видеть? – засмеялась Васса Семёновна. – Ах, какое же ты ещё глупое дитя! У него там служба, ему надо делать карьеру. Государыня, говорят, очень любит его... и тебя полюбит. Ты будешь вращаться при дворе.

– Это страшно.

– Вовсе не страшно. Попривыкнешь. Такие же люди. Муж укажет. Он хотя и молод, но с пелёнок в этой жизни, как рыба в воде.

– Мама, я возьму Таню. Мне будет нужна горничная. Я уже говорила ей.

– Что же она?

– Говорит: "Ваша барская воля".

– И только?

– Да, мне даже показалось, что она этому не рада. Вообще она в последнее время стала какая-то странная.

– Замуж её надо тоже выдать.

– Таню, замуж? За кого же?

– За кого? За такого же дворового, как и она! – с невольной резкостью в тоне сказала княгиня. – Не графа же выбирать! Мало ли у меня холостых на дворе на неё заглядывается?

– Князь говорил, что она далеко не похожа на меня. Он сказал, что это только кажущееся сходство, – вдруг заметила княжна.

– Конечно же. Для свежего человека это виднее. Мы так уже пригляделись к этой случайности.

– Он говорил, что всё-таки в ней видна холопская кровь.

– Конечно, конечно! – подтвердила княгиня, и из её груди вырвался облегчённый вздох.

Надо заметить, что всегда, когда разговор между нею и дочерью касался Тани Берестовой, княгиня боялась, что её дочь задаст ей вопрос о причине необычайного сходства между нею, княжной, и её дворовой девушкой. Хотя у княгини было приготовлено объяснение этого случайностью, но она всё же иногда думала, что этот ответ не удовлетворит Люды, и её мысль начнёт работать в этом направлении, а старые княжеские слуги, не ровен час, и сболтнут что-нибудь лишнее. Особенно стал беспокоить княгиню этот вопрос со времени возвращения в Зиновьево "беглого Никиты".

Теперь она могла успокоиться. Мысль о сходстве действительно пришла в голову дочери, но она высказала её не ей, матери, а князю Луговому; последний же в форме комплимента, разумеется, отрицал это сходство дворовой девушки с понравившейся ему княжной. Понятно, что Людмила, увлечённая князем, поверила ему на слово, и вопрос для неё был решён окончательно – она к нему более не возвратится. Надо лишь не допустить её взять Татьяну в Петербург. В светских столичных и придворных кругах не только сейчас обратят внимание на это поразительное сходство княгини и служанки, но даже начнут непременно делать выводы, близкие к истине.

– Если ты хочешь, мама, выдать Таню замуж, то, значит, она должна будет остаться здесь? – спросила княжна.

– Конечно же, душечка.

- Я очень люблю её, и мне тяжело будет без неё.
 - Если это так, то ты должна желать ей счастья. Неужели ты пожелаешь, чтобы она для тебя на весь свой век осталась в девках?
 - Конечно же нет, но...
 - Какое же "но". Ты можешь выбрать себе девушку, даже двух или трёх, из других, мне же позволь позаботиться о судьбе Тани. Я ведь с детства воспитала её, как родную дочь. Неужели у меня нет сердца? Хотя её сходство с тобой и небольшое, но всё же она будет несколько напоминать мне тебя. Я устрою её счастье, будь покойна. Я ведь тоже люблю её.
- Деланность искренности княгини ускользнула от княжны Людмилы.
- Какая ты добрая, мама! – воскликнула она и стала покрывать руки княгини Вассы Семёновны горячими поцелуями.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Когда после ужина княжна Людмила Васильевна прошла к себе и, конечно, встретила ожидавшую её Таню, она не преминула сообщить ей содержание своего разговора с матерью.

- Мне казалось, Таня, что в последнее время ты стала сомневаться в нашей любви к тебе. Но ты напрасно так думаешь, и я могу доказать тебе сегодня, что не только я сама, но и мама тебя очень любит.
- Я верю, верю.
- Нет, всё-таки выслушай! – И княжна Людмила передала почти дословно беседу со своей матерью за ужином. – Мне лично очень жаль расстаться с тобою, но я понимаю маму... Ей тяжело сразу расстаться со мной и тобой, и к тому же я не хочу мешать твоей судьбе. Пусть мы будем счастливы обе.
- Благодарю вас, ваше сиятельство.
- Опять "сиятельство"! Ты неисправима, Таня. Ну, да Бог с тобою. Лучше скажи мне откровенно: тебе кто-нибудь нравится?
- Кто нравится? – с испугом спросила девушка.

– Ну, кто-нибудь из наших мужчин?

– Каких мужчин, барышня?

– Ну, вот, например, Михаила, Сергей... Они холостые. Михаила был дворецким, Сергей – выездным лакеем.

– А-а... Вы об этих... – В тоне Тани прозвучало нескрываемое презрение. – Нет, никто не нравится.

– Я к тому это спрашиваю, что если бы кто-нибудь тебе нравился, то я сейчас же сказала бы об этом маме, и ты тоже была бы невестой, как и я. Знаешь, когда чувствуешь себя счастливой, так приятно видеть и вокруг себя счастливых людей.

– Это – правда... А когда человек сам несчастен, то счастливых людей видеть очень неприятно. Это только усугубляет несчастье.

– Ты несчастна?

– С чего это вы взяли? – спохватилась Таня. – Я просто к слову.

– А... Но всё-таки как жаль, что тебе никто не нравится из наших!

– Странная вы, барышня! Да ведь если бы кто-либо даже нравился, то и его спросить надо, нравлюсь ли я.

– Это само собою разумеется. Каждый из них был бы счастлив, имея надежду сделаться твоим мужем. Ты ведь красивее всех наших дворовых девушек.

– Не по хорошу мил, а по милу хорош.

– Жаль, жаль!.. – повторила княжна, уже ложась в постель.

Таня вышла из её комнаты и, только пробежав двор и очутившись в поле, вздохнула полной грудью.

– Ишь ты: её сиятельство забота обо мне одолела! – со злобным смехом заговорила она сама с собою, пробираясь по задворкам деревни за околицу. – “Люблю её, дочь мне будет напоминать... Судьбу её устрою... Не хочешь ли замуж за дворового”. Эх, ваше сиятельство, я и за князя вашего замуж выйти не хочу. Вот что!

Быстро пробежала она небольшую деревню и очутилась у Соломониной избушки. В окне светился тусклый огонёк.

– Дома, – радостно прошептала Таня и, быстро взбежав по ступенькам

крыльца, отворила дверь.

Никита сидел на лавке пред лучиной и чинил дратвой кожаный мешок, служивший ему ягдташем. Он, видимо, ничуть не удивился появлению Тани и, спокойно подняв голову при шуме отворённой двери, окинул девушку проницательным взглядом.

– Здравствуй, Никита Спиридонович, – сказала она.

– Здравствуй, красная девица... Что так запыхалась?

– Бегом бежала! – Таня села и несколько времени молча тяжело дышала, а затем каким-то надтреснутым голосом произнесла: – Князь завтра свататься приедет. Княжна сказала.

– Ей, значит, открылся.

– Сегодня! – И Таня подробно рассказала Никите, со слов княжны Людмилы, обстановку первого признания и испугавший их смех, который они приняли за крик совы.

– Совы!.. Как бы не так!.. – угрюмо сказал Никита. – Да разве совы при солнце кричат?.. Это “он”, леший, над ними потешается. Да, по всему видно, что им судьбы своей не миновать.

– Не миновать, конечно! Свадьбу, чай, быстро устроят да и уедут в Питер... Поминай как звали...

– Ну, сейчас видно, что ты – дура девка... Коли я сказал “не миновать”, так слова даром не вымолвил.

– Уж ты прости меня... Томит меня очень... раздумье мучит, – заметила Таня.

– А ты плюнь и не думай, положишься на меня! – Никита встал, несколько раз прошёл по избе и наконец сел на лавку рядом с Таней. – Ты вот послушай лучше, что я тебе скажу! – И, придвинувшись к ней ещё ближе, он стал говорить ей что-то пониженным шёпотом.

По мере того как он говорил, лицо Тани прояснялось, радостно-злобная улыбка на губах сменилась улыбкой торжества.

– Эх, кабы всё это так и случилось! – воскликнула она.

– Сделается как по-писаному, – ответил вслух Никита и снова стал шёпотом говорить Татьяне.

Совершенно успокоенная, радостная и довольная, возвратилась Татьяна в девичью и прямо в свою каморку. В эту ночь, пред отходом ко сну, её даже не посетили обыкновенные злобные думы по адресу княгини и княжны. Она быстро заснула, и её сны были полны радужных картин, которые только что нарисовал ей, нащёптывая на ухо, беглый Никита.

Таня проснулась в прекрасном расположении духа.

Второй туалет княжны, после утреннего чая, занял в этот день больше времени, чем обыкновенно. Княжна Людмила считала себя невестой и старалась тщательнее обыкновенного одеться для своего жениха.

Таня проявила весь свой вкус, отказаться в котором ей было нельзя, и княжна Людмила осталась совершенно довольна ею. У неё даже снова мелькнула мысль, нельзя ли как-нибудь уговорить маму отпустить Таню в Петербург. Она там может выйти замуж за одного из лакеев князя Лугового; ведь эти лакеи, как петербургские, конечно, франтоватее и лучше деревенских, и кто-нибудь из них может приглянуться разборчивой дворовой девушке.

Однако мысль о матери, остающейся совершенно одинокой в Зиновьеве, заставила княжну отказаться от этого плана.

“Бедная мама, – замелькало в её голове, – она так любит Таню! Кроме того, она будет напоминать маме обо мне... Нет, не надо быть эгоисткой... Здесь Таня будет даже счастливее... Пройдёт время, и она кого-нибудь полюбит... Ведь я до князя никого не любила, никто мне даже не нравился... А у нас бывали же гости из Тамбова, хотя редко, да бывали даже офицеры... Так и с нею может случиться... Теперь никто не нравится, а вдруг понравится”.

Наконец туалет был окончен. Людмила отправилась к матери, находившейся на террасе.

Княгиня осталась ею довольна.

– Когда князь придет, – сказала она, – ты уйди в свою комнату. Так водится... Он должен со мною объясниться с глазу на глаз, а потом я, может быть, позову тебя.

– “Может быть”! – печально повторила княжна, и у неё даже покраснели

глаза от навёртывавшихся слёз.

– Полно, ты, кажется, собираешься плакать?.. Я пошутила... Конечно, позову... Что с вами подделаешь! Совсем вы от рук отбились. По старине следовало бы не соглашаться сразу, попросить время подумать... А теперь и заикаться об этом нельзя – слёз у тебя не оберёшься. Так будь по-вашему... Скажу, что согласна, и тебя позову.

– Мамочка, какая ты добрая!.. – Бросилась княжна целовать руки матери. В это время вдали послышался звон колокольчика.

– Это он едет! – встрепенулась княжна Людмила.

– Да, действительно, это княжеские колокольчики, – заметила и мать. – Ну, теперь ступай к себе!

Экипаж князя Лугового вскоре въехал на двор и остановился у подъезда. Князь Сергей Сергеевич был в полной парадной форме. На его лице светилась особая торжественность переживаемых им минут. Он с особенною серьёзностью приказал лакею доложить о нём княгине Вассе Семёновне, несмотря на то, что в последнее время входил обыкновенно без доклада.

– Пожалуйте. Их сиятельство на террасе, – ответил возвратившийся слуга.

Князь прошёл на террасу.

– А, дорогой князь, милости просим! – воскликнула княгиня и, как бы только сейчас заметив, что князь одет в полную форму, добавила: – Что это вы сегодня в полном параде?

Князь, поцеловав руку Вассы Семёновны, сел в кресло, с которого только что за несколько минут пред ним спорхнула княжна Людмила. Он не сразу ответил и несколько минут хранил молчание, как бы приготавливаясь к первому торжественному акту в его жизни.

Княгиня смотрела на него деланно вопросительным взглядом.

– Я приехал, княгиня, переговорить с вами по одному очень серьёзному для меня делу... и не только серьёзному, но имеющему для всей последующей моей жизни очень важное, решающее значение.

Он остановился.

– Я полюбила вас, несмотря на короткое время нашего знакомства, как сына, князь, а потому готова выслушать вас и, в чём могу, помочь, – ответила ему Васса Семёновна.

– Я имею честь просить у вас руки вашей дочери, – вдруг выпалил князь Сергей Сергеевич.

Княгиня сделала вид, что поражена неожиданностью, и несколько минут молчала.

Очередь глядеть вопросительно наступила для князя.

– Я благодарю за честь... – начала княгиня Васса Семёновна, – но я, право, не знаю... Люда ещё молода, и притом я не могу её неволить. Как она сама.

– Княжна Людмила согласна, – сказал князь Сергей Сергеевич. – Я вчера имел удовольствие выразить ей свои чувства и получить благоприятный ответ.

Удивление княгини, казалось, росло с каждой минутой.

– Вчера?.. Так вот что вы так долго делали в парке!.. Это не порядок, князь! Вы должны были обратиться сперва ко мне, как к матери.

– Простите, княгиня, это вышло так нечаянно...

Княгиня едва удержалась от улыбки, вспомнив, как вчера и её дочь уверяла, что это случилось нечаянно.

– Бог вас простит. Сделанного не исправишь. Но всё-таки скажу вам: может, в Петербурге у вас это водится, а у нас нет.

– Могу я надеяться, княгиня? – после некоторой паузы с дрожью в голосе спросил князь.

– Ну, если вы всё уже без меня устроили, так мне остаётся дать согласие, и я даю его.

Князь вскочил с кресла и бросился на колени пред княгиней и, схватив её руки, стал покрывать их поцелуями.

Княгиня Васса Семёновна позвонила и приказала явившемуся лакею:

– Попроси сюда княжну Людмилу Васильевну.

– Слушаю-с, ваше сиятельство.

Лакей вышел.

– Пусть плутовка повторит при мне то, что вчера говорила вам, пользуясь дозволением прогуляться с вами в парке, – шутливо заметила княгиня.

Луговой, уже снова сидя в кресле, счастливо улыбался.

В это время в дверях террасы появилась княжна. Она была особенно хороша. Несколько смущённый, растерянный вид придавал лицу и всей её фигуре особую прелесть.

– Вы меня звали, мама? – сказала она после небольшой паузы.

Князь вскочил с места при её появлении. Княжна как-то особенно церемонно присела ему.

– Да, звала, плутовка. Нечего из себя строить наивную овечку, – начала княгиня. – Ты знаешь, зачем сегодня пожаловал к нам князь в полной амуниции?

Княжна смущённо потупилась, а затем бросилась к матери, говоря:

– Мама, простите!

– Чего прощать-то? Нет, ты нам скажи, знаешь или нет?

– Знаю, – смущённо ответила княжна, бросив искоса взгляд на князя Сергея Сергеевича.

Тот положительно пожирал её влюблённым взглядом. Людмила молчала.

Княгиня с улыбкой смотрела на неё, а затем обратилась к князю:

– Стыдно, князь, говорить о девушке неправду! Ишь, вы думали, что моя Люда согласилась вчера на ваше предложение быть вашей женой! Бедная девочка, какую небылицу взвёл на тебя князь!

– Мама, он сказал правду, – вся вспыхнув, произнесла княжна.

– Вот как? Ну, значит, извините, князь, поклепала на вас понапраслину. Дочка-то моя, видно, без меня разговорчивее. Значит, ты знаешь, что князь приехал сегодня просить твоей руки? – вдруг оставила она шутливый тон и обратилась к дочери: – Ты согласна, согласна и я.

Князь уже стоял около невесты. Они оба преклонили колени пред тоже вставшей княгиней. Та положила им на голову руки, перекрестила и поцеловала обоих, после чего пригласила завтракать.

Завтрак прошёл очень оживлённо. Княгиня продолжала шутить с дочерью и будущим сыном, но на княжну эти шутки не производили уже того

конфузющего впечатления, как первый шутливый вопрос матери на террасе.

Конечно, все обитатели Зиновьева быстро узнали о событии в барском доме, о том, что "ангел-княжна" – невеста.

После завтрака жених и невеста вышли в парк, чтобы на досуге помечтать о радужном, как им казалось, будущем, открывавшемся пред ними.

IX. ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСТЬ

Князь остался в Зиновьеве обедать и пить вечерний чай и только поздним вечером возвратился к себе в Луговое.

Там его ожидала новая радость: к нему приехал гостить из Петербурга друг его детства и товарищ по полку, граф Пётр Игнатьевич Свиридов.

Это был красивый, высокий, статный блондин с тёмно-синими бархатными глазами, всегда смотревшими весело и ласково. Вместе с Луговым он воспитывался в корпусе, вместе вышел в офицеры и вместе с ним вращался в придворных сферах Петербурга, деля успех у светских красавиц. До сих пор у приятелей были разные вкусы, и женщины не являлись для них тем классическим "яблоком раздора", способным не только ослабить, но и прямо порвать узы мужской дружбы.

– Петя, какими судьбами! – радостно встретил князь Сергей своего друга, вышедшего на крыльцо навстречу ему.

– Благодаря тётушке, дружище.

Друзья обнялись и расцеловались.

– Какой тётушке? – спросил князь, вводя приятеля в комнаты.

– Видишь ли, я получил известие, что в Тамбове умерла бездетной одна из моих бесчисленных тётушек, графиня Надежда Ивановна Загряжская, а я – единственный её наследник. Умерла она уже с полгода, но мне дали знать об оставленном наследстве всего месяца полтора тому назад. Я, конечно, взял отпуск и покатил сюда. Устроивши кое-как дела, хотя и не

окончивши их, я решился отдохнуть от милого Тамбова, где положительно задышался от пыли и жары, где-нибудь на берегу струй, и вдруг вспомнил, что твоё имение здесь поблизости и, главное, что ты находишься в нём. Ну, вот я тотчас и двинулся к тебе.

– И отлично сделал. Более, чем отлично! Это просто счастливый случай. Ну, да об этом потом, а теперь позволь мне переодеться. Я весь день пробыл в парадной форме. Так позволишь?

– О чём тут спрашивать! – улыбнулся граф.

Князь позвонил, и с помощью явившегося камердинера начал переодеваться, не переставая задавать вопросы усевшемуся в покойном кресле приезжему другу.

– И большое тебе досталось наследство? – спросил он.

– Как тебе сказать? Приехать стоило! Два дома в городе, имение небольшое в пяти верстах от Тамбова, душ около трёхсот. Дом, конечно, с полной обстановкой, усадьба тоже – полная чаша. Да и деньгами тысяч около шестидесяти.

– Это ты верно сказал, что стоило приезжать. И неужели ничего не растащили?

– Вообрази, ни одной нитки. Там такие сторожа сторожат, каких я в первый раз в жизни вижу. Это старик со старухой, обоим в сложности лет более двухсот, но здоровы и бодры и так держат всю деревню, что те в струнку ходят. Они-то мне всё с рук на руки и передали. “Ни-синь-пороха, батюшка барин, ваше сиятельство, не пропало после покойной вашей тётушки”, – говорят. И я им верю.

Туалет князя был кончен, и вошедший лакей доложил, что подано ужинать. Друзья отправились в столовую. Беседа снова полилась.

– Скажи мне, кстати, Сергей, что у тебя здесь на днях произошло? – спросил граф Свиридов. – На последнем привале мой кучер и лакей выслушали от содержателя постоянного двора целую историю о какой-то чертовщине, которая произошла здесь у тебя; говорят, будто ты раскрыл какую-то старую беседку и нашёл там два скелета.

– Это – правда, – ответил князь Луговой и подробно рассказал графу

легенду, окружавшую заветный павильон в парке и оправдавшуюся в первой своей половине страшной находкой, о ходе работ, произведённых для того, чтобы открыть его, о похоронах найденных человеческих останков – словом, обо всём, происшедшем два дня тому назад. Свою речь он заключил словами: – Завтра я покажу тебе этот павильон.

– Завтра? Почему же не сегодня?

– Сегодня? – дрогнувшим голосом спросил князь и невольно посмотрел в окно, выходящее в парк.

На землю уже спустилась тёмная летняя ночь. В тенистых аллеях парка мрак был ещё гуще.

Граф Пётр Игнатьевич заметил смущение приятеля и, поймав этот взгляд, насмешливо произнёс:

– Ты что это, брат, в деревне-то стал трусить не только живых, но даже мёртвых?

– Какие пустяки! – вспыхнул князь. – Пойдём после ужина.

Его более всего взбесило то, что приятель угадал причину, по которой он хотел показать павильон не сейчас, а завтра.

– Если очень страшно, то уж пойдём лучше спать, – всё ещё насмешливым тоном заметил граф Свиридов.

– Ты, брат, не валишь ли с больной головы на здоровую? Кажется, сам труса празднуешь? – отпарировал князь Луговой.

– Ну, это брат, старая штука. Способ простой, когда совестно сознаться. Нет, съедим последнее блюдо и пойдём. А вот тебе наливка для храбрости.

– Не забудь и себя.

Друзья с наслаждением выпили душистую влагу из сока черешен, а затем, встав из-за стола, вышли на террасу.

Парк был действительно окутан мраком, но в цветнике было сравнительно светло, так как на него падал слабый, матовый свет последней четверти лунного диска.

Князь Луговой, взяв под руку графа, спустился с террасы в цветник и направился по той аллее, которая вела к заветному павильону. Несмотря

на то, что место, где стоял он, было вычищено, всё же деревья здесь были гуще, нежели в остальном парке, а потому вечером это место казалось мрачнее. К тому же в это время, как нарочно, и луна скрылась за облаками. Это наводило какую-то жуть.

Друзья были нервно настроены. Оба готовы были бы с удовольствием вернуться в уютную столовую или в не менее уютный кабинет, но обоих удерживал стыд сознаться друг пред другом в этом чувстве, которое они оба называли трусостью.

Они подошли уже к выходу на полянку, как вдруг матовые лучи луны пробрались на последнюю и осветили открытую дверь павильона.

Друзья остановились как вкопанные невдалеке от входа в неё. Они оба увидели, что на одной из скамеек, стоявших внутри беседки, сидели близко друг к другу две человеческие фигуры – мужчина и женщина. Контуры этих фигур совершенно ясно выделялись при слабом лунном свете, рассмотреть же их лица и подробности одежды не было возможности. Друзья только заметили, что эти одежды состояли из какой-то прозрачно-светлой материи.

– Однако, – первый заметил граф, – видно, для здешней молодёжи не особенно страшен этот павильон, если она тотчас же стала избирать его для любовных свиданий.

Князь Сергей ничего не ответил. Он стоял рядом с другом, бледный, с остановившимся на видении взглядом. Он сразу подумал, что пред ним не живые люди, а призраки, что это духи умерших в павильоне людей посетили свою могилу.

– Что с тобой? – дрожащим голосом спросил граф Свиридов, вдруг сам почувствовавший какой-то инстинктивный страх.

Но не успел князь ответить, как за павильоном, в нескольких шагах от них, раздался дикий, безумный хохот и послышались удаляющиеся тяжёлые шаги.

– Это он, – произнёс князь Сергей и пошатнулся.

Граф Свиридов, несмотря на охвативший его тоже почти панический страх, успел подхватить приятеля и не дал ему упасть. Когда он

посмотрел снова на дверь павильона, внутри последнего никого не было.

– Он имеет выход с другой стороны? – спросил граф, не выпуская из объятий почти бесчувственного князя.

– Нет... – после большой паузы, несколько пришедший в себя, произнёс тот.

– Не может быть! – возразил граф Пётр Игнатьевич. – Ты видишь, всё исчезло. Можешь убедиться, – заметил князь, уже совершенно овладев собою. – Войдём!

Они вошли в павильон, представлявший, как известно, круглую башню с одной дверью.

– Это странно! – взволнованно воскликнул граф Свиридов.

– Я тебе порасскажу ещё много странных вещей.

Друзья возвратились в дом отнюдь не под хорошим впечатлением всего ими виденного и перечувствованного, и, конечно, им было не до сна, а потому они уселись в уютном кабинете, мягко освещённом восковыми свечами. Окна в парк были открыты, и в них тянуло тою свежестью летней ночи которая укрепляет тело и бодрит дух. Некоторое время друзья молчали.

– Чем же это наконец объяснить? – первый нарушил это молчание граф Пётр Игнатьевич.

– Объяснить?.. Нет, брат, объяснить это едва ли чем можно... Надо принимать так...

– Это ужасно!.. Я на твоём месте сейчас же уехал бы из такого страшного места.

– А я между тем не уезжаю, хотя сегодня не в первый раз испытываю проявление этой таинственной силы.

После этого князь передал другу о своём сне накануне того дня, когда был открыт павильон, и о видении, которое было на другой день.

Тот слушал внимательно и, когда князь кончил, воскликнул снова:

– Это ужасно!

– А ты ещё считал меня трусом!.. Ну, прав ли ты? А знаешь, когда мы шли по твоему настоянию в павильон, я чувствовал, что что-нибудь случится!

Снова оба замолчали.

– Кстати, – первый начал Пётр Игнатьевич, – призрак говорил тебе о любимой девушке, в которой твоё счастье... Она-то у тебя есть?

– Есть, – ответил князь, – ведь я сперва на радостях встречи, а затем вследствие этого переполоха, позабыл сказать тебе, что я женюсь. Я сегодня сделал предложение и получил согласие.

– То-то ты был в таком параде. На ком же ты женишься?

– На княжне Полторацкой.

– Вот как. Где же ты откопал такое существо, которое оказалось способным пленить твоё ветреное сердце?.. Оно должно быть совершенством, так как мы с тобою, несмотря на то что у нас разные вкусы, разборчивы.

– Ты не ошибся: княжна Людмила – совершенство.

– Где же она живёт?

– У её матери имение в нескольких верстах от Лугового...

– Ага, значит, соседка. Какова же она собою?

Князь восторжённо стал рисовать пред приятелем портрет княжны Людмилы. Любовь, конечно, делает художника льстецом оригиналу, а потому по рассказу влюблённого князя Людмила выходила прямо сказочной красавицей – действительно совершенством.

Граф Пётр Игнатьевич слушал друга улыбаясь. Он понимал, что тот преувеличивает.

– Посмотрим, посмотрим, – заметил он, когда князь кончил описание достоинств своей невесты, – если ты прикрасил только наполовину, то и тогда она достойна быть женою князя Лугового.

– Она-то достойна, а вот достоин ли я?.. Ты увидишь сам, что я не только не преувеличил, но даже не в силах был воспроизвести пред тобою её образ в настоящем свете... Это выше человеческих сил.

– Одним словом, ни в сказке рассказать, ни пером описать, – засмеялся граф Свиридов. – Но от этого тебе же хуже: я влюблюсь и начну отбивать.

– Ты этого не сделаешь!

Голос князя как-то порвался. Шутка друга больно кольнула ему сердце.

“А что, если действительно княжна Людмила полюбила меня только потому, что жила в глуши, без людей, без общества? – подумал он. – Нельзя же, в самом деле, считать обществом тамбовских кавалеров. Она увидит графа и вдруг...”

При этой мысли князь почувствовал, как похолодела в нём вся кровь.

Граф Пётр Игнатьевич заметил произведённое его шуткой впечатление и произнёс:

– Да ты, кажется, серьёзно принимаешь шутку и впрямь испугался моего соперничества?

– Нет, не то, голубчик! Только прошу тебя, не шути так! Моё чувство слишком серьёзно. Мало ли что на самом деле может случиться!

– Ну, ты действительно влюбился до сумасшествия! – воскликнул граф Свиридов. – На тебя даже нельзя и обижаться. За кого же ты меня принимаешь, если думаешь, что я способен, даже при полной возможности, отбить невесту у приятеля?

– Ты можешь сделать это невольно. Ты слышал, что “он” сказал? “Адские силы против вас”.

– Спасибо и за то, что, по твоему мнению, я могу явиться одной из адских сил.

– Они могут действовать через тебя.

– Нет, голубчик, у меня на груди есть крест. Но оставим этот разговор. Можешь, если опасаясь, даже совсем не знакомить меня со своей невестой.

– Нет, отчего же... Мы поедем к ним завтра же. Прости меня, я действительно говорил несообразности. Я так взволнован... У меня до сих пор звучит этот смех, который мы слышали у павильона. Я ведь слышу во второй раз...

– Второй раз!

Князь Сергей рассказал другу обстановку своего первого любовного признания княжне Людмиле, подаренный ему ею первый поцелуй, после которого послышался тот же резкий смех около павильона.

- Она очень испугалась? – спросил граф.
 - Да, но я успокоил её, первый придя в себя, и объяснил ей, что это крик совы.
 - Может быть, это действительно кричала сова?
 - Нет... Я-то знаю, что это – не сова, а “он”. Ведь когда мы слышали этот смех издали, солнце ещё не заходило, а совы кричат только ночью.
 - А сегодня?
 - Сегодня мы слышали этот смех совсем близко. Он совершенно не похож на крик совы. Эти птицы так не кричат.
 - Гм... – промычал граф Свиридов, – тебе и книги в руки. Но бросим этот разговор. Успокойся только; если ты даже настоишь на том, чтобы я поехал к твоей невесте и познакомился с нею, я за нею ухаживать не буду. Расскажи-ка лучше мне, как начался этот твой деревенский роман. Князь подробно стал описывать свою первую встречу с княжной на похоронах его матери, затем его визиты в Зиновьево, прогулки по саду и недавний разговор о павильоне.
 - Так это княжна натолкнула тебя на мысль открыть эту башню? Да? Ну, этого я ей никогда не прощу. Ведь не исполни ты её каприза, мы сегодня не были бы свидетелями всех этих ужасных вещей и давно спокойно спали бы. А теперь посмотри, ведь светает, – заметил граф Пётр Игнатьевич.
- Действительно, в открытые окна кабинета уже лился свет утренней зари, мешавшийся с тусклым, мерцающим светом догоравших в подсвечниках и бра свечей.
- Пожалуй, действительно этого не было бы, – улыбнулся князь.
 - Конечно! Ишь какая!.. Пусть ты из-за неё не спишь ночей – она будет твоей женой; а я тут при чём, что по её милости должен тоже не спать? Слуга покорный! Пойдём-ка, в самом деле, спать.
 - Я велел поставить тебе постель в моей спальне.
 - Отлично, поболтаем ещё немного... Только, чур, больше не вести никаких разговоров с призраками!
 - Не накликай.

– Ты, кажется, заставляя меня спать в одной комнате с собою, пускаешься на хитрость, надеясь, что мы вдвоём-то с ними справимся?

– Ты неисправим, Петя... Всё тебе смешки. Впрочем, тебе хорошо: это тебя не касается.

– И тебя, мой милый, едва ли. По-моему, призраков никаких нет и быть не может. Во всём этом есть доля твоего расстроенного воображения.

– И даже в том, что ты видел и слышал в павильоне?

– Да, быть может, это всё была лишь игра лунного света.

– Если ты так умеешь сам себя успокаивать – благо тебе.

– Так идём спать, – зевнул граф.

В сопровождении вошедшего камердинера оба друга отправились в спальню, разделись и легли, но ещё долго не засыпали, беседуя о всевозможных вещах – главным образом о петербургских новостях. Они заснули наконец, когда солнце уже поднялось над горизонтом.

Проснулись оба друга после полудня, свежие и бодрые. Всех испытанных потрясений вчерашнего дня как не бывало. Сомнения, тревоги и предчувствия исчезли из ума и души князя Сергея.

Через полчаса после завтрака оба друга на лихой четвёрке понеслись по направлению к Зиновьеву.

Княгиня Васса Семёновна с истинно русским радушием встретила товарища будущего мужа своей дочери. Княжна Людмила грациозно присела ему. Свиридов, глядя на неё, не мог внутренне не сознаться, что князь Сергей отнюдь не пел ей вчера особенно преувеличенных дифирамбов; счастье, озарившее, подобно солнцу, всю Людмилу, придавало особый блеск её красоте.

“Она произведёт положительно фурор в Петербурге!” – мелькнуло в голове графа Петра Игнатьевича.

Побеседовав с полчаса на террасе, княгиня извинилась хозяйственными делами и отпустила молодых людей погулять в саду до обеда. Когда она ушла во внутренние комнаты, княжна Людмила, в сопровождении жениха и графа, спустилась в сад.

Свиридов не произвёл на неё особенного впечатления. Вся поглощённая

созерцанием своего милого "Серёжи", княжна не обратила внимания на характерную, хотя совершенно в другом роде, красоту графа Петра Игнатьевича.

Зато оценила эту красоту другая. Это была Таня Берестова. Она пробралась в сад и, незаметно скользя среди кустов и затаив дыхание, всё время следила за статным белокурым красавцем.

"Это вот не чета князю, – думала девушка. – Луговой пред ним совсем пропадает. В Петербурге, может, и ещё лучше есть. Это здесь, в глуши, нам всё диковинкою кажется".

Таня мечтой неслась на берега Невы и создавала в своём воображении царские дворцы, палаты вельмож, роскошные праздники, блестящие балы, с толпой блестящих же кавалеров. Обо всём этом она имела смутное понятие по рассказам княжны, передававшей ей то, что говорил ей жених; но фантазия Тани была неудержима, и она по ничтожному намёку умела создавать картину.

Для графа Петра Игнатьевича, не говоря уже о князе Луговом, день, проведённый в Зиновьеве, показался часом. Быстро освоившись с ним, княжна была обворожительно любезна, оживлённа и остроумна. Она рассказывала ему о деревенском житье-бытье, в лицах представляя провинциальных кавалеров и заставляла своих собеседников хохотать до упаду.

Их свежие молодые голоса и раскатистый смех доносились в открытые окна княжеского дома и радовали материнский слух княгини Вассы Семёновны.

Далеко не радовали эти звуки Таню. Веселье в саду, долетавшее до окна её каморки, до боли резало ей ухо и заставляло нервно вздрагивать.

"Ишь, раскатываются! Весело! – злобствовала она, уже успевшая достаточно разглядеть друга князя Лугового и налюбоваться на него. – Ну да посмеётся хорошо тот, кто посмеётся последний. Поживём – увидим!"

Х. УБИЙСТВО

Дни шли за днями, летя, как мгновенья, для княгини Полторацкой, княжны Людмилы, князя Лугового и его друга Свиридова.

В доме княгини Вассы Семёновны шла спешная работа по приготовлению приданого княжны Людмилы. Этим занимались несколько десятков дворовых девушек под наблюдением Федосьи и Тани.

Командировка последней для наблюдения была, собственно номинальной, так сказать, почётной. С одной стороны, княгиня не хотела совершенно освободить её от спешной работы и таким образом резко отличить от остальных дворовых девушек, а с другой, – зная привязанность к Тане дочери, не хотела лишиться последнюю общества молодой девушки, засадив её за работу с утра до вечера.

“Пусть их наговорятся напоследок, – рассуждала княгиня, – уедет, там, в Питере, мигом позабудет, а я здесь справлюсь с Таней, быстро обломаю и замуж выдам”.

Княжна Людмила действительно в отсутствие жениха была неразлучна с Таней, передавала ей, как поверенной своих сердечных тайн, во всех мельчайших подробностях разговоры с женихом и с его другом, спрашивала советов, строила планы, высказывала свои мечты.

Таня слушала внимательно и, видимо, сочувственно относилась к своей барышне, которой скоро суждено было сделаться из княжны княгиней. Она высказывала свои мнения по тем или другим вопросам, задаваемым княжною, и спокойно обсуждала со своей госпожой её будущую жизнь в Петербурге.

Однако чего стоили ей эта рассудительность и это спокойствие, знала только её жёсткая подушка, которую она по ночам кусала, задыхаясь от злобных слёз.

Князь Сергей, то один, то со своим другом, конечно, ежедневно приезжал в Зиновьево и проводил там большую часть дня.

Наступило 6 августа, престольный праздник в зиновьевской церкви.

Весело провели князь Луговой и граф Свиридов этот день в доме княгини

Вассы Семёновны. Дворовые девушки были освобождены на этот день от работ и водили хороводы, причём их угощали брагой и наливкой. На деревне шло тоже веселье. В застольной стоял пир горой. Общее веселье было заразительно, и день в Зиновьеве прошёл оживлённо.

В этот день граф Свиридов впервые близко увидел Таню и был поражён её красотой. Когда ему довелось остаться вдвоём с князем Сергеем, он сказал:

– Ты видел двойника княжны?

– Какого двойника?

– Помилуй! Ты чаще меня бываешь здесь и бывал раньше меня, неужели ты не заметил дворовой девушки, как две капли воды похожей на княжну?

– А, это Таня! Ну, это сходство действительно бросается в глаза при первом взгляде, но когда ты приглядишься к этой девушке, то, конечно, убедишься, что у княжны с нею далеко не одни и те же лицо и фигура.

– Может быть, но меня сразу поразило это сходство.

Друзья пробыли в Зиновьеве более обыкновенного и вернулись домой поздним вечером, в самом хорошем расположении духа.

– Твоя невеста прямо восхитительна. И как она любит тебя! – сказал граф Свиридов, ложась спать.

– Да, голубчик, я счастлив, так счастлив, что мне становится страшно. Видишь ли, мне кажется, что на земле не может и даже не должно быть такого полного счастья, что оно непременно будет чем-нибудь омрачено.

– Что за мысли? Перестань! Ты просто так расстроил свои нервы, что тебе во всём и везде кажется, что вот-вот должно случиться какое-нибудь несчастье. Это болезненно, мой друг, и тебе следует самому взять себя в руки и не допускать подобных мыслей в голову.

– Как же не допускать, когда они лезут без моего спроса? Вот и теперь. Мы так прекрасно провели сегодняшний день, вернулись в таком хорошем настроении, а я ложусь и думаю: что-то будет завтра? Мне ведь уже давно кажется, что должно случиться что-нибудь такое, что будет совершенно неожиданно и притом ужасно.

– Полно говорить пустяки!

– Эта мысль гнетёт меня со дня открытия этого павильона. Несмотря на все самоубеждения, я не могу отделаться от воспоминания слов призрака. И, знаешь, сегодня меня особенно томит какое-то тяжёлое предчувствие.

– Плюнь, не думай!

– Ну, хорошо! Покойной ночи! – И князь погасил свечу.

Однако тяжёлое предчувствие, оказалось, не обмануло его. Обоих приятелей разбудили в шестом часу утра.

– Князь, ваше сиятельство! Извольте проснуться! – вбежал в спальню камердинер. – Несчастье в Зиновьеве.

– Что? Какое несчастье? – воскликнул князь Луговой.

– Её сиятельство княгиня и горничная княжны убиты.

– А княжна? – не своим голосом закричал князь Сергей Сергеевич.

– А княжна пропала.

– Лошадей... Оседлать...

Оба друга вскочили и как безумные смотрели друг на друга.

– Неужели начинается? – произнёс князь Луговой. Граф Свиридов сделал над собой страшное усилие, чтобы освободиться от неприятного впечатления, произведённого словами друга, и произнёс:

– Успокойся, узнаем всё на месте. Быть может, всё преувеличено.

– Ах, не говори. Может быть, и княжна убита, но её труп не нашли. Ах, даром у меня было вчера такое тяжёлое предчувствие.

Князь Сергей и граф Свиридов быстро оделись и во весь опор поскакали по дороге в Зиновьево.

Там ожидало князя всё же несколько успокаивающее известие: княжну Людмилу в одном ночном белье нашли в саду в кустах, лежавшую без чувств. Дворовые девушки отнесли её в её комнату, где она была приведена в чувство, но вскоре снова впала в забытие.

– Конечно, ей ничего не сказали о несчастье? – спросил князь Федосью, докладывавшую ему о княжне.

– Конечно, нет, ваше сиятельство!

Несчастье на самом деле было ужасно.

Воспользовавшись тем, что подгулявшие дворовые люди все были в застольной избе и в доме оставались лишь княгиня, княжна и Таня, неизвестный злодей проник в дом и ударом топора размозжил череп княгине Вассе Семёновне, уже спавшей в постели, потом проник в спальню княжны, на её пороге встретился с Таней и буквально задушил её руками, сперва надругавшись над нею. Она была найдена мёртвой, лежавшей на полу около комнаты княжны Людмилы. Кругом валялись клочья её платья и белья. Злодей сорвал с неё всю одежду.

Картина этого зверского убийства и насилия, представившаяся обоим друзьям, заставила их задрожать.

Трупы до прибытия властей лежали там, где были обнаружены, только тело Тани Берестовой прикрыли простынёй.

Княжна Людмила спаслась каким-то чудом. По всей вероятности, она услышала шум в соседней комнате, встала с постели, приотворила дверь и, увидев ужасную картину, выскочила в открытое окно в сад, бросилась бежать куда глаза глядят, а затем, упав в изнеможении в кустах, лишилась чувств.

– А ты где была в это время? – спросил князь Сергей Федосью, рассказавшую всё вышеизложенное и показавшую приезжим господам трупы своей госпожи и Тани.

Федосья залилась слезами.

– Попутал меня бес, окаянную, тоже в застольную пойти. Ирод Михайло плясал там под гармошку. Загляделась я на старости лет да заслушалась, ну, рюмочку для праздничка лишнюю тоже выпила. До самой смерти не замолить такого греха.

– Ради Бога, охраняй княжну, – с дрожью в голосе обратился к ней князь Сергей Сергеевич. – Главное, подготовьте её исподволь к известию о смерти матери и Тани.

– Слушаю-с, – ваше сиятельство. Подготовлю.

Оба друга остались в Зиновьеве до вечера и дождались прибытия командированного из Тамбова чиновника для производства следствия.

Князь Луговой боялся, чтобы последний не вздумал допрашивать ещё не оправившуюся княжну Людмилу и таким образом не ухудшил состояния её здоровья.

Несколько минут разговора с чиновником было достаточно, чтобы уладить дело в желательном для князя смысле.

– Будьте покойны, ваше сиятельство, княжны я не потревожу теперь. Зачем тревожить? И без того горя у неё много, испуг такой, – заявил чиновник.

– Когда окончите своё дело, приезжайте ко мне, в Луговое, я сумею поблагодарить вас, – сказал князь и, отдав ещё раз приказание Федосье не отходить от барышни, вместе с другом уехал к себе.

Они ехали обратно почти шагом. Князь был задумчив и молчал.

– Какое страшное злодеяние! – воскликнул после довольно продолжительного молчания граф Пётр Игнатьевич. – Я не могу понять одно: какая причина... Быть может, она была очень строга...

– Кто, княгиня? Да её любили как родную мать! Строга! Что такое строга. Она действительно была строга, но только за дело, а это наш крестьянин и дворовый не только любят, но и ценят.

– Страшно, – задумчиво произнёс граф Свиридов.

– Прямо загадочное преступление. Ну, за что убита Таня?

– Она-то просто под руку подвернулась... Злодей шёл убивать княжну...

– Едва ли этому чинуше удастся до чего-нибудь доискаться.

– Я тоже сильно сомневаюсь в этом.

Однако мнения друзей о “чинуше” оказались ошибочными. Когда на другой день утром князь один поехал в Зиновьево, то застал там производство следствия в полном разгаре.

– Что княжна? – были первые его слова.

– Сегодня на заре изволили прийти в себя и даже скушать молока, но ещё слабы, теперь започивали... – доложила Федосья.

– Она знает?

– Они всё знают... Видели, как злодей душил Таню.

– А о матери?

– Я им осторожно доложила. Княжна поглядела на меня так жалостливо и промолчала... Видно, горе-то таково, что слёз нет... Смекаю я, они не в себе... рассудком помутились...

– А обо мне княжна не спрашивала? – продолжал Луговой.

– Никак нет-с.

Князь сделал движение губами, как бы собираясь что-то сказать, но промолчал; он хотел приказать Федосье провести его к княжне, но не решился.

“Это может ещё более взволновать её, – подумал он, – пусть успокоится... Быть может... Господь милосерд”. Князь уехал.

В тот же вечер в Луговое явился производивший следствие чиновник.

– Ну что, придётся предать дело воле Божией? – спросил его граф Свиридов.

– Никак нет-с... Убийца известен, но скрылся.

– Кто же это?

– Никита Берестов, известный в Зиновьеве под прозвищем “беглый”, отец убитой Татьяны.

– Отец! – воскликнули в один голос граф Свиридов и потрясённый ужасом подобного сообщения князь Луговой.

– Как вам сказать, ваше сиятельство, он ей отец и не отец. – И чиновник рассказал обоим друзья всю историю беглого Никиты, записанную им со слов свидетелей и уже известную нашим читателям.

– Значит, это убийство из мести? – заметил граф.

– Несомненно! – ответил чиновник. – Княгине Берестов мстил за жену, а Татьяну убил как дочь князя от его жены.

– Вот почему княжна и эта девушка были так похожи друг на друга! – обратился граф к другу, задумчиво сидевшему в кресле у письменного стола.

– Это действительно ужасно! – задумчиво произнёс князь, как бы отвечая скорее самому себе, а не своим собеседникам.

Чиновник рассказал ещё некоторые более интересные подробности только что оконченного им следствия и при этом добавил, что княжна

Людмила Васильевна хотя несколько и поправилась, но не выходит из своей комнаты, и он не решился беспокоить её.

– Надо будет приехать в другой раз, – меланхолически заметил он.

– Я дам вам знать, когда будет можно, – встрепенулся князь Сергей Сергеевич. – Дайте ей совершенно оправиться; напишите ваш адрес, по которому я мог бы послать нарочного. Вот чернила и перья.

Чиновник сел за письменный стол, написал требуемые сведения и стал прощаться. Он уехал довольный поднесённым ему князем денежным подарком.

Друзья остались одни, но остальной вечер и ночь прошли для них томительно долго. Разговор между ними не клеился. Оба находились под гнетущим впечатлением происшедшего. Поужинав без всякого аппетита, они отправились в спальню, но там долго лежали без сна на своих постелях, каждый думая свою думу.

Между тем в Зиновьеве тела убитых княгини и Тани обмыли, одели и положили под образа – княгиню в зале, а Татьяну – в девичьей.

К ночи прибыли из Тамбова гробы, за которыми посылали нарочного. Вечером, после отъезда чиновника, отслужили первую панихиду и положили тела в гробы.

Об этой панихиде не давали знать князю Луговому, и на ней не присутствовала княжна Людмила.

Князь Сергей Сергеевич и граф Свиридов прибыли на другой день к утренней панихиде. К её началу вышла из своей комнаты и княжна. Она страшно осунулась и побледнела. Князь пошёл к ней навстречу. Она церемонно присела ему, не поднимая на него взора. Он хотел высказать ей своё сочувствие, но язык не повиновался ему – таким безысходным горем, недоступным человеческому утешению, веяло от всей её фигуры. Его сердце больно сжалось, и он остановился рядом со своей невестой, так же церемонно приветствовавшей и его друга.

Панихиды служили по очереди: сперва в зале у гроба княгини, а затем в девичьей, у гроба Татьяны Берестовой. “По окончании служб я улучу минуту, чтобы переговорить с нею”, – мелькнуло в уме князя Сергея

Сергеевича.

Но на этот раз ему это не удалось. При конце второй панихиды княжна упала без чувств на руки следившей за нею Федосьи. С помощью дворовых девушек её унесли в её комнату, и там она осталась лежать в забытьи.

Князь, вернувшись в Луговое в сопровождении своего друга, тотчас послал лошадей в Тамбов за доктором, приказав того доставить к нему в имение.

– Я сам с ним поеду в Зиновьево, – высказал он свои соображения графу Свиридову.

– Это, конечно, будет лучше, – заметил тот. – Кстати, – добавил он, – прикажи запрягать и моих лошадей; мне надо быть завтра в Тамбове.

– Зачем? – взволновался князь. – Ты меня оставляешь?

– Ведь я не могу утешить тебя. Ты именно в таком состоянии, когда человеку надо быть одному, когда тяжело иметь возле себя даже самого близкого друга. Я понимаю это, мне тоже тяжело, что я своим приездом как будто принёс тебе несчастье.

– Что за вздор! Я сам заслужил его.

– Но ведь любимая тобою девушка жива.

– Что же из этого? Свадьбу придётся отложить на год, а год – много времени. Кроме того, Людмила стала совсем другой.

– Не можешь же ты требовать от неё, чтобы она была весела и довольна. Подумай сам: перенести для молодой девушки такое несчастье, взглянуть в глаза смерти. Да ведь и мы с тобою заболели бы, а не то что она, слабая девушка.

– Это ты верно. Я сам начинаю мешаться. Я это чувствую.

– Успокойся, сообрази всё наедине и после похорон поговори с нею о будущем. Быть может, она согласится переехать в Петербург и отдаться в качестве твоей невесты под покровительство государыни.

– Вот спасительная мысль! – воскликнул князь, просветлев. Я поговорю с нею об этом и прямо настою на этом по праву жениха. Не может же она оставаться на год в Зиновьеве, где всё ей будет напоминать ужасное

происшествие. Это было бы безумие!

– А меня всё же ты отпусти. Мне надо окончить ещё все дела в Тамбове, да пора и в Петербург Приезжай и ты скорей туда со своей невестой. А пока помни: перемелется всё – мука будет. Время – лучший врач. Вы оба любите друг друга. Если Бог попустил умереть княгиню такой страшной смертью – Его святая воля, надо примириться. В Петербурге год пролетит незаметно – и вы будете счастливы!

– Кабы твоими устами да мёд пить.

Граф приказал своему лакею укладываться и вскоре, простившись с другом, покатил в Тамбов.

Князь Сергей остался один. Он пошёл бродить по парку и совершенно неожиданно для самого себя очутился у рокового павильона. Войдя в него, он сел на скамейку и задумался.

Мысли одна другой безотраднее неслись в его голове, с горькой улыбкой вспоминал он утешения только что покинувшего его друга.

“Началось! – упорно мысленно твердил он. – Только началось. И ещё будет. Но что? Вот страшный вопрос! “Адские силы против вас!” – вспомнил князь Сергей слова призрака. Как бороться с этими силами? С какой стороны они направят свои удары? Разве третьего дня, уезжая из Зиновьева, оставив всех там весёлыми и здоровыми, он мог ожидать, что в ту же ночь рука злодея покончит с двумя жизнями и что его невеста будет на волосок от смерти? Так и теперь! Разве он может быть спокойным хотя минуту? Может ли быть он уверен, что если не злодей, то сама смерть не отнимет у него дорогую жизнь его невесты, видимо потрясённой и нравственно, и физически?

Пред ним восставал образ княжны Людмилы в траурном платье, какую он видел её сегодня утром.

“Ведь краше в гроб кладут”, – мелькнуло в его голове. Однако, подобно светлomu лучу, вдруг озаряющему непроглядную тьму, князю Луговому вспомнились слова графа Петра Игнатьевича: “Как она любит тебя!” Он стал вспоминать слова княжны Людмилы, выражение её прекрасного лица, все мелочные детали обращения с ним, все те чуть заметные

чёрточки, из которых составляются целые картины. Картина действительно составила и была упоительна для князя Сергея. Он глубоко убедился в том, что княжна точно любила его, а если это было так, то он был охранён от действия адских сил. Провидение, видимо, для этого спасло его Людмилу. "Она не в себе. Помутилась!" – вдруг пришли ему на память слова Федосьи, и он ужаснулся этому.

Что, если действительно княжна сошла с ума от испытанного потрясения? Ведь тогда всё кончено.

И снова мрачные мысли тёмными силуэтами стали проноситься перед Луговым, и его тревожное состояние то увеличивалось, то уменьшалось; это была положительно лихорадка отчаяния.

Так прошло время до вечера. Князь вошёл в свою спальню и с каким-то почти паническим страхом посмотрел на сделанную постель. Он чувствовал, что благодетельный и умиротворяющий сон не будет его уделом нынешнюю ночь, и стал ходить по комнате.

Вдруг его взгляд упал на висевший у его постели образок Божией Матери в золотой ризе, которым благословила его покойная мать при поступлении в корпус, и он спустя минуту уже стоял на коленях у постели и горячо молился.

В детстве его учила молиться мать, которая была глубоко религиозной женщиной и сумела сохранить чистую веру среди светской шумной жизни. Князь помнил, что он когда-то ребёнком, а затем мальчиком любил и умел молиться, но с годами, в товарищеской среде и в великосветском омуте тогдашнего Петербурга, утратил эту способность. Однако разразившийся теперь над ним удар заставил его обратиться к Тому Высшему Существу, о котором он позабыл в довольстве и счастье, в гордом, присущем человеку сознании, что жизнь зависит от него самого, что он сам для себя может создать и счастье, и несчастье.

Богатый, знатный, молодой баловень света, он не знал препятствий для исполнения своих желаний, даже своих капризов. По мановению его руки все, казалось, были только тем и озабочены, чтобы доставить ему приятное, чтобы окружить его всевозможным комфортом. Встреча с

красавицей княжной, без труда и без борьбы сделавшейся его невестой, довершила самообольщение. И вдруг...

Тревога и страх объяли князя Сергея. Это чувство усугублялось ещё, видимо, связанными с разразившимся над головой князя ударом таинственными происшествиями и предсказаниями. Князь окончательно потерял голову.

“Началось!” – это слово, выражавшее полнейшую покорность ударам судьбы, окончательно лишило князя нравственных и физических сил.

Взгляд, случайно брошенный на икону – благословение матери, – сразу изменил его душевное настроение. Он упал на колени в горячей молитве. Однако его уста не шептали слов. Это была молитва души, та подкрепляющая молитва, которая не требует ни человеческого ума, ни человеческого языка; это было твёрдое упование на неизречённую милость Бога, покорность Его воле.

Слёзы неудержимо текли из глаз князя, но это были не слёзы безысходного отчаяния, которое ещё так недавно владело его душой, а покорные слёзы ребёнка пред своей горячо любимой и беззаветно любящей матерью.

Молитва совершенно переродила и успокоила князя.

– Да будет воля Твоя! – прошептал он в постели и заснул спокойным сном.

XI. НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ

Через два дня состоялись похороны несчастных жертв страшного злодеяния.

Все соседние помещики, все тамбовские власти, во главе с наместником и почётными лицами города, явились отдать последний долг титулованной помещице, погибшей такой трагической смертью. Большинство, конечно, было привлечено к исполнению этого долга не чувством к покойной, а любопытством присутствовать при одном из актов трагедии жизни с

романическим оттенком, придаваемым положением осиротевшей княжны-невесты. (Слухи о том, что князь Луговой объявлен женихом княжны Полторацкой, уже успели облететь чуть ли не всё наместничество.) Все приехавшие в Зиновьево рассыпались пред Луговым в своих сожалениях и тревогах за будущее несчастной сироты княжны.

– Я думаю, что государыня согласится заменить ей мать, как моей невесте, – отвечал Сергей Сергеевич.

– Это более чем нужно, – замечали сочувствующие.

Княжна Людмила, которую также донимали радители о её будущей судьбе, отделялась полусловами и короткою благодарностью. Любопытные оставались далеко не удовлетворёнными ею.

– Гордячка! – заключали некоторые, другие же, качая головой, говорили:

– Кажется, испуг сильно подействовал на неё. Она какая-то странная, совершенно не похожа на себя.

Это мнение долетело до ушей Лугового и заставило болезненно сжаться его сердце.

“Неужели Федосья права и княжна помутилась?” – подумал он.

Хотя с момента искренней молитвы в душу князя Сергея снизошло необычайное спокойствие и он, весь предавшись воле Божьей, не отчаивался и не волновался, всё же участь любимой девушки не могла быть для него безразличной. Его мучило главным образом то, что он до сих пор не имел возможности перекинуться с нею даже словом.

Прибывший из Тамбова доктор осмотрел больную и хотя успокоил Сергея Сергеевича за исход нервного потрясения, но был так сосредоточенно глубокомыслен, что его успокоительные речи теряли, по крайней мере, половину своего значения. Кроме того, он безусловно запретил говорить с княжной о чём-нибудь таком, что могло бы взволновать её.

– Мне надо будет переговорить с нею о будущем. Ей надо как-нибудь устроиться, – возразил князь.

– Надо подождать, ваше сиятельство, хоть несколько дней.

Князь вздохнул – приходилось подчиниться.

Он с радостью увидел, что княжна в день похорон, видимо, чувствовала

себя бодрее. Она разговаривала с некоторыми из подходивших к ней, с князем поздоровалась менее холодно и даже протянула ему руку.

Он почтительно поцеловал последнюю, но, Боже, сколько стоил ему этот почтительный поцелуй! Ему хотелось бы осыпать горячими поцелуями эту дорогую руку, однако расстроенный вид девушки и присутствие посторонних лиц заставило его сдержаться, что причиняло ему страшные страдания. Глубоко потрясающая была картина, когда поднятые на руках гробы с жертвами убийцы вынесли из дома и процессия потянулась к сельской церкви села Зиновьева. Впереди несли богатый гроб, в котором покоились останки княгини Вассы Семёновны. За ним шла княжна, опираясь на руку князя Лугового, как своего жениха, а далее следовали многочисленные провожатые. В хвосте печальной процессии дворовые девушки несли простой дощатый гроб с телом несчастной Тани Берестовой, самоотверженно погибшей у порога комнаты своей госпожи-подруги. За ним шла небольшая кучка дворовых и крестьян.

В довольно просторной деревянной церкви Зиновьева было приготовлено возвышение недалеко от амвона, и на него поставили гроб с прахом княгини Полторацкой. Сзади него нашёл себе место гроб с телом дворовой девушки.

По окончании заупокойной литургии и отпевания гроб с телом княгини Полторацкой был опущен в родовой склеп Зиновьевых, где шестнадцать лет тому назад нашёл себе упокое и муж Вассы Семёновны, а Таню Берестову похоронили на кладбище при церкви, и над её могилой водрузили большой чёрный деревянный крест с белой надписью, гласившей с одной стороны: "Здесь лежит тело рабы Божьей Татьяны Никитиной Берестовой", с другой: "Упокой, Господи, душу её в селениях праведных".

После того как гроб опустили в могилу, все приглашённые возвратились в дом, где был уже накрыт поминальный обед. Для дворовых людей был накрыт стол в застольной, а для крестьян – на дворе.

Княжна несколько раз в церкви лишалась чувств и наконец была замертво унесена с кладбища, так как в момент опускания гроба с телом

её матери в склеп с нею сделался истерический припадок. Князь Луговой, в качестве жениха молодой хозяйки, распоряжался за поминальным обедом. Однако по окончании обеда княжна снова появилась среди гостей, которые уже начали разъезжаться.

– Могу я остаться побеседовать с вами? – улучив минуту, спросил её Луговой.

– Не сегодня, князь! Я положительно еле стою на ногах.

Князю Сергею оставалось только откланяться, и он уехал домой.

Несколько дней подряд он ездил в Зиновьево с целью переговорить с княжною, но та не принимала его.

– Что с нею? Она больна? – допытывался он у Федосьи.

– Слабы очень, а не то чтобы больны были, – докладывала Федосья, – немножко посидят, а всё больше в постельке. Каждый день плачут. Да и как не плакать? Ведь такое горе!

– Это верно, но...

Князь не закончил своей фразы.

– Я вовсе не узнаю её сиятельства. Словно подменили её, – продолжала между тем Федосья. – Точно она, и точно не она.

– Какой ты вздор мелешь? В чём же ты находишь перемену?

– Да, к примеру сказать, хоть относительно вас, ваше сиятельство: ещё с неделю тому назад только вы у неё на языке и были, теперь же следовало бы им вас принять, а они: “Не могу да не могу!” И какая тому причина, ума не приложу.

– Пусть отдохнёт, выплачется, – со вздохом ответил князь. – Иди к ней и, главное, ничем не раздражай её. Если княжна спросит обо мне, то скажи, что я был несколько раз и прошу её уведомить, когда она может принять меня.

Князь Сергей уехал и действительно целую неделю не показывался в Зиновьеве, ограничиваясь ежедневной присылкой нарочного “справиться о здоровье её сиятельства”. Наконец посланный вернулся с утешительным известием, что княжна чувствует себя лучше и просит его завтра пожаловать.

Князь Сергей не спал всю ночь, дожидаясь часа желанного свидания.

Княжна Людмила приняла его в бывшем кабинете покойной матери.

“И она, и не она!” – мелькнуло в уме Лугового выражение Федосьи, неодобрительно высказавшейся об изменившихся отношениях княжны к нему, её жениху.

Хотя он тогда прекратил этот разговор, но слова старой служанки запали в его голову, и он часто возвращался к воспоминанию о них. В конце концов ему стало казаться, что он нашёл причину перемены княжны к нему. Поражённая обрушившимся несчастьем, она очевидно, приписала его легкомысленному поступку князя, который из простого любопытства, из желания угодить её капризу открыл роковой павильон. Удар за это нарушение дедовского завета поразил её, как близкое к нарушителю существо, как невесту его, князя Лугового. Естественно, что она и нравственно, и физически разбитая последствием, не могла отнестись равнодушно к причине своего несчастья – князю – и обвиняла его.

“Конечно, это пройдёт со временем, – думал князь Сергей – Не может же она не рассудить, что у меня не было в данном случае ни желания, ни даже помышления причинить ей зло. Она ведь знает, как я люблю её, знает, что я готов пожертвовать для неё жизнью. Разорвать отношения только вследствие этой сумасбродной мысли было бы сумасшествием”.

Утром и вечером князь Сергей молился; молитва укрепляла его, поселяла надежду в его истерзанном сердце; он терпеливо ждал свидания, которое должно было, по его мнению, разъяснить всё, и наконец дождался его.

Княжна Людмила встала с кресла при входе его в кабинет и пошла к нему навстречу усталой походкой. Князь наклонился к её руке и горячо поцеловал её. Чуть заметная усмешка мелькнула на побелевших губах княжны.

– Садитесь, князь! – тихо сказала она.

Луговой не узнал её голоса, но повиновался и, только сев в кресло против княжны, взглянул на неё. Она чрезвычайно изменилась: бледная, худая, с опухшими от слёз глазами, она была неузнаваема.

– Княжна, поберегите себя! – невольно вырвалось у него восклицание.

– Зачем? – почти шёпотом начала она. – Судьба отняла у меня двух самых близких мне людей – мою мать, которую я боготворила, и Таню, которая была моей подругой детства и которую я так любила.

– Вы забываете, княжна, что есть ещё один человек, который готов умереть за вас! – заметил князь Сергей.

– Я не забываю этого, князь, и благодарю вас. Но судьба, видно, против того, чтобы этот человек сделался мне близким... по крайней мере, в скором времени. Вы, конечно, понимаете, что после всего случившегося нельзя думать о свадьбе ранее истечения года.

– Я понимаю это, – упавшим голосом проговорил князь.

– А год – много времени. Может всё перемениться. Вы уедете в Петербург.

– Я полагал, что и вам следовало бы ехать туда же. Жизнь здесь, полная тяжёлых воспоминаний, невыносима.

– Вы правы, я тоже поеду туда.

– В качестве моей невесты государыня не откажет взять вас под своё покровительство.

– С этим я не согласна, князь. Что будет через год, я не знаю; если вы не измените в своих чувствах и возобновите ваше предложение, я, быть может, приму его, но теперь я освобождаю вас от вашего слова и надеюсь, что вы освободите меня. Я написала дяде и найти покровительство государыни могу в качестве его племянницы или даже просто в качестве княжны Полторацкой.

Князь не верил своим ушам. Он сидел бледный, уничтоженный.

Княжна Людмила заметила впечатление, произведённое на жениха её последними словами, и ей, видимо, стало жалко его.

– Это не разрыв, а только необходимая отсрочка, – сказала она.

Князь Сергей, казалось, не слышал этих слов. Он продолжал смотреть на княжну почти безумными глазами и, только через несколько минут овладев собою, произнёс:

– Вы отказываете мне в вашей руке, княжна?

– Ничуть. Я повторяю вам, что это лишь неизбежная отсрочка. Вы сами

согласитесь со мною, что до истечения года траура не может быть речи о свадьбе. Вместе с тем целый год быть женихом и невестой будет стеснительно и для меня, и для вас.

Князь Сергей сделал жест возражения. Княжна остановилась, видимо желая дать ему высказаться, но он молчал. На его лице проходили тени, указывавшие на переживаемые им внутренние страдания.

– Я не говорю, что отказываюсь быть вашей женой, – продолжала княжна, – я только против того, чтобы это было оглашено преждевременно и таким образом наложило на меня и на вас трудно разрываемые путы. Лучше будет, если мы будем свободны. Вы уедете в Петербург, я приеду туда же. Мало ли с кем столкнёт вас и меня судьба? Мало ли что и меня, и вас может заставить изменить решение?

– Только не меня, княжна! – с необычайным волнением сказал Луговой.

– Дай Бог!.. Быть может, и я не изменюсь к вам, и тогда наш союз пред Богом будет совершенно свободным, а не вынужденным обстоятельством, принятым за год вперёд.

– Ваша воля, княжна!.. – после некоторой паузы произнёс князь Сергей, и в тоне его голоса слышалось отчаяние.

– Я знала, что встречу в вас сочувствие моему плану. С вашей стороны было бы невеликодушно воспользоваться словом девушки, ничего и никого не выдавшей, и, таким образом, взять на себя тяжёлую ответственность в случае, если она после венца сознает свою уже непоправимую ошибку... Я много думала об этом в эти дни и рада, что не ошиблась в вас. Год жизни в Петербурге будет достаточен для меня, чтобы я узнала свет и людей и сознательно решила свою участь. Я думаю, князь, что пальма первенства останется всё-таки за вами.

Княжна протянула ему руку, однако Луговой не заметил этого движения её и сидел в глубоком раздумье.

Людмила Васильевна убрала руку и спросила с особым ударением:

– А ваш друг?

– Он уехал. – Вышел из задумчивости князь. – Ему необходимо было быть в Тамбове, а оттуда он спешит в Петербург.

– Мне очень жаль, что не удалось проститься с ним, – заметила княжна. Князь Сергей быстро и внимательно посмотрел на неё. Она сидела с опущенным взглядом. В глазах князя мелькнул ревнивый огонёк. У него явилась мысль, что уж не графу ли Свиридову обязан он изменившемуся к нему отношением княжны Людмилы. Нехорошее чувство шевельнулось в его душе к другу, но он тотчас же мысленно осудил себя за это чувство.

“Нет, это не то, – неслось в его голове, – просто она считает меня обречённым на несчастье и хочет так или иначе отделаться от меня”.

Эта мысль холодила ему сердце, но самолюбие вступило в свои права, и князь не нашёл возможным просить любимую им девушку изменить её решение.

“Будь что будет!” – решил он и деланно холодно произнёс:

– Граф Свиридов, конечно, с вашего позволения, не преминёт сделать вам визит в Петербурге.

– Я буду рада, – уронила княжна.

– Я передам ему. Я еду завтра в Тамбов, а затем вместе с графом в Петербург, – продолжал князь.

– Значит, до свиданья на берегах Невы! – Быстро встала княжна.

Луговому снова понадобилось много силы воли, чтобы остаться наружно спокойным, когда горячо любимая им девушка так явно выразила свою радость при известии, что он уезжает из Лугового. Он рассчитывал, что княжна выразит хотя бы сожаление о его отъезде или попросит его повременить с этим отъездом, чтобы помочь ей устроить дела по имению. И вдруг она почти прогоняет его! Однако, сделав над собою усилие воли, он встал и сказал упавшим голосом:

– До свиданья, княжна!

– До свиданья, до лучших времён. Простите, князь, что, быть может, я невольно действовала не так, как вы бы того хотели. Вы сами, раздумав, убедитесь, что я права, предложив вам не связывать до поры до времени ни себя, ни меня.

– Не утешайте меня, княжна, – не выдержал наконец Сергей Сергеевич, – я не нуждаюсь в этом утешении, хотя не скрою от вас, что

ваше решение до боли сжало мне сердце. Но я не хочу навязываться вам в мужа, и если вы действительно желаете испытать меня и себя, то я преклоняюсь пред этим решением и не боюсь, со своей стороны, этого испытания; если же вы избрали этот путь, как деликатный отказ в вашей руке, то и в этом случае мне остаётся только покориться вашей воле и ждать, когда для меня станет ясно то или другое ваше намерение... До свидания!

Княжна подала ему руку. Луговой поцеловал её, на этот раз с далеко не деланною холодною почтительностью, и вышел.

Он не помнил, как добрался до Лугового, и только в тиши своего кабинета стал обдумывать своё положение.

Любимая им девушка видимо старалась отделаться от него, и, таким образом, он снова был свободен, снова одинок.

“Твоё спасение в любимой девушке”, – пришли ему на память слова призрака, и он тотчас подумал:

“Теперь, значит, спасенья нет... Ну, будь что будет!.. Да будет воля Твоя, Господи!”

На князя напало хладнокровие обречённого человека.

Для того чтобы ещё более успокоиться, ему надо было переменить место. Поэтому он отдал приказание готовиться к отъезду и назначил его на следующий день.

По въезде в Тамбов князь приказал прямо ехать к графу Свиридову, в бывший дом графини Загряжской.

Граф Пётр Игнатьевич был дома и, увидев в окно экипаж Лугового, выбежал на крыльцо.

– Что тобой? Что случилось? – встретил он друга восклицанием.

Действительно, князь Сергей страшно осунулся и исхудал. Его глаза получили какой-то тревожный, лихорадочный блеск.

– Говори же, говори! – озабоченно спросил его граф, вводя в угловую большую комнату, служившую ему кабинетом и спальней.

– Ничего особенного, – нехотя ответил князь.

– Ты со мной не хитри. Если бы не случилось ничего особенного, ты, во-

первых, не уехал бы из Лугового чуть ли не в погоню за мной, а вторых, не имел бы такого страшного вида. Ведь на тебе лица нет.

– Я просто устал с дороги, – деланно хладнокровно ответил князь, опускаясь действительно с видом крайнего утомления на диван, покрытый тиснёным коричневым сафьяном.

– Нет, брось томить меня! Говори, что случилось?

– Говорю тебе, что ничего особенного. Княжна Людмила Васильевна находит это даже разумным и полезным.

– Ты говорил с нею? Что же она?

– Она просила до истечения года траура забыть, что я и она – благословлённые её покойной матерью жених и невеста.

– Вот как? – удивился граф. – Почему же это?

Луговой передал свой разговор с княжною, каждое слово которого глубоко и болезненно запечатлелось в его памяти. Граф слушал его внимательно, медленно ходя из угла в угол комнаты, а когда князь кончил, выразил своё мнение не сразу.

– Знаешь что, – начал он, сделав сперва молча несколько концов взад и вперёд по комнате, – она отчасти права. Проведи она этот год в деревне, конечно, у неё не могло бы и явиться мысли, что она может предпочесть тебя кому-нибудь другому. Но она решилась поехать в Петербург и там, на самом деле, быть может, встретится с человеком, который произведёт на неё большее, чем ты, впечатление. Неужели тебе было бы приятно, если бы она вышла замуж за тебя только действительно в силу обязательства, принятого на себя за год до свадьбы?

– Избави Бог! – воскликнул князь Сергей. – Я вполне понял её и согласился с нею; но ты, кажется, понимаешь, что от всего этого я не могу ощущать особое удовольствие!

– Это я понимаю. Но будь мужчиной. Призови наконец на помощь своё самолюбие!

– Я всё это сделал. Я здесь и отсюда еду с тобой в Петербург.

– Вот это – дело! Женщины любят только тех, кто ими пренебрегает. Истинной любви, восторженной привязанности, безусловной верности

они не ценят. Им, вероятно, начинает казаться, что мужчиной, который так дорожит ими, не дорожат другие женщины. Они начинают искать в обожающем их человеке недостатки и всегда при желании, если не находят их, то создают своим воображением. Считая такого мужчину своею неотъемлемою собственностью, они привыкают к нему, и он им надоедает.

– Ну, всё это едва ли может относиться к княжне, ещё не искушённой светом. Она просто влюбилась в другого и не смела сказать об этом матери.

– В другого? В кого же? – спросил граф.

– В тебя! – в упор сказал ему князь Сергей.

– Ну, брат, ты действительно помутился рассудком.

– Не смейся. Я не ревную: доказательством этого служит то, что я приехал прямо к тебе. Ты не виноват в чувстве, которое поселил в княжне, но это – ты. Я заметил это сегодня, когда она спрашивала о тебе.

– А она спрашивала? – с плохо подавленным волнением спросил граф Свиридов.

– Да, и даже очень жалела, что не успела проститься с тобой, выразила желание, чтобы ты посетил её в Петербурге.

– Это простая любезность, – с деланным равнодушием бросил граф Пётр Игнатьевич. – Я даю тебе слово, что до тех пор, пока ты сам не откажешься от неё и не скажешь об этом мне, я не подам тебе повода ревновать ко мне. Если хочешь, я даже буду избегать встречи с нею.

– Зачем? Поставленные тобою препятствия будут только разжигать её чувство. Будь что будет! Переменим этот разговор.

От ревнивого, зоркого взгляда князя Сергея Сергеевича не ускользнуло впечатление, произведённое на графа его сообщением, что княжна Людмила Васильевна влюблена в него.

“Он сам влюблён в неё. Да и как не быть в неё влюблённым?” – неслось в его голове.

Приятель действительно переменил разговор, и граф стал рассказывать князю о своих тамбовских знакомствах и даже о лёгкой интрижке с одной

из представительниц тамбовского света. Впрочем, интрижка оказалась непродолжительной, и друзья недели через полторы покатали в Петербург.

XII. В ПЕТЕРБУРГЕ

Петербург описываемого времени представлял собою город разительных контрастов. Рядом с великолепным кварталом стоял дикий лес, возле огромных палат и садов – развалины, деревянные избышки, построенные из хвороста и глины лачуги или пустыри.

Но всего поразительнее было то, что всё это изменялось быстро, как бы по волшебству. Вдруг исчезали целые ряды деревянных домов и вместо них появлялись каменные, хотя и неоконченные, но уже населённые.

С точностью определить границы города было трудно. Границей считалась река Фонтанка, левый берег которой представлял предместья от взморья до Измайловского полка – “Лифляндское”, от последнего до Невской перспективы – “Московское”, и от Московского до Невы – “Александро-Невское”. Васильевский остров по 13-ю линию входил в состав города, а остальная часть, вместе с Петербургской стороною, по речку Карповку, составляла тоже предместье.

В предместьях определялось строить дома: по набережной Невы каменные, не менее как в два этажа, а по Фонтанке можно было возводить и деревянные, но не иначе как на каменном фундаменте. Весь берег Фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож того времени.

Первый деревянный мост через Фонтанку был Аничков, сооружённый в 1715 году. Название он получил от прилегавшей к нему Аничковской слободы, построенной подполковником М. О. Аничковым. Позднее, в 1716 году Аничков мост стал подъёмным, и здесь были караульные дома для осмотра паспортов у лиц, въезжающих в столицу.

Возле этого моста, на правой стороне Фонтанки, на углу, где теперь

кабинет его величества, стоял двор лесоторговца Д. Л. Лукьянова. Он был куплен императрицей Елизаветой Петровной 6 августа 1741 года для постройки Аничковского дома для графа Алексея Григорьевича Разумовского.

Ранее этого императрица подарила Разумовскому дворец, в котором сама жила до восшествия своего на престол. Этот дворец был известен под именем "цесаревнина" и находился на Царицыном лугу, недалеко от Миллионной, на месте нынешних Павловских казарм.

По приобретении двора Лукьянова императрица Елизавета приказала гофинтенданту Шаргородскому, архитектору Земцову и его гезелям, чтобы они "с поспешением" исполняли подготовительные работы. Вскоре после того начали вбивать сваи под фундамент дворца, делать гавань на Фонтанке и разводить сад. Спустя три года были представлены императрице шестнадцать чертежей дворца. Елизавета Петровна одобрила план постройки каменных палат, и та была начата под наблюдением графа Растрелли.

В 1746 году императрица приказала поставить на крыше дворца два купола: один, с крестом, на Невской перспективе, где предназначено было быть церкви, и для симметрии, на противоположной части дворца, – другой купол, на котором была утверждена звезда.

Аничковский дворец был очень большой, в высоту в три этажа и имел совершенно простой фасад. На улицу выходил на сводах висячий сад, равный ширине дворца.

Другой, обыкновенный, дворцовый сад и службы занимали всё пространство до Большой Садовой улицы и Чернышёва моста, то есть всю местность, где теперь находятся Александрийский театр, Екатерининский сквер, Публичная библиотека, здание театральной дирекции и дом против него, который принадлежит министерству внутренних дел, по Театральной улице.

Подъезд со стороны Фонтанки в былое время давал возможность подъезжать на лодке к ступеням дворца. На месте Александрийского театра стоял большой павильон, в котором помещалась картинная

галерея Разумовского, а в другой комнате, напротив, в том же павильоне, давались публичные концерты, устраивались маскарады, балы и прочее. За дворцом шёл вдоль всей Невской перспективы пруд с высокими тенистыми берегами и бил фонтан. Там, где стоит Публичная библиотека, был питомник растений, позади шли оранжереи, по Садовой улице жили садовники и дворцовые служители, а на улице, против Гостиного двора, стоял дом управляющего Разумовского, Ксиландера.

На другой стороне, на углу Невской перспективы и Большой Садовой улицы, находился дом Ивана Ивановича Шувалова, в то время только что оконченный и назначенный для жительства саксонского принца Карла. Шувалову принадлежал весь квартал, образуемый теперь двумя улицами – Екатерининской и Итальянской. В этой же местности, где теперь дом министерства финансов, помещалась Тайная канцелярия. При переделке последнего здания, в сороковых годах девятнадцатого столетия, были открыты неизвестно куда ведущий подземный ход, остовы людей, заложенных в стенах, орудия пыток, большой кузнечный горн и другие ужасы русской инквизиции.

В 1747 году Елизавета Петровна повелела выстроить церковь в новостроящемся дворце, что у Аничкова моста, и работы по устройству её продолжались до конца 1750 года под надзором графа Растрелли, а торжественное освящение было совершено в 1751 году, в присутствии императрицы и всего двора, всеми жившими тогда в Петербурге архиереями-малороссами, приятелями графа Разумовского.

Елизавета Петровна, как известно, никогда не жила в Аничковском дворце, но по праздникам нередко посещала храм. В 1757 году она пожаловала весь дворец графу Алексею Григорьевичу Разумовскому “в потомственное владение”.

Церквей в Петербурге было тогда немного. Все они были низкие, невзрачные, стены в них – увешаны вершковыми иконами, пред каждой горела свечка или две-три, отчего духота в церкви была невообразимая. Дьячки и священники накладывали в кадиланицы много ладана, часто подделанного, из воска и смолы, и к духоте примешивался и угар.

Священники, отправляясь кадить по церкви, держали себя так, что правая рука была занята кадильницею, а левая протянута к прихожанам, и те клали в неё посильные подачки; рука наполнялась, быстро опускалась в карман и опять, опорожнённая, была к услугам прихожан.

Доходы священников в то время не отличались обилием: за молебен платили им три копейки, за всенощную – гривенник, за исповедь – копейку. Иногда прихожане присылали им к празднику муку, крупу, говядину и рыбу. Но для этого нужно было заискивать у прихожан. Если же священник относился строго к своим духовным детям, то сидел без муки и крупы и довольствовался одними пятаками да грошами. А эти пятаки в ту пору далеко не могли служить обеспечением.

Случалось тогда и то, что во время богослужения являлся в церковь какой-нибудь пьяный, но богатый и влиятельный прихожанин и, чтобы показать себя, начиная читать священнику нравоучения, и бедняк священник, нуждавшийся в его подачке, должен был выносить все эти безобразия. Иногда в церкви прихожане заводили между собою разговоры, нередко оканчивавшиеся криком, бранью и дракой. Случалось также, что во время службы раздавался лай собак, забежавших в церковь, падали и доски с потолка. Деревянные церкви тогда сколачивались кое-как и отличались холодом и сыростью.

Торжественностью богослужения отличалась только одна придворная церковь. Императрица Елизавета очень любила церковное пение и сама пела со своим хором. К Страстной и Пасхальной неделям она выписывала из Москвы громогласнейших дьяконов. Православие Елизаветы Петровны было искренне; из документов описываемого времени видно, что она не пропускала ни одной службы, становилась на клиросе вместе с певчими и в дни постные содержала строжайший пост.

Тогдашние руководители православия – архиепископ Феодосий и протоиерей Лубянский – были скорее ловкие, властолюбивые царедворцы, прикрытые рясою, нежели радетели о благе духовенства. Закон того времени позволял принимать и ставить в духовный чин лиц из всех сословий, лишь бы нашлись способные и достойные к служению в

церкви. Из дел консистории видим в духовных чинах лиц всех званий: сторожей, вотчинных крестьян, мещан, певчих, купцов, солдат, матросов, канцеляристов, как учившихся в школе, так и необучавшихся. Хотя указом ещё от 8 марта 1737 года требовалось, чтобы в духовные чины производились лишь те, которые “разумели и силу букваря, и катехизиса”, но на самом деле церковные причты пополнялись лицами, выпущенными из семинарии “по непонятию науки”, или по “безнадёжности” в “просодии”, или “за урослием”. Ставились на иерейские должности, и с такими рекомендациями: “школьному учению отчасти коснулся”, или: “преизряден в смиренномудрии и трезвости”, или: “к предикаторскому делу будет способен”.

Не отличаясь грамотностью, петербургское духовенство отличалось ужасною грубостью нравов. В среде его то и дело слышалась брань, происходили частые ссоры между собою и даже с прихожанами в церквях.

Впрочем, на главы виновных сыпались тяжкие кары. Духовенство не было освобождено от телесных наказаний, и потому всякий, власть имеющий, считал себя вправе, без суда и расправы, по своему усмотрению, наказывать лиц духовного звания, не говоря уже об архиереях, по мановению которых хватали священника, тащили на конюшню и там нещадно били плетью и шелепами.

Церковное благочиние в то время редко соблюдалось. В церквях толпились юродивые “в кощунственных одеждах” и нищие, которые тут же в церкви собирали подаяние и тем развлекали молящихся. Впрочем, последние и сами без всякого благоговения относились к посещаемому ими храму, громко разговаривали и даже кричали.

Таково было положение церкви и духовенства в царствование Елизаветы Петровны.

Не большой порядок был и в самом Петербурге, и даже в его центральной части, где помещались дворцы.

Разбои и грабежи были тогда сильно распространены в самом Петербурге. Так, в лежащих вокруг Фонтанки лесах укрывались

разбойники и нападали на прохожих и проезжих. В конце концов полиция обязала владельцев дач по Фонтанке вырубить леса, "дабы вора́м пристанища не было". То же самое распоряжение о вырубке лесов последовало и по Нарвской дороге, на тридцать сажен в каждую сторону, "дабы впредь невозможно было разбойникам внезапно чинить нападение".

Были грабежи и на Невской перспективе, так что приказано было восстановить пикеты из солдат для прекращения сих "зол". Имеется также известие, что на Выборгской стороне, близ церкви Сампсония, в Казачьей слободе, разные непорядочные люди имели свой притон. Правительство сделало распоряжение перенести эту слободу на другое место.

Бывали случаи грабительства, которые в судебных актах того времени назывались "гробокопательствами". Так, в одной кирке оставлено было на ночь тело какого-то знатного иностранного человека. Воры пробрались в кирку, вынули тело из гроба и ограбили. Воров отыскивали и казнили смертью.

Для прекращения разбоев правительство принимало сильные меры, но они не достигали своей цели. Разбойников преследовали строго, сажали живыми на кол, вешали и подвергали другим страшным казням, а разбои не унимались. Одно подозрение в поджоге неминуемо влекло смерть.

Правосудие было поставлено очень плохо; в большинстве случаев действовали произвол и усмотрение, и чрезвычайное значение имела Тайная канцелярия. Сильно процветали облыжные показания и доносы; последние в то время делались даже самыми близкими людьми, например, жёнами на мужей и обратно; доноски́ки получали хорошие награды.

К замечательным постройкам описываемого времени, кроме упомянутых нами, должны относиться дома графов Строгановых на Невском, Воронцова на Садовой улице (теперь Пажеский корпус), Орлова и Разумовского (ныне Воспитательный дом), Смольный монастырь и составлявший резиденцию императорского дома Зимний дворец. Все эти

постройки производились знаменитым итальянским зодчим графом Растрелли, выписанным из-за границы ещё императором Петром I.

Постройки этого художника отличаются особым характером величия, а в ряду лучших произведений зодчества XVIII столетия бесспорно первое место занимает Зимний дворец, построенный им при сотрудничестве двух лиц: “архитектургии гезеля” Фёдора Шапина и ученика Николая Васильева.

Первый Зимний дворец, в царствование императрицы Анны, был расположен в виде неправильного квадрата в четыре этажа, имел в длину шестьдесят пять, в ширину – пятьдесят и в высоту был одиннадцать сажен. Он занимал место, где при Петре I находился обширный дом адмирала графа Фёдора Матвеевича Апраксина, по смерти которого дом, по завещанию, достался императору Петру II.

Императрица Анна Иоанновна решила жить в этом доме по возвращении из Москвы с коронации, а потому ещё в декабре 1730 года приказала сделать пристройки к дому адмирала, как то: церковь, четыре покоя для кабинета, четыре для мыльни, три для конфетных уборов и так далее. Работы были возложены на полковника Трезини, и он выполнил их в семь месяцев; к осени 1731 года всё было готово для принятия государыни, и она, вступив на крыльцо адмиральского дома, навсегда утвердила его дворцом русской столицы.

Однако, несмотря на сделанные пристройки, адмиральские палаты не могли доставить все удобства, каких требовал двор императрицы. Являлась настоятельная потребность строить новый дворец, и 27 мая 1732 года он был заложен и окончен внутренней отделкой к 1737 году.

Всё здание вмещало в себе: церковь, тронный зал с аванзалом, семьдесят разной величины покоев и театр. Всё здание согревали девяносто печей; в верхнем этаже они были сложены из живописных изразцов и стояли на деревянных золочёных ножках.

Наружный вид дворца был очень красив. Главных подъездов во дворце было два: один с набережной, а другой со двора. Они были украшены каменными столбами и точёными балясами. Балконов было три: один на

сторону Адмиралтейства, другой на Неву и третий на луг. Лестницы были сделаны из белого камня. На крыше для стока воды были проведены желоба, которые оканчивались двадцатью восьмью большими медными драконами. На фронтисписе находились две лежащие деревянные фигуры, державшие щит с вензелем императрицы. Фронтиспис был весь вызолочен.

Комнаты были распределены в следующем порядке: в средних этажах главного корпуса помещались парадные покои с разделяющей их тёмной галереей, которая примыкала к залу, где теперь столовая. Отсюда через небольшой кабинет был ход в большой зал; к нему от угла примыкали четыре малых покоя, или кабинета. Из большого зала был ход в аванзал. К последнему вела лестница, проведённая с внутреннего и невисского подъезда. Тут же была церковь. В луговой стороне здания находился небольшой театр.

В нижнем этаже, кроме кухонь, сеней, галерей и лестниц, было пятнадцать комнат; из них в двух некоторое время помещалась камер-цалмейстерская контора, в четырёх – гофинтендантская, а три были назначены для караульных и дежурных.

В верхнем этаже было двадцать четыре жилые комнаты.

В большом зале стоял резной трон. К нему вели шесть ступенек, разделённых уступами. Балдахин на четырёх точёных колоннах “композиического” ордера.

На других четырёх точёных колоннах были устроены хоры для музыкантов, с такой же балюстрадой.

Пятьдесят четыре резные пилястры поддерживали потолок, или, вернее, великолепный плафон, написанный Луи Караваком, при сотрудничестве девяти живописцев и двадцати двух учеников, маляров и московских “писателей” икон.

На цепях, обёрнутых гарусом и усыпанных медными золочёными яблоками, висело огромное паникадило. Между окнами были расставлены двадцать четыре кронштейна с подсвечниками.

Наборный пол был сложен из четырёх дубовых штук с трёхцветною

посередине звездою в четыре сажени в диаметре.

Аванзал был также украшен пилястрами, штучными полами, зеркальными окнами и плафоном работы того же Каравака.

Из остальных комнат только галерея была украшена двенадцатью картинами и двенадцатью барельефами, шестью хрустальными люстрами с такими же двенадцатью кронштейнами, и подсвечниками, и резными головками, и фигурами с яркою позолотою, как их называл Растрелли – “мушкарями и купидами”.

Прочие комнаты дворца были украшены белыми панелями и обоями.

Где не было паркета, там положены были полы дубовые и сосновые. Лестницы были из полированного камня с деревянными выточенными поручнями, украшенными статуями. Пол в сенях был из мрамора, а потолки отделаны лепными работами.

Театр в здании дворца был довольно обширен. Он имел двадцать пять сажён в длину и десять в ширину. Рисунок театра составлял сам Растрелли, но исполнял по этому рисунку, а также писал декорации, строил машины “комедийных дел мастер” итальянец Диронбон, или, вернее, Джироламо Бон. Театр находился в отдельном флигеле, отделённом от адмиралтейского тремя проходными покаями и светлою галереею. В 1772 году он был значительно увеличен.

Пристройки и переделки к Зимнему дворцу всё-таки не могли сообщить зданию удобства. При этом странность вида дворца, примыкавшего с одной стороны к Адмиралтейству, а с противоположной стороны к ветхим палатам Рагузинского, не могла нравиться обладавшей эстетическим вкусом императрице Елизавете. Поэтому в 1754 году она решилась заложить новое здание, сказав, что “до окончания переделок будет жить в Летнем новом доме”, и приказав строить временный дворец на порожнем месте бывшего Гостиного двора, на каменных погребках у Полицейского моста.

В июле начали бить сваи под новый дворец, и работа закипела. Императрица внимательно следила за нею, но – увы! – ей не довелось видеть её окончание. Постройка шла очень медленно, и, несмотря ни на

какие усилия, Растрелли не мог исполнить приказание императрицы насчёт поспешного окончания работ.

Первой причиной остановки работ была невыдача денег рабочим, вместо ста двадцати тысяч рублей отпускали в год семьдесят или даже сорок тысяч рублей.

Растрелли от огорчения заболел, однако не переставал действовать. Предписания и рапорты подписывал за него бывший при нём помощник Фельтен.

Независимо от неудобств Зимнего дворца, переделка его и постройка нового, временного, исходили из странной привычки императрицы Елизаветы, усвоенной особенно в последние годы царствования, переезжать из одного дворца в другой, так что самые близкие придворные государыни не знали, где и в каком дворце её величество будет проводить ночь.

Любимым местопребыванием Елизаветы Петровны вне Петербурга было Царское Село, где она не только проводила лето до поздней осени, но куда часто уезжала и зимою.

XIII. ЦАРСКОЕ СЕЛО

Таким со своей внешней стороны и по своей внутренней жизни являлся Петербург в тот год, когда в его великосветских залах и гостиных должна была появиться княжна Людмила Васильевна Полторацкая.

Князь Луговой и граф Свиридов, возвратившиеся в невскую столицу гораздо ранее княжны, застали Петербург запустелым. Двор ещё находился в Царском Селе.

Царское Село было собственностью императрицы Елизаветы Петровны ещё тогда, когда она была "цесаревною". Она и тогда любила это своё поместье и заботилась о его украшении и благолепии. Так, когда в Царском Селе сгорела до основания от удара молнии Благовещенская церковь, цесаревна повелела в 1734 году заложить на этом месте

Знаменскую церковь, причём эта мысль возникла у цесаревны не случайно.

По преданию известно, что находившаяся в этом храме икона Знаменской Божьей Матери с древних времён составляла собственность цареградских патриархов, и один из них, святой Афанасий, посетив в 1656 году царя Алексея Михайловича в Москве, поднёс ему эту икону; с тех пор последняя находилась во дворце, благоговейно почитаемая и называемая фамильною. Она переходила от венценосных родителей к их наследникам, как драгоценный знак родительского благословения. Елизавета Петровна на себе испытала особенные милости через эту икону и прославила её как чудотворную. В честь этой иконы и основала она каменную церковь. Последняя была освящена в 1747 году, когда Елизавета была уже императрицею.

Основой Царского Села послужила существовавшая ещё при Петре I Саарская мыза, где находился дом, в котором нередко жила Екатерина I с детьми. С 1725 года мыза официально стала называться Царским Селом. В следующем году здесь был построен новый кирпичный завод и устроен третий уступ в саду позади леса к малому каналу и нижнему, или мельничному, пруду. В 1726 году, по именному указу Петра II, Царское Село поступило во владение Елизаветы Петровны.

В бытность свою цесаревной она, после невольного переезда из Москвы в Петербург, по часту и подолгу живала в Царском Селе. Она заботилась о разведении фруктовых деревьев в садах, сажала в пруды разную рыбу, устроила зверинец для забеглых оленей; последних цесаревна ловила живыми и била лосей, оленей со своими придворными и в окрестностях.

Елизавета Петровна любила жизнь тихую, мирную вдали от двора и столицы. По вступлении на престол она указом от 19 февраля 1742 года освободила приписанных к Царскому Селу крестьян на два года от всяких работ и повинностей. В следующем году была начата пристройка правого и левого флигеля ко дворцу. Благодаря этому создавался Большой дворец; сооружение его велось графом Растрелли. Это должен был быть дворец со всем блеском украшений, приличным жилищу владельницы

обширной империи.

Искусный зодчий сделал всё, чего требовала изысканная роскошь того времени. На одни наружные украшения кариатид балюстрады, ваз и статуй на крыше было употреблено девять пудов семнадцать фунтов и два золотника червонного золота. Кровля дворца не была обложена, как уверяют некоторые, листовым червонным золотом, а сделана из белого лужёного демидовского железа.

В первое время все украшения горели как жар, и когда императрица Елизавета приехала со всем двором и иностранными министрами осматривать его, то все были поражены его великолепием, и каждый из придворных спешил выразить своё изумление. Один только маркиз де ла Шетарди стоял в глубоком молчании и на вопрос императрицы, почему он ничего не говорит о новом дворце, разве находит, что чего-либо ещё не сделано? – ответил, что, по его мнению, “недостаёт футляра на эту драгоценность”. Такая льстивая фраза имела успех и обошла весь Петербург.

Роскошь и убранство дворцовых зал равнялись пышной наружности здания. Так, один из приёмных залов весь выложен янтарём, другой покрыт большими цельными зеркалами, многие убраны одними картинами, перламутром, ляпис-лазурью, мозаикой, китайскими лакированными досками с изображениями, яшмою, агатом и так далее. На стенах висели драгоценные гобелены, бронзовые украшения стиля Людовика XIV, полы украшены превосходною деревянною и каменною мозаикою. Плафоны комнат расписаны лучшими художниками того времени.

К замечательным палатам внутри здания дворца надо причислить и церковь Воскресения Христова; она была окрашена под лак лазурным кобальтом, на густом фоне которого ярко выступали золотые орнаменты стиля “рокайль”, резные, густо золочённые. Живописец Каравак и после него Грот и Вебер написали образа в характере той архитектуры. Церковь построена обер-архитектором Растрелли. Закладка её была совершена 4 августа 1746 года, а освящение в 1756 году. В 1757 году в

церковь было прислано из Адмиралтейства десять колоколов, настроенных в мелодическую гамму.

В старом царскосельском дворце замечательны также следующие комнаты: "Лионская", получившая название от шёлковых обоев изделия мануфактур города Лиона.

Наборный пол с перламутровой инкрустацией, а карнизы, плинтусы и потолки из лазуревых камней, действительно, с немногими залами во дворцах Европы могут идти в сравнение по ценности.

В XVIII веке были в большой моде китайские украшения, и в царскосельском дворце есть один зал, где эти курьёзы китайского ремесла выставлены во множестве и даже все стены украшены изображениями быта китайцев и видами местностей Среднего государства. В числе роскошных комнат дворца оригинальны и драгоценны два яшмовых и порфирных кабинета, известных под именем "агатных комнат".

Само Царское Село не переставало украшаться новыми постройками. В 1745 году была начата постройка "Пустыньки", или Эрмитажа, по плану Растрелли. Это здание было окружено каналом с каменной балюстрадой, за которой всё пространство до здания было устлано шахматными белыми и синими мраморными плитами; берега и дно канала были выложены сперва деревом, а потом камнем, через канал были красивые подъёмные мостики. Все наружные украшения, как и на большом дворце, были густо вызолочены, всё здание построено крестообразно. В зале Эрмитажа был интересный стол, устроенный в верхнем этаже таким образом, что тарелки и бутылки поднимались и опускались посредством особого механизма, будто по волшебству. В этом зале можно было обедать без всякой прислуги: стоило только написать, что желаешь, на аспидной доске грифелем, положить на тарелку, дернуть за верёвку, зазвонить колокольчиком, тарелка быстро опускалась и почти мгновенно возвращалась с требуемым. Посреди этого здания есть колодезь, с превосходною студёною водою; вода в нём всегда поддерживается на одинаковой высоте посредством особого механизма.

Другим любимым загородным местом императрицы Елизаветы Петровны была так называемая "Собственная дача". Она располагалась у Нижней Ораниенбаумской дороги, на расстоянии трёх вёрст от Большого петергофского дворца.

По преданию, это имение было подарено Петром I известному его сподвижнику по преобразованию российской иерархии – Псковскому и Новгородскому архиепископу Феофану Прокоповичу. По смерти Феофана эта его приморская дача поступила во владение великой княгини Елизаветы Петровны, которая дала ей наименование "Собственная дача". Здесь, в загородной тиши, государыня отдыхала от трудов и развлекалась фермерским хозяйством, имела всегда при себе ключи от кладовых, почему в "Собственную дачу" не дозволялось никому из мужчин входить без доклада.

На этой приморской даче находились деревянная церковь во имя Св. Троицы, одноглавая, без колокольни, и каменный двухэтажный дом, похожий архитектурой на существующий в нижнем саду Петергофа домик Марли, построенный Елизаветой Петровной в память Петра I.

Воспоминания о великом отце, которого Елизавета Петровна беззаветно любила, делали то, что она привязывалась к каждому месту, с которым были соединены эти воспоминания. Оттого-то в памяти государыни и сохранилась так живо и ясно почти вся жизнь её отца, не говоря уже о выдающихся её моментах. Эта жизнь прошла мимо неё в раннем детстве и глубоко запечатлелась в её детской памяти. Кроме того, она охотно слушала разных современников и соратников её отца о его жизни и деятельности и запоминала их.

Промыслу Божьему было угодно, чтобы дочь Великого Петра, насадившего русскую цивилизацию с помощью иноземцев, положила предел разыгравшимся аппетитам этих "учителей", живших на счёт своих учеников, уже ставших на твёрдые ноги благодаря своим национальным способностям. Однако, действуя в этом русском духе, императрица Елизавета благоговела пред памятью своего родителя, и любимую темой её разговора были он, его жизнь и деятельность. Императрица любила

Петербург, как создание своего отца, и благоговела пред каждым памятником, напоминавшим великого преобразователя.

С грустью смотрела государыня в будущее. Её наследник Пётр Фёдорович был только соимёнником великого государя, но далеко не приближался к нему ни одной чертой своего ума и характера. Он был "внуком Петра Великого" только по имени.

Императрица Елизавета, конечно, не могла подозревать, что достойной преемницей её великого отца на русском престоле будет великая княгиня Екатерина Алексеевна, являвшаяся в то время ещё только душою так называемого "молодого двора".

Этот "молодой двор" составлял центр, на который было обращено внимание не только политиков того времени и высших придворных сфер, но и вообще всего петербургского общества.

Все замечали, что здесь готовится драма.

"Внук Петра Великого", как сказано было в манифесте Елизаветы Петровны, не таинственный незнакомец для русских, сын дочери Петра Великого, герцогини голштинской Анны Петровны, Пётр Фёдорович, долго был страшилищем русских венценосцев, как призрак. Анна Иоанновна и Анна Леопольдовна ненавидели этого голштинского "чёртушку". Елизавета Петровна решилась заклясть призрак тем, что вызвала его из далёкой тьмы на русский свет. Но она сделала это так потаённо, что об этом не знали ни сенат, ни сам канцлер Бестужев.

Пётр Фёдорович рано осиротел и получил жалкое воспитание. Его дядька, "способный лишь обучать лошадей", умел только сечь его и внушил ему отвращение к наукам. Елизавета Петровна была поражена невежеством племянника и приставила к нему академика, но и последний ничего не мог поделаться с ним и мог обучать его только кутежам.

В 1745 году, когда Петру Фёдоровичу было семнадцать лет, его женили, и он проявил свой нрав как человек уже самостоятельный. Болезненный, бесчувственный телом и бешеный нравом, с грубыми чертами вытянутого лица, с неопределённою улыбкою, с недоумевающими глазами под приподнятыми бровями, "ужасно дурной" после оспы, Пётр Фёдорович

ненавидел всё русское, любил только свою Голштинию, завёл родную обстановку, окружил себя шлезвигскими офицерами, собирался отдать шведам завоевания своего деда, дабы они помогли ему отнять Шлезвиг у Дании. Кроме того, у него была истинная страсть к прусскому королю Фридриху II. Он благоговел пред “величайшим героем мира” и готов был продать ему всю Россию. Ему были известны имена всех прусских полковников за целое столетие.

Фридрих основывал свои расчёты на этом своём слепом орудии в Петербурге. Он надеялся также на жену Петра Фёдоровича, Екатерину, бывшую принцессу Ангальт-Цербстскую, отец которой состоял у него на службе. Говорили даже, что когда он пристраивал её к русскому престолу, она дала ему слово помочь Пруссии. Но в этой женщине ошиблись все, кто думал сделать её своим орудием.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна – София Доротея, – которая была только годом моложе Петра Фёдоровича, родилась в Штеттине, где её отец был губернатором. Когда ей минуло пятнадцать лет, её мать, снабжённая наставлениями Фридриха II, привезла её в Петербург. Через год принцесса София, приняв православие с именем Екатерины, была обвенчана с Петром Фёдоровичем, вопреки предостережениям врачей насчёт болезненности жениха, вопреки ропоту духовенства – Пётр Фёдорович приходился ей двоюродным братом по матери.

Почти девочка, из “крошечного” немецкого двора, она попала в глубокий омут козней. Её окружили распри царедворцев, осложнённые борьбой с Фридрихом, подозрительность императрицы Елизаветы, разжигаемая фаворитами, и раздоры с мужем.

Через несколько лет после брака муж открыто высказывал ей свою ненависть.

В течение восемнадцати лет Екатерина Алексеевна одна выдерживала борьбу со всеми, начиная с Бестужева, который, как мы видели, сначала негодовал на неё и тотчас выпроводил её мать домой. Уже тогда великая княгиня говорила: “Как скоро я давала себе в чем-нибудь обет, то не помню, чтобы когда-либо не исполнила его”. Тогда же она сказала себе:

“Умру или буду царствовать здесь!”

“Одно честолюбие поддерживало меня”, – признавалась Екатерина; “и оно всё преодолевало”, – подтверждают посланники держав.

Удалившись от большого двора, сторонясь от мужа, великая княгиня в своём невольном уединении много училась и наблюдала. Ей скоро надоело чтение романов, и она взялась за историю и географию. Её стали увлекать Платон, Цицерон, Плутарх и Монтескье, в особенности же энциклопедисты, а именно Вольтер, которого она называла своим учителем. Сильно подействовал на неё Тацит. Она стала полагаться лишь на себя и не доверяться людям, во всём доискивалась причин, так что посланники прозвали её философом.

Цесаревна научилась притворяться. То она лежала больной при смерти, то танцевала до упаду, болтала, наряжалась, разыгрывала смиренницу, угождала императрице и её фаворитам, подавляя отвращение к мужу.

Она выказывала любовь ко всему русскому, даже соблюдала посты, скоро много узнала о стране, научилась говорить по-русски в совершенстве; вскакивала даже по ночам, чтобы долбить русские тетрадки.

К описываемому нами времени уже выяснилось её блестящее будущее. Пётр Фёдорович терял уважение окружающих и возбуждал к себе недоверие русских; даже враги Екатерины не знали, как отделаться от него.

Великая княгиня была лишена даже материнского утешения. Когда у неё в 1754 году родился сын Павел, Елизавета Петровна тотчас же унесла ребёнка в свои покои и редко показывала его матери. Это увеличивало всеобщее сочувствие, которое наследница престола приобретала с каждым днём. Её уже уважали и противники. Подле неё образовался кружок приверженцев из русских. Ей тайком предлагали свои услуги даже Шуваловы и Разумовские. К ней повернулся лицом сам Бестужев, ненавидевший друга Фридриха – Петра.

Таково было положение “молодого двора” вообще и в частности великой княгини Екатерины Алексеевны в придворных петербургских сферах.

Даже самые ловкие и юркие придворные чувствовали себя в положении пловцов посреди реки, недоумевающих, к которому берегу им пристать. Наружное спокойствие водной поверхности у обоих берегов казалось им зловещим и могущим скрывать глубокий омут.

Это положение было обострено до крайности в то время, когда в великосветских гостиных Петербурга разыгралась таинственная история, которая послужит предметом последней части нашего правдивого повествования.

Часть третья

I. ТРУДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

– Что ты за вздор болтаешь?

– Не вздор, ваше превосходительство, а только докладываю, что на дворе гуторят, и боюсь, не было бы нам оттого какого лиха. Доложить ведь – отчего не доложить, а там как прикажете. Может, розыски прикажете учинить или запрет об этом говорить положите.

– Да откуда это пошло? Кто такой слух лживый пустил?

– Разно говорят, ваше превосходительство.

Одни бают, что Егорка-кучер в кабаке от прохожего слышал, а другие – что странник из тамошних мест в людскую заходил да поведал.

– А ты спрашивал Егора? Да? Что же он?

– Исклялся, проходимец, что ничего не слышал, никакого прохожего не видел и в кабаке не был.

– А пьян ежедневно? Где же он напивается?

– Я ему это тоже в линию ставил, а он, охальник, несуразное говорит: “Николи, – говорит, – я пьян не бываю”.

– Вот как. Вели-ка всыпать ему полсотни горячих! А странника-то видел?

- Никак нет, ваше превосходительство, бабы болтают.
- Пришёл, значит, в людскую странник и сказал, что-де княжна-то, что к нам на побывку приехала, – не княжна?
- Так точно-с. Странник-то издалека начал – с того, как князь Сергей Сергеевич павильон заклётый открывал да между слов и сказал: “А княжна-то у вас из холопок”. Тут к нему и пристали: как так из холопок? Ну, он и поведал всё, как я вам докладывал. Убита княжна и лежит в могиле, а над нею, над могилой-то, есть крест и надпись, что погребена здесь Татьяна Берестова. А Татьяна-де эта живёхонька, в княжну вырядилась и айда в Питер.
- Вот как? А где же этот странник?
- Не могу знать, ваше превосходительство. Известно, Божий человек; ему пути не заказаны.

Этот разговор происходил однажды утром, в конце ноября 1756 года, в кабинете действительного статского советника Сергея Семёновича Зиновьева, между ним и его старым камердинером Петром.

- Так как же прикажете? – спросил камердинер.
- Разумеется, прикажи держать язык за зубами и не повторять всякого вздора, сочинённого разными проходимцами. Мне ли не знать моей племянницы?

Последние слова Зиновьев произнёс с некоторою расстановкою, как бы в раздумье.

- Слушаю-с! – ответил Пётр и вышел из кабинета.

Сергей Семёнович остался один, но, прежде чем собрать нужные в месте его служения бумаги и выехать из дома, стал ходить по кабинету. Доклад, сделанный Петром, в действительности сильно смутил его.

Зиновьев был братом покойной княгини Вассы Семёновны Полторацкой. Он уже несколько лет не виделся с нею, и это не удалось ему до самой её смерти, так как дела задерживали его в Петербурге. В царствование Елизаветы Петровны необходимо было быть постоянно на глазах монархини, если чиновник занимал высокий пост и желал из честолюбия наград и повышений. Сергей Семёнович именно занимал подобный пост и

был крайне честолюбив.

В числе милостей государыни было между прочим и сватовство ему Якобины Менгден, на которой он женился лет шесть тому назад. Эта Якобина, если помнит читатель, была любимой фрейлиной императрицы Анны Иоанновны и невестой Густава Бирона, брак с которым был разрушен дворцовым переворотом, арестом жениха и его ссылкой. Хотя Густав Бирон был возвращён, но прожил в Петербурге недолго и скончался внезапно. Якобина Менгден стала примиряться с мыслью остаться в старых девах, но тут заботливая о ней, со дня восшествия на престол, государыня возымела мысль выдать её замуж за Зиновьева.

Само собою разумеется, что этот брак, заключённый по воле государыни, не имел ни малейшей романической подкладки, однако это не помешало бывшей Якобине Менгден, ныне Елизавете Ивановне Зиновьевой (она приняла православие вскоре после восшествия на престол государыни и сохранила своё второе имя Елизавета), совершенно забрать в руки мужа. Расположение императрицы Елизаветы Петровны к Лизе, как она называла запросто Зиновьеву, делало то, что супружеское ярмо, которое надел на себя закоренелый холостяк Сергей Семёнович, было не так-то легко сбросить. Да он и не пытался делать это. Уступки жене вознаграждались повышением по службе, да и, кроме того, в домашнем быту он не мог ни на что жаловаться. В доме царила немецкая аккуратность, на хозяйство, хотя после брака Зиновьевы, соответственно своему положению в Петербурге, жили широко, Елизавета Ивановна тратила сравнительно мало денег. Кроме того, несмотря на то, что ей было за сорок лет, она ещё очень сохранилась и обладала теми женскими прелестями и качествами, найти которые в жене такому пожилому человеку, как Зиновьев, не всегда удаётся. За невестой он получил ещё довольно значительное приданое, от милостей императрицы, так что и с этой стороны его брак не являлся невыгодным.

Достигнув тех лет, когда при усиленной ещё государственной деятельности требуется уже относительный домашний покой и комфорт, Сергей Семёнович был доволен. Он дошёл даже до того, что малейшая

служебная или домашняя неприятность волновала его в сильной степени, как человека, привыкшего, чтобы его жизнь текла спокойным ручейком в гладком песчаном русле. Поэтому его почти до болезни встревожило письмо племянницы, княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, в ярких красках описавшей ему обрушившееся на неё несчастье – трагическую смерть её матери, а его сестры, и служанки-подруги – Тани. Далее в письме было сообщено о сватовстве князя Лугового, на которое выразила полное своё согласие покойная княгиня, тут же княжна добавляла, что объявление о помолвке, конечно, отложено на время годовичного траура, и просила дядю сохранить это сватовство в тайне. В конце письма княжна уведомляла, что прибывает в Петербург, и просила у дяди приюта в его доме до своего устройства в этом городе, покупки дома или же найма квартиры.

Сергей Семёнович выразил племяннице своё согласие и даже особое “родственное удовольствие” видеть её в Петербурге временно в своём доме.

На слове “временно” особенно настаивала Елизавета Ивановна, опасавшаяся, что племянница, хотя и богатая, пожалуй, долго проживёт на хлебах дядюшки, и, конечно, приедет не одна, а в сопровождении дворовых людей, в подобающем её княжескому достоинству количестве. В последнем Елизавета Ивановна не ошиблась. В конце октября княжна прибыла в Петербург в сопровождении двенадцати дворовых людей и поселилась в доме дяди на Морской улице.

Зиновьевы встретили её с родственной сердечностью. Елизавета Ивановна, никогда не выдавая княжны, конечно, не могла заметить происшедшую в ней странную перемену, зато на неё обратил внимание Сергей Семёнович; однако он приписал её пережитому молодой девушкой потрясению и, кроме того, многолетней с нею разлуке. Ему бросились в глаза некоторая резкость манер и странность суждений молодой девушки, которые, по его мнению, не могли проявляться в ней, воспитанной под исключительным влиянием его покойной сестры – идеала тактичной и выдержанной женщины, несомненно и к своей

дочери прививавшей те же достоинства.

“Сколько лет я с нею пред смертью не виделся. Может, и изменилась с годами”, – думал Сергей Семёнович при каждой особо шокировавшей его выходке племянницы.

Впрочем, подобные выходки не нарушали рамок светского приличия, но, как ему казалось, не должны были быть у дочери княгини Вассы Семёновны.

Таинственный доклад камердинера Петра через месяц после приезда княжны Людмилы Васильевны, в связи с этими появлявшимися подчас в его голове мыслями, несказанно поразил Зиновьева.

“Неужели и это – самозванка?” – мысленно задавал он себе вопрос, забыв о том, что ему время отправляться на службу.

Его мысли невольно перенеслись за год пред тем, когда случилось происшествие, тоже сильно взволновавшее его и послужившее причиной далеко не шуточного столкновения между ним и женой. Последняя одержала верх, но и теперь, при одном воспоминании о допущенной им мистификации Зиновьев чувствовал, как под париком у него шевелились волосы. Он до сих пор принуждён был порой играть роль в этой неприглядной истории, впрочем, утешая себя тем, что нарушая законы дружбы, действует по законам родства.

Дело в том, что около года тому назад Сергей Семёнович, вернувшись со службы, застал в гостиной жены ещё сравнительно не старую, кокетливо одетую красивую даму и молодого человека поразительной красоты. С первого беглого взгляда можно было догадаться, что это мать и сын, так разительно было их сходство, особенно выражение глаз, чёрных как уголь, смелых, блестящих.

Сергей Семёнович, увидав гостей, остановился поражённый. Картины минувшего, казалось, вместе с этой дамой и молодым человеком широкой лентой потянулись пред его духовным взором. Он как-то сразу узнал их. Пред ним сидели Станислава Феликсовна Лысенко и её сын Осип.

Зиновьев стоял как замороженный; между тем молодой человек встал с кресла и почтительным, но гордым поклоном приветствовал хозяина

дома.

– Позволь познакомить тебя, Серж, – раздался голос Елизаветы Ивановны, – моя сводная сестра, графиня Станислава Свенторжецкая, и её сын, Иосиф Янович. Прошу любить их и жаловать.

Сергей Семёнович перевёл почти бессмысленный взгляд с гостей на жену и обратно, пробормотал какое-то приветствие, поцеловал руку сестры своей жены и грузно опустился в кресло. Его голову, казалось, давила какая-то тяжесть.

Он потерял способность соображать.

“Жена Ивана Лысенко – Станислава, его сын – Осип... Графиня и граф Свенторжецкие”, – всё это какими-то обрывками мыслей несло в его голове, но не могло уложиться в ней в какую-либо определённую форму.

Между тем Елизавета Ивановна продолжала:

– Стася приехала ко мне, уже устроившись в Петербурге. Я попеняла ей за это. Теперь она просит меня устроить ей представление её величеству, которой одной решается поручить сына. Ей необходимо будет уехать за границу... Ты, конечно, ничего не будешь иметь против того, чтобы я устроила ей это?..

– Почему же... конечно... Это твоё дело, – пробормотал Сергей Семёнович, очень хорошо зная цену обращения со стороны жены за его согласием, в сущности являвшуюся лишь комедией.

– Я завтра же утром буду у её величества, а ты приезжай с Осей обедать, – решила Елизавета Ивановна, обращаясь к госте.

Гости поднялись, простились и вышли из гостиной.

Елизавета Ивановна пошла провожать их, а Зиновьев остался сидеть в глубокой задумчивости, из которой его вывела возвратившаяся супруга вопросом:

– Что с тобою, Серж?

– Послушай, матушка, что это за мистификация? – спросил он. – Помилуй, какие же это графы Свенторжецкие?

– То есть как какие?

– Да так... ведь это – Станислава Феликсовна Лысенко и её сын Осип

Иванович Лысенко. Я их отлично знаю: ведь муж этой госпожи и отец этого франта – мой старый и лучший друг.

– Мне остаётся поздравить тебя с такими друзьями, – ядовито заметила Елизавета Ивановна. – Действительно, моя бедная Стася имела несчастье быть замужем за этим армейским извергом, но долго не могла вынести совместную с ним жизнь и бежала от него со своим ребёнком.

– Это она так рассказывает! А я знаю, что Иван Осипович Лысенко развёлся с нею много лет тому назад. Она была обвинена, и сын был оставлен при отце, но лет десять тому назад она украла его.

– И отлично сделала, – воскликнула Елизавета Ивановна.

Этот чисто женский вывод поставил в тупик Сергея Семёновича. Однако он не сдавался:

– Кроме того, её отец никогда не был графом.

– Это уже ты ошибаешься. Свенторжецкие – польские графы, хотя некоторые из них, ввиду обеднения, не именуются своим титулом. Дела Станиславы видимо блестящи, и она по праву носит свою девичью фамилию и титул.

– А её сын? Ведь он-то уже не имеет никакого права именоваться Свенторжецким, да ещё графом.

– Польша – не Россия, мой друг, там всё возможно. Бумаги Иосифа в полном порядке, иначе она не решилась бы беспокоить государыню.

– Гм... – протянул Сергей Семёнович. – Однако я буду относительно этого молодого человека в неловком положении. Видишь ли, я собственно, говорю о том, что его отец – мой друг. Он, положим, в Москве, но есть слухи, что он будет переведён сюда... Ну, вот мне и будет неловко...

– Ничего нет неловкого. Если ты знаешь мать, то это не мешает тебе – она на днях уезжает из Петербурга. Сына же твоего “друга” ты мог и не узнать после стольких лет. Да его, вероятно, не узнает и сам отец.

– Ну, как не узнать. Старик, конечно, не покажет, что узнал, но узнать узнает. И вот, представь себе, они встретятся у нас...

– Это уже предоставь мне. Я могу поручиться, что этого не случится. Да и вообще я думаю, что дело моей сестры и её сына – моё дело, а не твоё, –

решительно отрезала Елизавета Ивановна.

– Оно так-то так, но...

– Никаких “но”...

– Делай как знаешь, матушка!

Сергей Семёнович, сказавши эту привычную для него фразу, которой обыкновенно кончались все его препирательства с супругой, удалился в кабинет.

“Действительно, я сделаю вид, что не узнал этого графа Свенторжецкого и никогда не знал”, – решил он, однако тут же у него вырвалось восклицание:

– Глупое положение!

Это доказывало, что решение, на которое его натолкнула жена, претило его честной и прямой натуре.

Однако иного выхода не было, Сергей Семёнович смирился и сделался безучастным зрителем происходившего вокруг него.

Елизавета Ивановна исполнила просьбу своей сестры в точности. Императрица не отказала в ходатайстве своей любимой статс-даме и назначила графине Станиславе Свенторжецкой день и час приёма.

– Приезжай с нею, если она совершенно посвятила тебя в своё дело, – сказала государыня.

Елизавета Ивановна действительно сопровождала сестру и её сына во дворец и была принята вместе с ними государыней. Приём продолжался около двух часов, но содержание беседы императрицы с Зиновьевой, Свенторжецкой и её сыном осталось тайной даже для самых любопытных придворных. Елизавета Ивановна передала о впечатлении приёма своему мужу в общих выражениях:

– Её величество добра, как ангел: она обещала заменить Осе мать. На днях состоится зачисление его в один из гвардейских полков. Стася уезжает обворожённая приёмом государыни.

Впрочем, Зиновьев особенно и не интересовался этим. Он замкнулся в себе и старался даже при жене показать своё безучастное отношение к графине и графу Свенторжецким. Этим, казалось, он платил дань своей

дружбе с Лысенко, прекрасно шедшим по службе и уже имевшим генеральский чин. Мысленно он даже называл Осипа Лысенко – графа Иосифа Свенторжецкого – самозванцем.

Граф Свенторжецкий действительно был вскоре зачислен капитаном в один из гвардейских полков, причём была принята во внимание полученная им в детстве военная подготовка. Отвращение к военной службе молодого человека, которое он чувствовал, будучи кадетом, и которое главным образом побудило его на побег с матерью, не могло находить себе пищу при порядках гвардейской военной службы елизаветинского времени. Служба в гвардии была очень легка. За всё отдувались многотерпеливые русские солдаты. Офицеры, стоявшие на карауле, одевались в халаты, дисциплина и субординация были на втором плане. Генералы бывали такие, которые не имели никакого понятия о военной службе. Гвардия представляла собою придворных, одетых в военные мундиры.

Конечно, при таких условиях военная служба не могла тяготить свободолюбивую натуру графа Свенторжецкого.

Мать вскоре рассталась с ним и уехала из Петербурга, а молодой человек всецело отдался удовольствиям столичной жизни. Обласканный государыней, красивый, статный, остроумный, он вскоре сделался кумиром дам петербургского света, душой высшего общества и коноводом петербургской золотой молодёжи того времени. Сошедшись на дружескую ногу с любимцем государыни императрицы Иваном Ивановичем Шуваловым, он в то же время ухитрился быть своим человеком и при “молодом дворе”, где ему оказывали благоволение не только великая княгиня Екатерина, но даже и великий князь Пётр.

Всё это, конечно, знал Зиновьев, и всё это заставляло его ещё упорнее скрывать известную ему тайну происхождения графа Свенторжецкого.

Граф Иосиф Янович сам помогал Сергею Семёновичу в его сдержанности. Он являлся в дом Зиновьевых только с официальными визитами или по приглашению на даваемые изредка празднества, но на особую близость не навязывался, будучи совершенно погружён в водоворот шумной

светской жизни.

Однако с появлением в доме Зиновьевых княжны Людмилы Васильевны визиты Свенторжецкого сделались чаще и продолжительнее. Видимо, княжна произвела на него сильное впечатление, и он стал усиленно ухаживать за нею.

Княжне были далеко не противны возбуждённые ею в графе чувства – так, по крайней мере, можно было судить по её отношениям к молодому графу, которые, по мнению Сергея Семёновича, могли бы быть даже более сдержанными, в особенности в дни глубокого траура.

Всё это промелькнуло в уме Зиновьева и вылилось в восклицании: “Неужели и эта – самозванка”. Однако он оторвался от этих дум, собрал бумаги и уехал на службу, но и в деловой атмосфере присутствия роковой вопрос о том, что ему делать, не выходил из его головы. Он припоминал поразительное сходство побочной дочери мужа его сестры князя Полторацкого – Тани Берестовой с княжной Людмилой, сопоставлял этот факт со странным поведением в Петербурге его племянницы, и вследствие этого толки дворни, о которых ему докладывал Пётр, порождённые рассказами какого-то захожего человека, приобретали роковую вероятность.

Однако вопрос: “Что же делать?” – становился серьёзным и вместе с тем трудноразрешимым. Как доказать самозванство княжны Полторацкой, если только это самозванство действительно, как утверждает пущенная в дворне молва? Ведь этой молвы, пожалуй, не удержать распоряжением не болтать вздор. Ведь слово что воробей: вылетит – не поймашь. Из застольной молва полетит на улицу, проникнет в палаты разных господ, пойдёт кататься по Петербургу, осложняясь прикрасами, и может, наконец, дойти и до государыни. Его, Зиновьева, сочтут сплетником и укрывателем, и тогда, пожалуй, быть беде неминуемой.

Такими мрачными красками мысленно рисовал себе будущее Зиновьев, и снова пред ним восставал роковой вопрос: “Что же делать?”

Между тем предпринять что-либо было нельзя. Власти тамбовского наместничества признали тождество княжны Полторацкой с оставшеюся в

живых девушкой. Она была утверждена в правах наследства после матери, введена во владение всем имением покойной. Дворовые считали её княжной. Нельзя же было на основании сплетни, пущенной каким-то проходимцем, поднять историю, возбуждение которой злые языки могли бы ещё истолковать желанием получить наследство от бездетной сестры. Сергей Семёнович решил, как и в деле графа Свенторжецкого, дать событиям идти своим чередом.

II. РАДУЖНЫЕ МЕЧТЫ

Вскоре после доклада Петра, так встревожившего Сергея Семёновича Зиновьева, княжна Людмила Полторацкая покинула гостеприимный кров дяди и переехала в собственный дом, представлявший собою целую усадьбу с садом и даже парком, или же, собственно говоря, расчищенным лесом. Он был расположен на левом берегу Фонтанки, тогда ещё не входившем в состав города и считавшемся предместьем.

Впрочем, это соответствовало желанию осиротевшей княжны, просившей Сергея Семёновича приобрести ей дом непременно на окраине.

– Почему это, Люда? – спросил её Зиновьев.

– Я привыкла к деревне, к простору, к зелени деревьев летом, к их белому заиндевевшему виду зимой... Здесь у вас, в центре, меня давит эта скученность построек, мне недостаёт воздуха.

– Но на окраине жить небезопасно.

– Какие пустяки! Я ведь не одна – у меня слуги. Одних мужчин восемь.

– Этого мало. Придётся выписать из именья ещё несколько, если ты настаиваешь на своём желании жить в глуши и если мне удастся приобрести тебе помещение, которое мне показывали в предместье, – и Зиновьев рассказал об усадьбе на Фонтанке.

Княжна Людмила осталась в восторге от дачи.

– Это именно то, о чём я мечтаю! – воскликнула она.

– Ну, было о чём мечтать! Такая даль и глушь, – возразил Зиновьев. –

Впрочем, если хорошенько меблировать, то будет ничего. Дом сухой и тёплый, построен прочно. Старик строил для себя и для женатого сына, да вот не привёл Бог.

– Почему же он продаёт?

– Это очень печальная история. Эта дача принадлежит одному старому отставному моряку, у которого был единственный сын, год как женившийся. Они жили втроём на Васильевском острове, но их домик был им и тесен, и мал. Старик купил здесь место и принялся строить гнездо своим любимцам – молодым супругам, да и для себя убежище на последние годы старости. Всё уже было готово, устроено, оставалось переезжать, как вдруг один за другим, его сын, а за ним и сноха, заболев оспой, умерли в течение одних суток. Старик, конечно, в полном отчаянии и не может видеть дом, выстроенный им для тех, кто теперь лежит на кладбище.

– Какой ужас! Я понимаю его! – побледнела княжна.

– Он отдаёт эту усадьбу за бесценок, а сам уже находится в Александро-Невском монастыре послушником. В виде вклада он отдал все имевшиеся у него деньги и те, которые выручит от продажи дома на Васильевском острове. Покупную цену за эту дачу тоже, по его желанию, надо будет внести в монастырскую казну.

– Почему же ты до сих пор не купил её для меня, дядя? Прошу тебя, кончай как можно скорее.

– Хорошо.

В доме с антресолями было десять комнат, разных по величине; некоторые из них были очень велики. Дом стоял в глубине обширного двора, огороженного дубовым забором с такими же массивными воротами. Крыльцо было с вычурным навесом и выходило на этот двор. На последнем были людская, кухня, погреб, сарай и конюшня. С другой стороны к дому примыкал огромный сад, тоже огороженный высоким забором, в котором была проделана небольшая калитка, из дома же ход в сад был через дверцу, соединённую сенями с внутренними комнатами. Это было нечто вроде потайного хода, обычного в постройках того

времени. Заднее крыльцо выходило на двор за углом дома.

За домом тянулся обширный парк, отделённый от сада и двора деревянною решёткою и обнесённый тоже забором, но не таким высоким, как сад и двор. Верхи заборов были усеяны остриями длинных железных гвоздей, от лихих людей, не любящих ходить прямым путём.

Княжна положительно пришла в восторг от всего.

В несколько дней сделка была совершена, и Людмила Васильевна сделалась собственницей понравившегося ей дома.

Если она продолжала жить у дяди, то это происходило потому, что в доме работали обойщики, закупались принадлежности хозяйства и из Зиновьева ещё не прибыли остальные выписанные дворовые. Не приведены были ещё и лошади.

Княжна ежедневно ездила в свой дом и торопила с окончанием его внутренней отделки. Несмотря на радушное отношение к ней дяди и тётки, она понимала, что последняя из расчётливости будет очень довольна, когда племянница уедет из их дома. Сергей Семёнович не разделял этих помыслов своей жены, но после доклада Петра и размышления над этим докладом тоже стал желать отъезда племянницы, но совершенно по другим основаниям. Настроенный в известном направлении, он подозрительно следил за каждым её словом и даже жестом, и ему казалось, что он всё более и более убеждается в правоте слуха, пущенного в его дворню.

Слух замолк. Дворовые люди Зиновьевых, не имея тех данных, которые были в распоряжении их господина, естественно, не могли поверить этому слуху и, решив, что это – просто “брехня”, забыли о нём.

Не забыл о нём только камердинер Пётр и, кажется, считал его весьма правдоподобным, а потому порой исподлобья довольно мрачно посматривал на княжну Людмилу Васильевну.

Последняя, конечно, ничего не подозревала, так как до неё сплетня дворни не достигла. Она светло и радостно глядела в будущее и, оставаясь одна, самодовольно и счастливо улыбалась. Однако при людях, даже при дяде и тётке, она сдерживала свою весёлость, не

гармонизировавшую с её скорбным костюмом – траурным платьем.

Она находилась теперь в Петербурге. Сколько раз в Зиновьеве она мечтала об этом городе, который княгиня Васса Семёновна вспоминала с каким-то священным ужасом, – до того казался он покойной современным Содомом.

Обласканная императрицей, которой представил её дядя, княжна Людмила Васильевна была назначена фрейлиной, но ей был дан отпуск до окончания годового траура; по истечении же последнего она надеялась возвращаться в том волшебном мире, каким в её воображении представлялся ей двор. Она была уверена, что, как невеста блестящего жениха – князя Сергея Сергеевича Лугового, – она всегда, при желании, сохранит на него свои права, и, наконец, она знала, что она являлась предметом поклонения красавца графа Иосифа Яновича Свенторжецкого, и чувствовала, что сама невольно поддавалась его обаянию. Чего ещё надо было ей желать? Жизнь открывалась пред нею роскошным пиром, и она решилась не уходить с этого пира голодной и жаждущей. Наконец самостоятельная жизнь в отдельном, как игрушка, устроенном и убранном домике, где она будет принимать нравящихся ей людей, довершала очарование улыбавшегося ей счастливого будущего.

Радужные мечты спускались на головку княжны, когда она пред сном, оставшись одна, нежилась в кровати. Ей виделись роскошно убранные и ярко освещённые дворцовые залы, богатые туалеты дам, блестящие мундиры кавалеров; ей представлялась и она сама, красивая, нарядная, окружённая толпою вздыхателей, на первом плане которых стоял граф Свенторжецкий, а затем уже князь Луговой и граф Свиридов.

При воспоминании о первом какое-то странное чувство охватывало не только сердце, но и ум Людмилы. Ей казалось что она хочет что-то вспомнить, но не может. Каким-то далёким прошлым веяло на неё от графа Свенторжецкого, особенно от его глаз, устремлённых на неё и заставлявших её подчас нервно передёргивать плечами. Ей казалось, что она видела его где-то и когда-то, но при всём напряжении памяти вспомнить не могла. Ей не приходило и на мысль, что игравший с нею в

Зиновьеве мальчик Осип Лысенко именно и есть этот самый граф Иосиф Свенторжецкий.

Граф, конечно, не подавал повода к нежелательным для него воспоминаниям. Чувство, которое он, ещё будучи мальчиком, питал к своей маленькой подруге, таилось в его сердце подобно искре, из этого чувства под горячими лучами красоты расцветшей и развившейся княжны Людмилы быстро разгорелся неугасимый огонь страсти. Эта-то страсть и была тем обаянием, силу которого чувствовала на себе княжна Людмила.

Впрочем, в её сердце ещё не зарождалось ответное чувство; оно было занято, или так, по крайней мере, казалось княжне Людмиле.

Со дня её приезда в Петербург ни разу в доме её дяди не появлялся граф Пётр Игнатьевич Свиридов. Княжна помнила, что при прощании с князем Луговым в Зиновьеве она выразила ему желание, чтобы граф посетил её в Петербурге, и была уверена, что эти её слова дошли по назначению. Об этом ей сказал сам князь Сергей, посещавший свою бывшую невесту довольно часто, а между тем граф Свиридов не подавал признака жизни. Это действовало разжигающе на самолюбивую девушку, и образ графа всё неотступнее стал носиться в её воображении и довёл её даже до уверенности, что она любит его.

Однажды она не выдержала и спросила князя Лугового:

– Что ваш друг?

– Какой друг?

– Боже мой, разве у вас их так много? – с раздражением в голосе спросила княжна. – Я говорю о том, которого я знаю.

– А, граф Пётр?

– Да. Что он? Болен?

– Нет, я видел его на днях. Он здоров.

– А-а-а... – протянула княжна и переменила разговор.

Однако Луговой понял её и решил переговорить со Свиридовым.

“Это чёрт знает что такое! – сердился он, приказав кучеру ехать на Миллионную, где жил граф Пётр Игнатьевич. – Это, с его стороны, просто

невежливо. Не сделать визита! Плохую дружескую услугу оказывает мне он! Если бы я не был уверен в нём, то мог бы подумать, что это, с его стороны – удачная тактика. Раздражая самолюбие девушки, он заставит её окончательно влюбиться в себя”.

Он застал графа дома и разразился против него целую филиппикой, указав на могущие быть результаты его поведения, далеко не согласные с его, князя Лугового, интересами.

– Изволь, голубчик, я поеду, – ответил Свиридов. – Поверь, у меня и в мыслях не было затевать с княжной какую-нибудь игру. Я просто хотел устранить себя вследствие нашего разговора в Тамбове. Я это делал и для тебя, и для себя...

– Нет уж, брат, уволь от таких дружеских услуг! Недостаёт ещё того, чтобы княжна подумала, что я из ревности не передал тебе её желания видеть тебя. Женщины ведь способны на всякие выводы и предположения. Мне даже показалось, что она сегодня очень подозрительно на меня смотрела.

– Это вздор: она слишком умна... и, наконец, всё-таки слишком хорошо знает, что ты не способен на это.

– Поди догадайся, что женщина знает и чего не знает, когда она бывает умна и когда глупа. Бывают моменты, когда самые умные женщины и не думают, и делают глупости, и, наоборот, иногда совершенно глупые женщины высказывают поразительно умные мысли и совершают гениальные поступки. Вот и разбери.

– Пожалуй, ты прав. Я поеду к княжне завтра же.

– Поезжай, пожалуйста, это будет самым лучшим лекарством от её увлечения. Твоё явное нежелание видеть её, очевидно, оскорбляет её самолюбие, а для удовлетворения его женщины способны сделать более отчаянные шаги, нежели из чувства и даже из страсти... Понял?

– Понял, понял. Говорю, поеду завтра и постараюсь показать себя в самом отталкивающем свете, – пошутил граф Пётр Игнатьевич. – Ну, а как твои дела с нею?

– Мои? Я о них не забочусь, я всё предоставил воле Божией, – серьёзно и

вдумчиво ответил князь Сергей Сергеевич.

III. КАБАК ДЯДИ ТИМОХИ

Ясная декабрьская ночь висела над Петербургом. Полная луна обливала весь город своим матовым светом. Снежный покров блестел, как серебро, и на нём виднелись малейшие чёрные точки, не говоря уже о сравнительно тёмных полосках улиц и пригородных дорог.

На одной из таких дорог, шедшей от реки Фонтанки мимо леса, где уже кончалось Московское предместье и начиналось Лифляндское, очень мало заселённое и представлявшее собою редкие группы хибарок, стоял сколоченный из досок балаган, над дверью которого была воткнута покрытая снегом ёлка. Это указывало, что незатейливое строение было кабаком.

Несмотря на позднюю ночь, в окне, обтянутом бычьим пузырём, отражался тусклый огонь. Кабак ещё торговал, хотя напротив него тянулся лес, а на далёкое пространство не видно было жилья. Кругом было совершенно безлюдно и царила мёртвая тишина, только из балагана слышался какой-то смутный гул.

Вдруг из леса появились двое мужчин, одетых в рваные тулупы, с меховыми треухами, надвинутыми по уши, и в высоких рваных сапогах. В руках они держали по толстой длинной палице, с большим шаром в виде набалдашника. Такими палицами глушили, да и до сих пор глушат, в деревнях быков и коров. Луна резко осветила этих двух ночных пешеходов и их запушённые снегом одежды и зверские лица, обрамлённые заиндевевшими бородами, цвет волос которых различить было нельзя – они представляли собою комки снега.

– Кажись, не опоздали, Карпыч? – сказал один из них. – В самый раз пришли к гулянке.

– Да, бык его забодай, задержал нас его степенство. Умирать-то ему смерть не хотелось. По-моему, это – свинство. Коли встретился с нами,

лихими людьми, в пустом месте, так и умирай, а православных не задерживай. Кучер-то его степенства, да и мальчонка, что с ним ехал, честно, благородно не пикнули, как мы с тобою оглушили их, а купец, на-поди, артачиться стал.

– Промахнулись мы с тобой оба, да и башка у него здоровая, с двух ударов и то не подалась.

– Пришлось ножом прикончить, а я смерть не люблю руки марасть кровью.

– Нож – последнее дело; оглушить вот этим гостинцем в пример сподручнее, – потряс первый увесистую палицей.

– А знобно сегодня, брат. В кабаке-то у дяди Тимохи, чай теплее. Чего мы тут на морозе калякаем?

Оба мужика оглянулись и быстро перебежали дорогу. Один из них привычной рукой взялся за железное кольцо двери кабака, распахнул дверь, и оба они вошли внутрь балагана.

Это было довольно большое помещение со сложенной из почерневших от времени кирпичей небольшой печью посредине; оно было разделено на две далеко не равные половины стойкой, сколоченной из досок. В большой половине стояли два самодельных деревянных стола, окружённые лавками, а в меньшей были нагромождены бочки с вином и брагой, а на самой стойке высились деревянные бочонки и чарки. Тут же в деревянных чашках находились нарезанный мелкими ломтями чёрный хлеб и вяленая рыба.

За стойкой, на маленькой лавке, сидел сам владелец этого придорожного кабака, известный в окрестности под именем “дяди Тимохи”. Это был ещё не старый человек с солидным брюшком; его лицо было кругло и глаза заплыли жиром, что не мешало им быстро бегать в крошечных глазных впадинах и зорко следить за посетителями.

“Кабак дяди Тимохи” днём почти всегда пустовал, зато ночью там шла бойкая и выгодная торговля.

В лесах, окружавших столицу, водились лихие люди, собиравшиеся в целые шайки, промышлявшие разбоями или “воровскими делами” в самом городе; однако туда они выходили поодиночке, иногда лишь по двое.

Добытое ими добро всё обыкновенно оставалось у дяди Тимохи взамен пенистой живительной влаги.

Кабатчик брал всё, от ржавого гвоздя до ценного меха, и всему давал цену "по-божески", как говорили его завсегдатаи. Понятно, эта "божеская цена" была в соответствии лишь с опасностью приобретения вещи. Лихие люди занимались своим разбойным делом, чтобы жить, а жить, по их мнению, было пить, и если дядя Тимоха за дневную добычу открывал кредит на неделю, причём мерой объявлялась душа пьющего, то эта цена уже была вышею и "божескою".

Целые годы вёл свою выгодную и по-тогдашнему времени, ввиду отсутствия полицейского городского благоустройства, почти безопасную линию дядя Тимоха, вёл и наживался. Он выстроил себе целый ряд домов на Васильевском острове в городской черте. Его жена и дочь ходили в шелку и цветных камнях. За последнюю он сулил богатое приданое, готов был почать и заветную кубышку, а в последней, как говорили в народе, было "много тыщ". Своим старшим сыновьям Тимофеем Власьич, как уважительно звали его на Васильевском острове, где он в своём приходе состоял даже церковным старостой, подыскивал уже лавки в Гостином дворе. Пустить их по питейной части он решительно не желал.

– Нечисть одна, – говорил он жене, – потружусь для вас, сколько сил хватит, а там, когда всех вас поставлю на ноги, ко святым местам пойду – грехи замаливать, а кабак сожгу. Пусть никому не достаётся – много с ним греха на душу принято.

Пока что дядя Тимоха трудился, просиживая все ночи до рассвета в своём балагане и собирая, как он выражался, "детям на молочишко". Под утро появлялся в кабаке подручный и оставался на день, а сам Тимофей Власьич на той же лошади, на которой приезжал подручный, отправлялся домой, где ложился спать. Под вечер та же лошадь в тележке привозила Тимофея Власьича на ночное дежурство и увозила домой подручного с канунной выручкой.

– Заяц... Карпыч... С дела? – слышались в кабаке возгласы при виде запоздалых посетителей.

– С дела... – отозвался тот, которого называли “Зайцем”, – Плёвое дело. Купца пришибли с мальчонком и кучера, да вот с купцом измаялись.

– С чего?

– Живуч, бестия. Два раза глушили – ништо... Ножом прикончили.

– Нож – разлюбезное дело, – как-то особенно смачно произнёс коренастый мужик со включенными чёрными волосами и бородой, в расстёгнутом армяке, из-под которого виднелась рубаха страшно засаленная, но когда-то бывшая красной.

– Не люблю я мараться... – заметил Карпыч.

– Баба! – презрительно сплюнул мужик в красной рубахе. – А мошна где?

– То-то же, что мошна-то плоха, и выходит – плёвое дело! – И Заяц при этом вынул из-за пазухи кожаный мешок с деньгами. – Все медные... – презрительно произнёс он, подходя к стойке и высыпая на неё монеты. – Считай, дядя Тимоха!

– На все?

– Знамо дело, на все!.. Много ли тут?

Он уставился одним глазом на кучку денег. Другой его глаз немножко косил, почему Заяц и получил своё прозвище.

Дядя Тимоха привычной рукой стал перебрасывать монеты.

– Четыре рубля с гривной, – через несколько времени произнёс он.

– Не врешь? Нет? Ну, загребай все! На кой мне их ляд? Ишь, толстопузый, какой капитал с собой возит, а умирать артачится.

– Ты бы его отпустил: может, он на твоё счастье ещё гривны две нажил бы.

– Доподлинно отпустить бы надо. Эту-то мошну он и сам отдавал. Бает, что больше нет, да мы с Карпычем не поверили. Ну, да зато мы его с Карпычем помянем. Лей две посудыны!

– Только до света, – заметил дядя Тимоха.

– Ладно, завтра живы будем, ещё добудем.

Новые гости присоединились к остальной компании, и прервавшаяся попойка началась снова.

Через несколько времени дверь кабака снова распахнулась, и в неё

вошёл новый посетитель в отрёпанном полумонашеском-полусвященническом одеянии. На нём сверх армяка была надета крашенная ряса, подпоясанная пёстрым кушаком, а на голове – высокий треух, похожий на монашескую шапку. Длинные включенные чёрные волосы выбивались на плечи, густая большая борода была покрыта инеем.

– А, человек Божий! – воскликнуло разом несколько голосов.

– Честной компании смиренный поклон, – остановился у дверей пришедший и сделал присутствующим полупочтительный и полукомический поясной поклон.

– Здравствуй, здравствуй, отче Никита, спина твоя не бита! – воскликнул мужик в красной рубахе.

Взрыв хохота наградил остроумца.

– С моей спиной не случалась такая проруха, а вот как я, Гаврюха, доберусь до твоего уха, – не думая ни минуты, отпарировал “отче Никита”.

Взрыв смеха раскатился ещё сильнее по кабаку. Смеялся и сам остроумец Гаврюха.

– Благослови, отец Никита, монашескую трапезу! – крикнули ему из-за стола.

Вошедший подошёл к стойке, вынул из-за пазухи кошель, достал из него несколько серебряных монет и бросил их на стойку.

– На все.

– Что же ноне мало?

– Остатные. На днях жёлтенькие будут. Беленькими не удивишь. Ну, давай до света. Много не выпью, хмелён.

– Мало.

– Уважь.

– Ладно. Разве что уважить, – согласился хозяин и стал цедить в посудину вино.

– Ходь сюда, Божий человек! – слышалось из-за столов.

Пришедший отправился на зов и уселся на лавку среди потеснившихся

собутельников, снял треух и пятернёю расправил мокрую бороду. Это был Никита Берестов.

IV. "НОЧНАЯ КРАСАВИЦА"

Приближались рождественские праздники. Обычная сутолока петербургской жизни увеличилась. Гостиный двор, рынки и магазины были переполнены. В домах шли чистка и уборка, словом, праздничная жизнь была живым ключом не только в городе, но и в предместьях.

Кажется, единственное исключение составлял в этом случае дом княжны Полторацкой. Убирать и чистить в нём было нечего, так как, будучи только что отделан и меблирован заново, он блестел, как игрушка, и не требовал уборки и чистки.

Да и жизни в нём было видно мало. Молодая хозяйка ввиду траура не могла никуда выезжать на праздниках, не могла и у себя устроить большой приём, а потому общее оживление, охватившее столицу, не могло коснуться дома молодой "странной княжны".

Людмила Васильевна, несмотря на свою затворническую жизнь, уже успела получить прозвище "странной княжны" в гостиных высшего петербургского света, обладающего способностью знать все подробности самой интимной жизни интересующего его лица.

Княжна же, несомненно, представляла для петербургского высшего общества далеко не дюжинный интерес. Богатая, независимая девушка, живущая самостоятельно, в полном одиночестве, в глухом предместье столицы, в доме, убранном, как говорили, с чисто восточною роскошью, она выделялась среди девушек своих лет, живших при родителях, родственниках и опекунах, бесцветных, безвольных и безответных в большинстве случаев.

Людмилу Васильевну не осмеливались осуждать, так как знали, что императрица Елизавета Петровна одобряла образ жизни своей новой фрейлины и даже сама посетила её на новоселье. Государыня, будучи

сама самостоятельна, любила это качество и в других, а потому то, что другим казалось в княжне Полторацкой "странностью", для её величества являлось заслуживающим похвалы. Последнего было достаточно, чтобы заткнуть рот светским кумушкам того времени.

Но не одна самостоятельно-одинокая жизнь молодой девушки делала её "странной княжной" в глазах общества. Были для этого и другие причины.

Княжна Людмила Васильевна действительно вела жизнь, выходящую из рамок обыденности. Её дом днём и ночью казался совершенно пустым и необитаемым. Жизнь проявлялась в нём только в людской, где многочисленный штат прислуги не хуже великосветских кумушек перемывал косточки своей госпоже, прозванной её домашними "полунощицей".

Княжна действительно превращала день в ночь и наоборот. Днём ставни её дома были наглухо закрыты, и всё, казалось, покоилось в нём мёртвым сном. Спала и сама княжна. Просыпалась она только к вечеру, когда дом весь освещался; однако это не было видно через глухие ставни; разве кое-где предательская полоска света пробивалась сквозь щель и терялась в окружающем дом мраке. Княжна начинала свой оригинальный ночной день с этого позднего вечера, когда Петербург наполовину уже спал, а предместье покоилось сном непробудным, в это несуразное для других время она принимала визиты своих друзей.

Это, конечно, порождало массу сплетен, и последние не доходили до злословия лишь потому, что сама императрица, любившая всё оригинальное, узнав о таком образе жизни своей новой фрейлины, с добродушным смехом заметила:

– Вот подлинно "ночная красавица". Если среди цветов есть такие, которые не терпят дневного света, почему же не быть подобным и среди девушек?

Нечего и говорить, что этот смех государыни эхом раскатился в придворных сферах и великосветских гостиных. образу жизни княжны Полторацкой нашли извинение и объяснение: очевидно, потрясающая

картина убийства её матери и любимой горничной, которой она была свидетельницей в Зиновьеве, не могла не отразиться на её воображении.

– Она боится ночной тьмы, напоминающей ей об этой катастрофе, и потому проводит ночи в бодрственном состоянии, отдавая сну большую часть дня, – говорили одни.

– Она просто больна! Бедная девушка! – замечали другие.

– Дурит, с жиру бесится, – умозаключали более строгие.

– Оригинальничает, – догадывались завистливые придворные, видя внимание, которое оказывала “странной княжне” императрица.

Благодаря преданности дворни, любившей свою госпожу за кроткое обращение и сытую жизнь, многое из интимной жизни княжны осталось неузнанным, и сами дворовые люди говорили о многом, происходящем в доме, пониженным шёпотом.

Прежде всего всех слуг княжны поражало появление у неё “странника”, с которым княжна подолгу беседовала без свидетелей. Этот странник появился вскоре после переезда Людмилы Васильевны в новый дом и приказал доложить о себе её сиятельству. Оборванный и грязный, он, конечно, не мог не внушить к себе с первого взгляда подозрения, и позванный на совет старший дворецкий решительно отказался было беспокоить княжну. Но странник настаивал.

– Как же о тебе сказать, милый человек? – спросил дворецкий.

– А ты доложи её сиятельству, что я – не кровопивец.

– Как? – воззрился на него дворецкий и даже отступил на несколько шагов. – Да в уме ли ты, Божий человек?

– Ты доложи, а там, в уме ли я или нет, разберёт она сама. Да знай – не доложишь, беда будет. Я-то до княжны дойду, а тебе не миновать конюшни.

Глаза странника злобно сверкнули каким-то адским огнём.

– У нас княжна милостивая, не только на конюшню не пошлёт, а дурного слова не скажет, – ответил дворецкий.

– Всё, братец мой, до времени. Меня-то ей, может, видеть уже давно желательно, а ты, холоп, препятствуешь. Хоть и ангел она, по-твоему, а

этого тебе не спустит без порки.

– А откуда же знает её сиятельство, что ты придёшь?

– Да я, чай, к ней пришёл с Божьего произволения.

– С Божьего произволения? – упавшим голосом повторил дворецкий. – Так что же из того?

– А так, что ей предупреждение было о моём приходе.

– Чудно говоришь ты! Что же, доложи, Агаша, головы за это княжна не снимет, – обратился дворецкий к горничной княжны, – а может, и впрямь: не доложишь – худо будет.

– Как доложить-то? – испуганно спросила Агаша.

– Не кровопивец-де пришёл.

– Не кровопивец, – повторила девушка и отправилась к княжне.

Был поздний вечер; княжна Людмила Васильевна только что встала с постели и, сделав свой туалет, сидела за пальцами. Не прошло и нескольких минут, как Агаша вернулась и сказала страннику:

– Иди за мной! Её сиятельство велела привести.

Странник смелой походкой последовал за девушкой к княжне, на великое удивление собравшихся в передней дворовых людей. Изумлению их не было конца, когда Агаша вернулась и сообщила, что странник остался у княжны.

– С глазу на глаз? Чудны дела Твои, Господи! – воскликнул дворецкий.

Остальные дворовые сочувственно вздохнули.

– Как же ты доложила? – начала расспрашивать Агашу.

– Да так и сказала, что-де не кровопивец пришёл. Её сиятельство спервоначала уставилась на меня, не поняла, видно, а потом спрашивает, каков он собой. Ну, я и рассказала. Глаза, говорю, горят, как уголья, чёрный. Тут княжна вдруг вся побледнела как полотно и даже затряслась.

– Ну?

– “Проси, – говорит, – сейчас, веди сюда!” – а сама руку об руку ломает, индо суставы хрустят. Я сюда за ним и побёгла.

Странник пробыл у княжны более часа и ушёл.

Более он не появлялся в доме, хотя Агаша утверждала, что во внутренних апартаментах княжны, когда её сиятельство остаётся одна и не приказывает себя беспокоить, слышны голоса и разговоры и что среди этих таинственных посетителей бывает и загадочный странник. Кто другие таинственные посетители княжны и каким путём попадают они в дом, она объяснить не могла. Дворовые верили Агаше и таинственно качали головой.

Около полугода вела княжна такой странный образ жизни, а затем постепенно стала изменять его, хотя просыпалась всё же далеко после полудня, а ложилась поздно ночью или порою даже ранним утром. Но прозвище, данное ей императрицей: "Ночная красавица", так и осталось за нею.

Благоволение государыни сделало то, что высшее петербургское общество не только принимало княжну Полторацкую с распростёртыми объятьями, но прямо заискивало в ней.

По истечении полугодичного траура княжна Людмила Васильевна стала появляться в петербургских гостиных, на маленьких вечерах и приёмах, и открыла свои двери для ответных визитов. Её мечты стали осуществляться. Блестящие кавалеры, как рой мух над куском сахара, вились вокруг неё. К ней их привлекала не только её выдающаяся красота, но и самостоятельность, невольно подающая надежду на более лёгкую победу. Этому последнему особенно способствовали рассказы об эксцентричной жизни княжны.

В числе таких поклонников по-прежнему оставались князь Луговой, граф Свиридов и граф Иосиф Янович Свенторжецкий. Все трое были частыми гостями в загородном доме княжны на Фонтанке, но и все трое не могли похвастаться оказываемым кому-нибудь из них предпочтением.

Тяжесть этой ровности отношений, конечно, более всех них чувствовалась князем Сергеем Сергеевичем. Несмотря на то, что он отдал свою судьбу в руки Провидения, князь не мог всё же забыть, что эта холодно и порою даже надменно обращавшаяся с ним петербургская красавица несколько месяцев тому назад была влюблена в него, будучи

провинциальной девушкой, и дала ему согласие на брак. Поцелуй, данный ему княжной Людмилой на скамейке его наследственного парка, ещё до сих пор горел на его губах. Но вместе с тем адский смех, сопровождавший этот первый поцелуй невесты, ещё до сих пор раздавался в его ушах и заставлял выступать холодный пот у него на лбу.

Против своей воли Луговой ревниво следил за соперниками – графом Петром Игнатьевичем и “поляком”, как не особенно дружелюбно называл он графа Свенторжецкого.

Соперничество со Свиридовым, конечно, не могло не отразиться на отношениях Лугового к другу. Постепенно возникала холодность, заставившая недавних задушевных друзей отдалиться друг от друга.

Граф Пётр Игнатьевич недаром по приезде княжны Людмилы Васильевны в Петербург сторонился её. У него было какое-то роковое предчувствие, что обаяние её красоты не пройдёт без следа для его сердца. Это обаяние увеличилось ещё надеждой на взаимность, поддержанной самим князем Сергеем, объявившим ещё в Тамбове, что княжна влюблена в него, графа, и повторившим это в Петербурге.

Незаметно для себя, против своей воли, граф влюбился в княжну Полторацкую, влюбился и... проиграл.

Это всегда так бывает. Женщина ценит мужчину до тех пор, пока сознаёт опасность его потерять. Как только же она убедится, что чувство, внушённое ею, приковывает его к ней крепкой цепью и делает из него раба её желаний, она перестаёт интересоваться им и начинает им помыкать.

Благо мужчины, у которого найдётся сила воли разом порвать эту позорную цепь, иначе его гибель в сетях бессердечной женщины неизбежна. У графа Петра Игнатьевича не хватало именно этой силы воли. Княжна Людмила Васильевна играла с ним, как кошка с мышью, то приближая к себе, то отталкивая, и заставляла его испытывать все муки бесправной ревности. Он ревновал её и к Луговому, и к Свенторжецкому. Впрочем, последний стал видимо гораздо сдержаннее относиться к

предмету своего недавнего пылкого увлечения. Происходило ли это от непостоянства его натуры, была ли это, с его стороны, ловкая стратегическая тактика или же на это он имел другие причины – вопрос оставался открытым; об этом знал лишь он сам.

V. ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ НОГОТЬ

Однажды по возвращении с одного из ночных визитов к княжне Полторацкой в свою уютную квартиру на Невском проспекте, недалеко от Аничкова моста, Свенторжецкий не мог оторваться от внезапно мелькнувшей у него мысли, выразившейся следующими словами:

“Это – не княжна Людмила, это – Татьяна”.

Мысль не давала ему покоя, а вместе с нею пред духовным взором графа отчётливыми картинами нёсся рой воспоминаний детства.

Человек часто забывает то, что совершилось несколько лет тому назад, между тем как ничтожные, с точки зрения взрослого человека, эпизоды детства и ранней юности глубоко врезаются в его памяти и остаются на всю жизнь в неприкосновенной свежести.

То же было и с графом Свенторжецким.

Смутно и неясно вспоминал он сравнительно недавнюю свою жизнь с матерью в Варшаве, жизнь шумную, весёлую – вечный праздник. Как в тумане проносился пред ним безобразный еврей, посещавший его мать и окружавший её и его этим комфортом и богатством. Из кармана этого сына Израиля делались безумные траты как на удовольствия, так и на его воспитание в течение долгих лет. Лучшие учителя занимались с ним всеми тогда распространёнными науками, необходимыми для поддержания с блеском титула графов Свенторжецких. О том, что ему надо забыть, что он – русский по отцу, Осип Лысенко, ему стали внушать через год после бегства из Зиновьева.

Смутно припоминал граф и этот момент. Тот же безобразный еврей пришёл к его матери и между прочим передал ей свёрток каких-то бумаг.

Мать развернула их, и радостная улыбка разлилась по её лицу. Она вскочила, бросилась к еврею, обняла его за шею и крепко поцеловала. Мальчик, тогда ещё Ося, был случайным свидетелем этой, с тогдашней его точки зрения, безобразной сцены; последняя яснее всего, происшедшего с ним с момента бегства от отца до прибытия с матерью в Петербург, сохранилась в его памяти и повела к дальнейшим умозаключениям и открытиям.

С летами он понял отношения своей матери к старому еврею, понял и ужаснулся своей ещё чистой душой. Ненависть и злоба к этому властелину его матери росла всё более и более в сердце молодого человека, жившего на счёт этого еврея, Самуила Соломоновича, и обязанного ему графским достоинством. Об этом сказала ему сама мать. Чем кончились бы такие обострившиеся отношения между сыном и любовником матери – неизвестно, но года два тому назад Самуил Соломонович мер.

Станислава Феликсовна в первое время была в отчаянии, но потом вдруг ожила и стала веселее прежнего.

Это совпало с появлением в их доме каких-то людей, снова принёсших бумаги, а затем начали привозить в их дом драгоценные вещи, свёртки с золотыми монетами, мешки серебра. Это было наследство, доставшееся Станиславе Феликсовне от покойного Самуила. Одинокий еврей отказал по завещанию всё своё состояние христианке, умело продававшей ему свои ласки и сулившей до конца его жизни доставлять ему иллюзию любви и беззаветной преданности.

Она встретила с ним случайно в доме своих родственников, вскоре после разрыва с мужем. Самуил Соломонович, денежными счетами с которым была опутана вся Варшава, был принят как дорогой гость в домах сановной шляхты. Своей демонической красотой Станислава Лысенко, принявшая в Варшаве свою девичью фамилию Свенторжецкой, произвела роковое впечатление на одинокого еврея, уже пожилого годами, но не телом и духом, и в нём вспыхнула яркая страсть к красавице. Станислава Феликсовна сумела локализовать этот пожар и

обратить его в светоч своей жизни, источник богатства и знатности (за деньги в это время в Польше можно было добыть всё, не исключая и графского титула).

Какие нравственные муки переносила молодая женщина, решившись на эту самопродажу, осталось тайной её сердца. Она в это время бесповоротно решила добыть себе своего сына, а для этой цели были нужны средства, чтобы окружить его той роскошью, которая равнялась бы её любви. Она принесла себя в жертву этой, быть может, дурно понятой, но всё же искренней материнской любви, пошла на грех и преступление.

Однако возмездие не заставило себя ждать, сын ненавидел её любовника и презирал свою мать. С годами он даже перестал скрывать это презрение, между тем как её любовь к нему росла и росла.

Из-за этой любви Станислава Феликсовна решила на более тяжёлую жертву – расстаться с сыном, с этой мыслью она приехала в Петербург и осуществила свой план.

Когда её ненаглядный Жозя был устроен, она отделила ему две трети своего огромного состояния, доставшегося ей от еврея Самуила, и таким образом он сделался знатным и богатым блестящим гвардейским офицером, радостная будущность которого была окончательно упрочена. Сама она уехала в Италию, с тем чтобы там поступить в один из католических монастырей. Часть состояния, которую она оставила на свою долю, была предназначена ею на внесение вклада в монастырь, и эта сумма была настолько внушительна, что открывала ей дорогу к месту настоятельницы. Это очень прельщало её как честолюбивую эгоистку.

Это же свойство было и в характере её сына. Эгоист с головы до ног, он готов был на всякие жертвы для достижения намеченной цели, лично ему желательной, и не пренебрегал для того никакими средствами. Всё, что не касалось его "я", будь это самое близкое ему существо, не имело для него никакой цены. Вследствие этого он равнодушно простился с матерью, хотя и не зная её намерения уйти в монастырь, но всё же будучи осведомлён ею, что они прощаются на долгую разлуку.

Новая жизнь, открывавшаяся пред ним, интересовала его, он знал, что его положение более чем обеспечено, что дальнейшие жизненные успехи зависели всецело от него. Так в ком же была ему нужда? Ни в ком, даже и в матери – “любовнице жида”, как он осмелился однажды сказать в лицо несчастной женщине.

Таковы были смутные воспоминания графа Иосифа Свенторжецкого о времени нахождения его под крылом матери.

Встреча с княжной Полторацкой, подругой его детских игр, пробудила в нём страстное желание обладать этой обворожительной девушкой. Он быстро и твёрдо пошёл к намеченной цели, был накануне её достижения. Княжна увлеклась красавцем со жгучими глазами и грациозными манерами тигра. Она уже со дня на день ждала предложения.

Граф тоже был готов со дня на день сделать его, однако какое-то необъяснимое предчувствие останавливало его, и язык, уже не раз готовый выразить это предложение, говорил, как бы против его воли, другое.

Неожиданное обстоятельство вдруг совершенно изменило отношения графа Свенторжецкого к княжне.

На одном из очаровательных вечерних свиданий, которыми дарила княжна поочерёдно своих поклонников, он дошёл до полного любовного экстаза, и страстное признание и предложение соединить навеки свою жизнь с жизнью любимой девушки были уже начаты им. Княжна благосклонно слушала, играя своими кольцами и браслетами. Вдруг восторженный взор графа остановился на ноготке безымянного пальца правой руки княжны Людмилы, и граф чуть не вскрикнул. Вся кровь бросилась ему в голову; пред ним предстала с поразительной ясностью картина из его детской жизни в Зиновьеве, и полный страсти монолог был прерван. Граф смотрел на сидевшую пред ним девушку мрачным, испытующим взглядом.

Княжна Людмила подняла свой взор и вдруг сперва вспыхнула, а затем побледнела, и это её смущение ещё более подтвердило зародившееся у графа подозрение.

Впрочем, княжна только на минуту казалась растерявшейся; она оправилась и спросила равнодушным тоном:

– Что с вами, граф? Или вы испугались, не завлёк ли вас очень далеко полёт вашей фантазии?

В последней фразе слышалась явная насмешка, и это взбесило графа.

– На этот раз, пожалуй, вы правы, княжна, – с неслыханною ею до сих пор резкостью тона ответил он.

Княжна смирила его надменно-ледяным взглядом.

– Я очень рада, потому что, признаться, ваши разглагольствования подействовали на меня усыпляюще. Вы сделаете мне большое удовольствие, если освободите меня от них хоть на сегодня.

– Я могу вас освободить и от своего общества.

– Если только на сегодня, то я вам буду лишь признательна, – кокетливо-лениво сказала княжна.

Граф тоже овладел собою. Обострить сразу отношения не было в его намерениях; резкость сорвалась с его языка под влиянием раздражения.

– У меня, княжна, бывают изредка головные боли, наступающие мгновенно... Вот причина моего сегодняшнего поведения. Прошу извинить меня, – произнёс он.

– И давно это с вами? – участливо спросила княжна.

– С детства.

– Вы обратились бы к врачам.

– Я не верю им.

Граф встал, почтительно поцеловал руку девушки, получил ответный официальный поцелуй в лоб и уехал, твердя про себя:

– Это – не княжна Людмила! Это – Таня!

Вот именно эта блеснувшая в его голове мысль заставила его прервать полупризнание, а причиной её явилось следующее. На безымянном пальце правой руки сидевшей пред ним княжны он заметил неправильно растущий ноготь, и вдруг с особенной ясностью ему вспомнилась маленькая Таня Берестова с завязанным безымянным пальчиком на правой руке. Это было тогда, когда он ещё мальчиком бывал в

Зиновьеве. Играя в саду, Таня нечаянно наколола палец о шипы росшего в изобилии в Зиновьеве махрового шиповника. Отломившийся шип ушёл под ноготок и хотя был вскоре извлечён, но палец продолжал болеть и сделался так называемый ногтеед. Он, Ося, часто обсуждал с княжной Людмилой могущие быть последствия болезни для ноготка Тани.

– Мама говорит, что ноготь сойдёт и потом вырастет другой, – говорила Людмила.

– Точно такой же? – допытывался он.

– Да. Только мама говорит, что надо быть осторожной, так как новый может вырасти неправильно.

– Надо сказать об этом Тане.

– Я сказала.

Время шло. Случай с Таней произошёл в конце июля, а через месяц она сняла повязку с пальчика, и ноготь оказался несколько кривым.

– Пройдёт, выпрямится, – успокаивали плачущую девочку, и она успокоилась и позабыла.

И вот теперь оказалось, что кривизна ногтя осталась быть может, была единственным отличием Тани Берестовой от княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

Эта мелочь из детской жизни девочки, конечно, была забыта всеми, она могла только случайно сохраниться в памяти Людмилы и Оси, горячо своим детским сердцем принявших вопрос о ногте Тани.

“Теперь она в моих руках!” – подумал граф Свенторжецкий и с этого вечера стал отдаляться от княжны Людмилы Васильевны, готовясь нанести ей решительный удар.

Свенторжецкий понимал, что сделанное им открытие – только конец нити целого клубка событий, приведших к этому превращению дворовой девушки в княжну. Надо было размотать этот клубок и явиться пред этой самозванкой с точными обличающими данными.

Над этим и стал работать граф Свенторжецкий. Он был поглощён мыслью добиться возможности обладания этой очаровательною женщиной; он был уверен, что она станет его рабой, когда увидит, что её тайна в его

руках. Для этого стоило поработать.

Первой задачей Свенторжецкого было узнать подробности кровавой катастрофы в Зиновьеве.

Ехать на место было неудобно, а единственным свидетелем её был в Петербурге Луговой. Однако отношения с ним у графа Свенторжецкого были более чем холодные, и он решил, что надо постараться сблизиться с ним.

В этом графу помогло его решение временно отстраниться от княжны Полторацкой.

Действительно, Луговой, заметив перемену к княжне в графе Свенторжецком, стал относиться к нему с меньшею натянутостью и через некоторое время даже принял участие в холостой пирушке, устроенной графом. Последняя быстро сблизила их обоих, как это всегда бывает в молодых годах. Граф Свенторжецкий и князь Луговой стали посещать друг друга запросто.

Первый, конечно, выжидал удобного случая, чтобы начать интересующий его разговор, и этот случай представился.

Разговор коснулся княжны Полторацкой.

– Бедная девушка, сколько она должна была вынести в ночь этого рокового убийства, – с соболезнованием заметил граф. – Вы, князь, кажется, были в это время в своём имении поблизости?

– Да, и даже был вызван на место катастрофы.

– Скажите. И что же вы там увидели?

Князь подробно рассказал свою поездку в Зиновьево по получении известия о зверском убийстве княгини Вассы Семёновны и горничной княжны Тани.

– Она была как две капли воды похожа на княжну, хотя, конечно, носила на себе более грубый отпечаток дворовой девушки.

– Какая странность! Отчего же произошло такое сходство? – спросил граф Свенторжецкий.

– Говорят, что покойная была побочною дочерью князя Полторацкого от его дворовой девушки. Это-то, как раскрыл чиновник, присланный

произвести следствие, и послужило главной причиной убийства. Оно совершено из мести, а не с целью грабежа.

– И убийца открыт?

– То есть его знают, но его, кажется, до сих пор не разыскали. Он скрылся из Зиновьева. Это отец убитой дворовой девушки, Никита Берестов. Он, собственно, не отец, а муж её матери, которого удалили от жены тотчас после венчания и за протест даже выдрали на конюшне.

Луговой рассказал историю Никиты Берестова, его побег и возвращение, известные ему со слов тамбовского чиновника, производившего следствие.

– Какая интересная и таинственная история! Из-за чего же он убил свою дочь, а не княжну? – спросил Свенторжецкий.

– Видимо, он хотел убить и княжну, но эта благородная и преданная девушка охраняла от убийцы вход в её спальню. Берестов убил её и надругался над нею у порога спальни княжны, а последняя успела тем временем убежать в сад, где её нашли без чувств в кустах.

– А-а-а! – как-то загадочно произнёс граф.

Луговой не обратил на это внимания и продолжал свой рассказ о состоянии княжны Людмилы после убийства её матери и служанки, о странной перемене, происшедшей в ней, о похоронах матери и даже о надписи на кресте, поставленном над могилой Тани.

Граф внимательно слушал своего собеседника, стараясь не проронить ни одного слова.

Когда князь Луговой кончил, Свенторжецкий заметил:

– Ужасно пережить такую ночь! Недаром она наложила на княжну Людмилу неизгладимый отпечаток. Конечно, вы заметили в ней странности?

– Да, есть-таки. Она очень нервна.

– По-моему, она... немного помешана.

У князя Лугового сжалось сердце. Он вспомнил слов деревенской горничной княгини Вассы Семёновны, Федосьи, что "княжна не в себе", "помутилась", а теперь услышал подтверждение этого от совершенно

постороннего человека.

– Меня, собственно, это и заставило избегать её. Признаюсь вам, что одно время я был сильно ею увлечён, что и немудрено при её красоте, – заметил граф, – но теперь это увлечение прошло. Рассудок одержал верх. Какая радость связать себя на всю жизнь с полупомешанной!

Князь Луговой промолчал и переменял разговор. Он не мог не заметить действительно странного поведения княжны со дня убийства её матери, но приписывал это другим причинам и не хотел верить в её сумасшествие. Тогда действительно она была бы для него потеряна навсегда. Но ведь в ней, княжне, его спасение от последствий рокового заклания его предков. Он вспомнил слова призрака и похолодел.

Граф заметил его смущение и, отговорившись неотложностью делового визита, уехал. Он отправился прямо домой. Ему необходимо было уединиться и сосредоточиться, чтобы составить план действий.

Последний вскоре сложился в его голове. Если убийца – муж матери Татьяны, то, несомненно, эта последняя знала о замышляемом убийстве и даже косвенно участвовала во всём, так как выгоды от смерти княгини и её дочери были всецело на её стороне. Она заранее подготовила всю комедию бегства в сад и обморока, заранее приучила себя к роли княжны, будто бы спасшейся от руки убийцы, благодаря самоотверженному поступку её служанки-подруги, стоившему жизни последней. Она поспешила поставить над её могилой крест с надписью, чтобы в окружающих не возникло ни малейшего сомнения, что в могиле лежит именно дворовая девушка Татьяна Берестова.

Никита скрылся, но, несомненно, он не из таких людей, которые совершают преступление единственно из мести, предоставив незаконной дочери своей жены, приписанной ему, пользоваться результатами этого преступления. Он, несомненно, появится около мнимой княжны и заставит её поделиться с ним, устроителем её судьбы, своим богатством. Быть может, он уже и появился.

Необходимо проследить шаг за шагом за жизнью княжны, узнать, кто бывает у неё, нет ли в её дворце подозрительного лица, и таким образом

напасть на след убийцы. Тогда только можно считать дело совершенно выигранным. Никита будет в руках графа, и сознание его явится в его руках грозным доказательством против этой соблазнительной самозванки.

Так нервно, скачками работали мысли графа Свенторжецкого. В том, что его соображения по поводу участия Татьяны Берестовой в убийстве были совершенно близки к истине, он не сомневался. Слишком уж логически неоспоримыми являлись выводы из известных ему фактов.

Оставался открытым вопрос, каким образом устроить тайное наблюдение за домом княжны или, по крайней мере, получать точные сведения о её интимной жизни. Это заставило графа сильно призадуматься. В Петербурге он был человеком новым, иноземцем, да ещё иноземцем, ненавистным в глазах русских простых людей – поляком. В тёмную массу русского крестьянства достигали известия о печальном положении польских крестьян под властью панов и их арендаторов-жидов, а потому каждый состоятельный поляк казался извергом.

Граф не был владельцем польских крестьян и даже для услуг держал в Петербурге вольнонаёмных людей, ходивших по оброку. Но мог ли он довериться кому-нибудь из них, мог ли быть уверен, что у них нет хотя бы инстинктивного недоверия русского человека к людям его национальности и положения – к польским панам?

Но надо было на что-нибудь решиться, надо было пользоваться средствами, имевшимися под руками.

Выбор графа пал на его камердинера Якова, расторопного ярославца, с самого прибытия в Петербург служившего у него и пользовавшегося особыми его милостями.

Граф позвонил. Через несколько минут в кабинет графа появился Яков, франтовато одетый молодой парень, сильный и мускулистый, с добродушным, красивым лицом и плутоватыми, быстрыми глазами.

– Звать изволили, ваше сиятельство? – с развязностью любимого барином и со своей стороны преданного ему слуги спросил он. – Что приказать изволите, ваше сиятельство?

- Гм... приказать... Вот что, Яков: хочешь на волю?
- Шутить изволите, ваше сиятельство!
- Нет, не шучу. Мне необходимо, чтобы ты оказал мне одну большую услугу, и, если ты всё устроишь так, как надо, я выкуплю тебя на волю у твоего помещика, чего бы это ни стоило.
- Скарעד он у нас. Меньше трёхсот рубликов не возьмёт.
- Ну, что же, помещику отдам за тебя триста, да на руки тебе ещё двести.
- Да я, барин, за вас хоть в огонь, хоть в воду и без этого; я и теперь много вам обязан.
- За это благодарю, но это не меняет дела. Скажи, ты знаком с кем-нибудь из дворни княжны Людмилы Васильевны Полторацкой?
- Почитай, всех знаю, ваше сиятельство.
- Так, видишь ли, Яков, нам необходимо знать подробно и точно, кто бывает у княжны, кого и когда она принимает, долго ли беседует. Понял?
- Понял-с! Как не понять!..
- Можешь узнать мне это и докладывать ежедневно в течение недели или двух? Этого достаточно, чтобы всё выяснилось.
- Постараюсь, ваше сиятельство! А только и кремни же, ваше сиятельство, там у княжны дворовые-то. Аспиды бессловесные, слова не выманишь. Ну, да я всё же это дело оборудую.
- Как же?
- Да так. Девчонка там одна, Агашка, глаза на меня пялит.
- Так ты через неё?
- В лучшем виде дело оборудуем, ваше сиятельство, будьте без сомнения. В душу-то девке влезть для меня плёвое дело.
- Так орудуй.
- Беспременно, ваше сиятельство, с завтрашнего же дня.
- А потом ты, может, мне и для другого дела понадобишься.
- Рад стараться! – И Яков вышел.

Граф стал прохаживаться по кабинету. Он был доволен результатом своих переговоров с Яковом. Обещанная тому награда была для Якова

целым состоянием. Этот сметливый парень тяготился зависимостью от помещика, без которого он мог бы заняться в Петербурге самостоятельным делом. Он, несомненно, скопил себе уже кое-какие деньжонки, что с обещанными двумястами рублей составит капитал, который даст ему возможность заняться торговлей и, кто знает, даже сделаться впоследствии богачом. Эти соображения ручались, что парень расшибётся вдребезги, а всё же сделает для своего барина дело.

Решение Якова обойти для этого Агашку также показалось графу удачным. Девчонка, конечно, проболтается пред своим ухаживателем, и эта болтовня будет самой истиной. А этого только и было надо.

Уверенность в Якове не обманула Свенторжецкого. Не прошло и недели, как он узнал то, что его, главным образом, интересовало в жизни княжны Полторацкой.

– Болтает Агашка, что к княжне ходит какой-то странник, – доложил ему между прочим его камердинер. – Пришёл он в первый раз вскоре после переезда их сиятельства в дом и велел доложить о себе.

– Как же он называл себя? – спросил граф.

– Имени своего не назвал, а понёс какую-то околесицу: “Доложите-де княжне, что я – не кровопивец”.

– Не кровопивец? Это – он! – вслух подумал граф. – Так ты говоришь, что пришёл и велел доложить о себе, что он – не кровопивец? А часто бывает он у княжны?

– Почитай, несколько раз в неделю. Только как он попадает в комнату княжны, – неизвестно. Ведь во двор-то он не ходит.

– Почему же знают, что он бывает?

– Агашка подглядела. Она вот думает, что у него ключ есть от калитки в саду.

– Ага, – протянул граф Иосиф Янович. – Ну, спасибо, ты службу свою мне сослужил, завтра же пошлю твоему помещику деньги и тебе обещанные выдам.

– Да неужто, ваше сиятельство? – Весь просиял Яков. – И больше вам разузнавать ничего не надо?

- Ничего, братец, всё разузнано в лучшем виде.
- Ну, слава Богу! Признаться, ваше сиятельство, девка-то эта Агашка малость надоела мне.
- Можешь прекратить ухаживание за нею. Только теперь у меня будет для тебя ещё дело. Тебе надо ещё трёх-четырёх парней подыскать.
- Это можно найти. А что им делать?
- Они отправятся к калитке сада княжны и будут сторожить по очереди, когда войдёт странник. Как только калитка захлопнется за ним, один из караульных побежит известить остальных. Мы эти две недельки посидим дома, особенно по ночам. Тогда мы все отправимся к калитке, захватим странника и приведём сюда. Мне надо переговорить с ним.
- А как не изловим, ваше сиятельство?
- Это впятером-то или вшестером?
- Тут дело не в числе. Агашка болтает, что он – оборотень...
- Такой же человек, как и мы с тобой. Я даже знаю, как его зовут. Так ты подыщи молодцов-то... рослых да сильных.
- Один к одному будут!
- Постарайся. Награжу как следует и их, и тебя. Так завтра надо начинать. День дежурят одни, ночь – другие.
- Слушаю-с.

Яков вышел, не чувствуя под собою ног от радости.

Граф также был очень доволен – он не ожидал, что так быстро откроется всё, что ему надо.

Этот странник – несомненно Никита, убийца княгини и княжны Полторацких, муж матери Татьяны Берестовой. В этом ни на минуту не сомневался граф Свенторжецкий. Не нынче-завтра Никита будет в его руках и даст ему неопровержимые доказательства самозванства княжны Полторацкой и соучастия Татьяны Берестовой в убийстве своих помещиц. Яков действительно принялся за дело умело и энергично. Он набрал шесть молодцов, и те терпеливо и зорко по двое стали дежурить у калитки сада княжны Людмилы.

Дня через четыре Свенторжецкому донесли, что странник прошёл в

калитку, и Иосиф Янович, переодевшись в нагольный тулуп, в сопровождении Якова и других его товарищей отправился и сел в засаду около калитки сада княжны Полторацкой.

Ночь была тёмная, крутила вьюга. Сидевшие в засаде терпеливо ждали. Но вот скрипнула калитка, и среди ночной тишины послышался звук тяжёлых шагов Берестова. Все восемь человек сразу набросились на Никиту, и он был связан приготовленными верёвками по рукам и ногам. Он вздумал было отбиваться, но граф Свенторжецкий наклонился к нему и прошептал:

– Повинуйся, Никита Берестов, убийца княжны и княгини Полторацких! Странник перестал отбиваться. Его взвалили в сани, повезли на квартиру Свенторжецкого, а там, по приказанию графа, внесли в кабинет.

– Развяжите, – приказал Иосиф Янович, – и оставьте нас!

– Встань! – грозно сказал граф “страннику”.

Никита медленно приподнялся с пола и глядел на графа глазами затравленного волка.

– Ты теперь знаешь, что ты у меня в руках, я тебя не боюсь, а в соседней комнате к моим услугам люди, которые тотчас препроводят тебя в полицию как убийцу княгини Полторацкой и её горничной, которого разыскивают Понял? Значит, в твоих интересах быть отпущенным отсюда на волю и снова делить свою добычу со своей сообщницей – Татьяной Берестовой.

– Что же надо для этого сделать?

– Рассказать мне подробно о том, как вы задумали убийство и как исполнили. Мне надо знать всё.

– Что всё-то? Много и говорить-то не приходится. Убили, да и к стороне.

– Татьяна знала?

– Вестимо, знала. Она мне и дверь отперла, и платье своё дала, чтобы разорвать и бросить его у тела княжны.

– А сама она переоделась в её платье?

– Только рубашку да юбку надела и в сад убежала.

– Она заплатила тебе?

- Я шкатулку княжны захватил – сот восемь в ней было – и бежал.
- А теперь она тебе платит?
- Сколько моей душеньке угодно.
- Это она дала тебе ключ от калитки сада?
- Полдюжины ключей я для неё сделал – правда, не сам, я этому мастерству не обучен. Но паренёк у меня тут есть, на ключи мастак.
- Так слушай. Я тебя полиции не выдам; мне ей служить не приходится, пусть сама ищет. Но знай, что я тебя всегда найду, а потому тебе выгоднее служить мне, нежели идти против меня. Так вот тебе мой наказ: скажи своей княжне, что я всё знаю и вас обоих погубить могу, чтобы она, значит, мной не пренебрегала.

По лицу Никиты вдруг расплылась довольная улыбка.

- Не извольте, барин, сомневаться. Зачем ей таким красавцем пренебрегать? Всякую ласку окажет, когда потребуется.
- Коли так, ступай на все четыре стороны и помни! – И граф отворил дверь, а затем приказал Якову: – Выпусти его за ворота!
- На волю, значит? Слушаю-с.

Яков проводил пленника и вернулся в кабинет к барину.

- Что, проводил?
- Стрекача задал такого, что только пятки засверкали.
- Ну, Яков, я тобой доволен. Возьми это себе и своим товарищам. – И граф бросил Якову объёмистый мешок с серебряными рублями.

Тот поймал его на лету, поблагодарил барина и удалился.

- Ну-с, ваше сиятельство, как вам понравится сообщение вашего папеньки? – потирая руки, сказал себе Свенторжецкий. – Через денёк-другой придём к вам за ответом. Вы, вероятно, будете благосклоннее. Наверно, Никита сегодня побежит к вам и всё доподлинно доложит. И как сразу, бестия, догадался, чего мне нужно от этой красоти!

Граф не ошибся. Никита отправился прямо в дом княжны Полторацкой (так мы будем продолжать называть Татьяну Берестову). Княжна уже спала. Однако когда, отперев ключом калитку, Никита пробрался в потайную дверь и постучался в дверь её будуара, княжна, спавшая

чутко, тотчас проснулась.

– Кто там? – спросила она.

– Пусти, Таня! Дело есть.

– Подождёшь до завтра.

– Никак нельзя. Отвори! Сейчас же всё узнаешь.

– Что такое?

Княжна накинула капот и отперла дверь. Пред нею стоял бледный как смерть Никита.

– Пропали мы с тобой! – воскликнул он. – Открыли, всё открыли!

– Что открыли? Кто?

– Сам я во всём сейчас признался.

– Что ты болтаешь? Кому признался? Полиции?

– Нет ещё, слава Богу, а барину признался! – И Никита подробно рассказал, как его схватили у калитки и отвезли в квартиру какого-то строгого чёрного барина.

– Каков он собой? – прошептала княжна и, когда Никита описал, заметила: – Это граф Свенторжецкий. Значит, он знает?

– Знает. Да вот сказал, что если ты к нему ласкова будешь, то он ничего никому не скажет. Уж ты, Таня, постарайся!

– Не беспокойся. Никому он не скажет. Положись на меня и иди спать или пить, как хочешь! – И она выпроводила за дверь Никиту, а сама стала думать:

“Вот почему граф тогда вдруг прервал свои любовные объяснения! Но почему он догадался? Это интересно узнать. “Поласковее будь!” – сказал Никита. Это можно, граф мне нравится. Всё равно мне замуж не выходить, так хоть поживу вдовсю. Начну с графа; он красив”.

Княжна не сомкнула глаз всю ночь. Нервная дрожь пробирала её. Она вздрагивала от каждого малейшего звука, достигавшего до её спальни. Однако образ Свенторжецкого витал пред нею далеко не в отталкивающем виде. Быть в его власти ей, видимо, было далеко не неприятно.

“Я сделаю его рабом”, – сказала она сама себе.

Однако, несмотря на предупреждение Никиты относительно графа Свенторжецкого, несмотря на решение ценою каких бы то ни было жертв заставить его молчать о его открытии, она всё же была далеко не спокойна. Прошла уже неделя с момента позднего посещения Никиты, а Свенторжецкий всё ещё не появлялся в доме княжны. Каждый день просыпалась она с мыслью, что сегодня наконец он приедет, каждый день ложилась с надеждой, что он будет завтра, а графа всё не было.

Это ожидание сделалось для княжны невыносимой пыткой. Порой ей казалось, что она была бы счастливее, если бы её преступление было бы уже открыто и она сидела в каземате, искупляя наказанием свою вину. Угрызение совести вдруг проснулось в ней с ужасающею силой.

Она старалась развлечься выездами, приёмами, но всё было тщетно. Как только она оставалась одна, картина убийства княгини Вассы Семёновны и княжны Людмилы, имя которой она теперь носила, восставала пред её духовным взором во всех ужасающих подробностях.

Особенно сохранился в её памяти момент, когда она впустила Никиту в дверь девичьей, где по случаю праздника не было ни души. Она не была свидетельницей самого убийства и насилия над княжной. Она быстро разделась и, переодевшись в приготовленное ею бельё княжны, бросилась из открытого ею окна в сад. В это время княгиня уже была убита и Никита расправлялся с княжной Людмилой. Последняя не кричала, или, по крайней мере, она, Татьяна, не слыхала криков. Она слышала лишь несколько стонов, и эти стоны теперь почти неотступно стояли в её ушах.

Никита унёс бельё княжны, разбросав возле трупа разорванное платье и бельё, снятое Татьяной. Так они уговорились. Впрочем, теперь она вспомнила, что, забившись в кусты зиновьевского сада, она дрожала, как в лихорадке, хотя ночь была тёплая, и у неё из головы не выходила мысль, всё ли устроит Никита как следует.

Ночь прошла довольно быстро. Когда Татьяна услышала шаги, видимо разыскивавших её людей, то притворилась лежащей в глубоком обмороке. Её отнесли в спальню княжны.

Далее всё пошло хорошо. Все признали её княжной Людмилой. Одна только Федосья несколько раз бросала на неё подозрительные взгляды. В первый момент это смутило Таню, но она поняла, что смущение может выдать её, и стала более властно обращаться со старухой. Этим она достигла желанной цели – сомнения Федосьи, видимо, рассеялись. Впрочем, Таня всё же не взяла старухи в Петербург.

Но дядя княжны Людмилы, как ей показалось, в последнее время стал относиться к ней сдержанно; он тоже что-то заподозрил; однако дело было сделано так, что, как говорится, иголки не подточишь, и Таня тут же подумала, что, видимо, дядя остался только при подозрении или, может быть, ей это только показалось.

Она сразу заняла в Петербурге соответствующее положение. Расположение императрицы доставило ей круг почти низкопоклонных знакомых. Да и правда, кто мог усомниться, что она – не княжна, а дворовая девушка Татьяна Берестова? Никто!

Конечно, есть человек, который один знает это; этот человек – Никита, муж её матери, убийца и сообщник. Татьяна понимала, что ей придётся всю жизнь иметь с ним дело, но бояться с его стороны обнаружения её самозванства было нечего. Он ведь будет молчать, охраняя самого себя, хотя ей, конечно, придётся бросать ему довольно крупные подачки.

В таком виде представляла себе она будущее. Ничего мрачного, ничего тяжёлого не виделось ей в нём; напротив, достигнув цели, совершив, как казалось, дело законного возмездия “кровопийцам”, она почти весело глядела в это будущее, где её ожидали любовь, поклонение и счастье. Её совесть была спокойна. Ведь Никита Берестов всё равно так или иначе расправился бы с княгиней и княжной – он мстил за свою жену и своё разбитое счастье. Помощь её, Татьяны, ему была не особенно нужна. Она только присоединилась к его мщению и путём его преступления добыла себе те права, которые ей, по её мнению, принадлежали как дочери князя Полторацкого. Этими рассуждениями убаюкивала девушка свою совесть, и это удалось ей.

Всё обошлось для неё более чем благополучно. Она сделалась княжной,

всеми признанной, она обласкана императрицей, принята с распростёртыми объятиями в высшем петербургском обществе. Самые блестящие женихи столицы готовы оспаривать друг у друга честь и счастье повести её к алтарю.

И вдруг это внезапное предупреждение её сообщника Никиты. Пред Татьяной рисовалось его бледное, испуганное лицо, в уме звучали его слова: "Всё пропало!" Нашёлся обличитель её самозванства, не чета беглому Никите – граф Свенторжецкий.

От этого не отделаешься денежной подачкой – он сам богат; да он уже и предъявил свои условия. Придётся расстаться с мыслью о блестящем замужестве.

По странной иронии судьбы она именно графа мысленно наметила в свои мужа, но теперь он, конечно, не женится на бывшей "дворовой девке", на убийце. Так пусть же берёт её так, но... молчит.

"А будет ли он молчать? Я ведь в его руках, – тревожно подумала Татьяна, однако тут же успокоила себя: – Но разве у меня нет силы, страшной силы? Ведь эта сила – моя красота!"

"Граф будет моим рабом!" – снова промелькнула у неё гордая мысль, но последняя была отравлена ядом возникавших в уме сомнений.

Она полагала, что граф, случайно добыв доказательства её самозванства, тотчас поспешит воспользоваться ими. Она ждала его на другой же день после визита её сообщника. Она во власти графа; не станет же он медлить – ведь он влюблён. Если так, то сила была на её стороне. Но граф медлил.

При каждом часе этого промедления сомнение в чувстве графа стало расти в душе молодой девушки. А по истечении нескольких дней она уже окончательно потеряла почву под ногами. Ей стало страшно: а что, если он вовсе не приедет, не захочет иметь с нею дело, а прямо сообщит всё государыне?.. Он ведь в числе её любимцев.

Вместе с этим страхом обнаружения преступления стало появляться и угрызение совести по поводу его совершения.

Девушка всячески старалась успокоить себя, представить себя жертвой

Никиты, путём угрозы заставившего её принять участие в его преступлении. Но это было плохим успокоением. Внутренний голос делал свои разумные возражения:

“Ты сама пошла к нему. Ты слушала его дьявольский шёпот с чувством злобного удовольствия и, наконец, до сих пор пользуешься плодами этого преступления”.

И снова начинались муки и страх неизвестного будущего.

“Зачем же графу было тогда отпускать Никиту? Если бы он не стремился ко мне, то не дал бы ему и поручения, – представляла она самой себе успокоительные доводы, но тут же меняла мысль. – А если он сделал это под влиянием минуты и потом раздумал, почувствовав ко мне безразличность? Что тогда? Позор, суд, смерть от руки палача. – Татьяна Берестова дрожала, как в лихорадке. – А что, если он и придёт, но придёт не пламенным любовником, а хладнокровным властелином и станет требовать от неё любви так, как Никита требует денег?”

Вся кровь прилиwała ей в голову при этой мысли. Она была самозванкой, сообщницей убийцы, но она была женщиной, и подобное предполагаемое требование графа оскорбляло её, как женщину.

“Кто лучше? Палач или такой любовник?” – думала она и почти склонялась на сторону первого.

Дни шли за днями томительно долго.

А тут ещё каждую ночь появлялся Никита, который, видимо, сам был в страшном беспокойстве.

– Был? – обыкновенно спрашивал он.

– Нет!

– Пропала наша головушка. Узнал я доподлинно, действительно это – граф, поляк. Какого тут ждать добра! Он – властный человек, у царицы бывает.

– Приедет ко мне, не беспокойся.

– Вы послали бы за ним, – как-то умоляюще предложил однажды Никита.

– Нельзя, хуже будет!

– Хуже... – Отчаянно ударил себя Никита по бёдрам и удалился.

Татьяне самой приходило на ум послать записку к графу Свенторжецкому, но она не решалась. Это ведь будет уже окончательной сдачей себя в его власть, а она ещё думала бороться.

Ей порой приходило на ум, что Никиту просто захватили врасплох, а он в испуге сознался во всём, и что только таким образом граф получил сведения о её самозванстве и преступлении. "Он меня сам прямо назвал по имени и убийцей княжны и княгини Полторацкой", – припоминались ей слова Никиты, но тут же она думала:

"Что-нибудь путает Никита, смешал со страха, что это сказал ему граф, после того как он уже всё выболтал. Дурак! Ну, да ничего! Тогда можно будет ещё и отговориться. Надо удалить Никиту из Петербурга; пусть уезжает подальше, спрячется в такую нору, в которой его никто не найдёт. Пусть тогда попробует граф заявить, что ему сказал какой-то оборванец, бродяга, что я, княжна, – не княжна... Он будет только в смешном положении; нет, даже хуже: его прямо сочтут клеветником, скажут, что он решился на такую подлую и глупую месть за то, что я отвергла его ухаживанье. Может быть, он уже сам сообразил это, а потому и не является".

Княжне улыбалась эта мысль, и таково было её состояние в ожидании "повелителя", как она с деланною ирониею мысленно называла графа Свенторжецкого.

VI. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ДЕЛА

Прервём временно наш рассказ, чтобы бросить общий взгляд как на внутренние, так и на внешние дела царствования Елизаветы Петровны, неукоснительно следовавшей национальной русской политике.

Императрица вступила на путь своего отца – Петра Великого. Она восстановила значение сената, который был пополнен русскими членами. Сенат следил за коллегиями, штрафовал их за нерадение, отменял несправедливые из их приговоров. Вместе с тем он усиленно работал,

стараясь ввести порядок в управление и ограничить злоупотребление областных властей.

Но больше всего он занимался исполнением проектов Петра Шувалова. Задачей последнего было увеличение доходов истощённой казны, не столько обременяя народ новыми тяготами, сколько развивая производительные силы страны.

“Доимочный приказ”, памятник ненавистой бироновщины, был уничтожен. Крестьяне в то время несли непосильные тяготы. Даже в мирное время их разоряли войска, поставленные “на вечных квартирах”. Конечно, они не были в состоянии аккуратно платить подати, а правители думали, что они не хотят платить, и устроили “доимочный приказ” для сбора недоимок за многие годы. Приказ рассылал команды, те со сборщиками накидывались на сёла и всё забирали у мужика. Народ разбегался, а его преследовали и убивали. Теперь было не то.

Облегчением для народа была и новая система о воинской повинности. Россия была разделена на пять полос, по которым производился набор, то есть брали солдат только с одной пятой населения, притом по человеку со ста. Дорожа рабочими руками, не казнили народ, постепенно устраняли пытки, а беглых оставляли работать на новых местах.

Милостиво относились даже к частным бунтам крестьян, особенно монастырских, и подготавливали отобрание церковных имуществ в казну. От этого быстро заселялись юго-восточные окраины – была устроена Оренбургская губерния. А на юго-запад привлекали иностранцев, особенно поляков и австрийских сербов: возникла целая Новая Сербия и был заложен Елизаветград.

Промыслы развивались благодаря льготам. Торговля со Средней Азией доходила до Ташкента. Этому помогали казённые банки, выдававшие под шесть процентов деньги купцам и дворянам, часто даже без залогов.

Комиссия о коммерции помогала среднему классу – она восстановила главный магистрат, охранявший купцов от воевод, покровительствовала частной промышленности. Большую пользу принесла палата размежевания земель, устранявшая споры между землевладельцами.

Ещё важнее была отмена внутренних пошлин, а с ними семнадцати мелочных сборов, которым подвергались товары при перевозке из одного места в другое. Был издан и таможенный устав, ставивший торговлю на новые, более льготные основания.

Было двинуто заброшенное основное дело преобразователя – просвещение страны. Иван Иванович Шувалов вводил целый строй народного образования. Он основал первый русский университет в Москве в 1745 году и академию художеств в Петербурге в 1757 году. Двери университета раскрывались для всех, кроме крепостных. Шувалов выработал также план среднего и низшего обучения; по провинциям должны были заводиться народные школы, где преподавались бы основания разных наук, а в “знатных” городах – гимназии, куда поступала бы молодёжь из школ и выходила бы в университет, в Академию наук, в Морскую академию или Кадетский корпус. Старались заменить иностранных учителей, помогали даже купеческой молодёжи учиться за границей.

Наконец помогли купцу Волкову основать русский театр в Петербурге.

При Академии появился первый русский журнал “Ежемесячные сочинения”, а при университете – газета “Московские ведомости”, существующие и теперь. Возникла таким образом, отечественная словесность с достойным русским языком.

Выступили человеколюбие, смягчение нравов, и прежде всего наверху. Императрица сдержала свою клятву Всевышнему, данную в ночь вступления на престол своего отца: в России была отменена смертная казнь в 1754 году, когда на Западе правительства и не думали об этом. Правда, она сохранилась для политических дел в Тайной канцелярии; но тут соблюдалась такая тайна, что сама императрица Елизавета Петровна мало знала об усердии этого ведомства. А рядом было воспрещено употреблять пытки при крестьянских бунтах, женщины были освобождены от рванья ноздрей и наложения клейм. Прекращалось много дел о беглых крестьянах, запрещалось недворянам владеть крепостными; облегчалась участь солдат на ученье и “вечных

квартирах”.

В то же время заводи́ли богадельни, был устроен инвалидный дом, запрещены кулачные бои, пьянство, распутство, даже сквернословие на улицах и по трактирам, а азартная игра – даже в частных домах. Принимались меры против роскоши, быстрой езды, пожаров и зараз; во время мора было запрещено даже носить детей в церковь для причащения.

Одна только черта, вытекавшая из воспитания Елизаветы Петровны, придавала особый оттенок её царствованию. Заботясь о развитии человечности “путём Петра Великого”, то есть с помощью светского просвещения, правительство старалось помогать ей благочестием. Дух древней России сквозил в мерах по распространению православия. Тут не жалели ни денег, ни власти. Увеличивая число церквей и монастырей, стесняли иноверцев. Евреям было запрещено даже за особые налоги торговать на ярмарках, так как императрица “не желала выгод от врагов Христовых”.

Елизавета Петровна и во внешних делах шла по пути отца. Так, она ревностно продолжала войну со шведами, и по миру в Або к завоеваниям Петра I присоединилась ещё часть Финляндии до реки Кюмень.

Затем возник сложный германский вопрос. Война за австрийское наследство перевернула европейскую политику. До тех пор все боялись могущества австрийских Габсбургов и сочувствовали французским Бурбонам, боровшимся с ними. Теперь Фридрих II унизил Австрию, отхватил у неё Силезию и застрашал всех своею гениальностью полководца. Но Россия решила выступить против него. Бестужев поддержал мысль Остермана о союзе России с Австрией. Он доказал даже, что сам Пётр, стоявший за “равновесие Германии”, остановил бы успехи Пруссии, как нашего главного врага, “по близости соседства и по её великой умножаемой силе”. Кроме того, Фридрих II был лично противен Елизавете Петровне. Он ненавидел её и даже сносился с раскольниками, чтобы восстановить Иоанна VI на престоле. В результате всего этого русские войска явились в Германию уже во время войны за

австрийское наследство. Испуганный Фридрих поспешил заключить мир с Марией-Терезией до столкновения с ними.

Когда, несколько лет спустя, в 1756 году, Фридрих начал Семилетнюю войну с Австрией и против него вооружилась почти вся Европа, за исключением Англии, Елизавета Петровна стала во главе союзников, сказав, что добьётся уничтожения своего заклятого врага.

Русские двинулись под начальством тучного, спесивого барича, щёголя Апраксина. Казаки и калмыки опустошали Бранденбург. В большом сражении у Гросс-Эгерсдорфа русские одержали победу. Вслед за тем Апраксин начал своё показавшееся всем очень странным отступление.

Это отразилось в самом Петербурге. Началась известная "бестужевская история", в которой оказалась замешанной великая княгиня Екатерина Алексеевна. Апраксин 18 октября 1757 года получил указ сдать команду над армией генералу Фермору и ехать в Петербург. В начале ноября он приехал в Нарву, и тут ему было приказано отдать все находившиеся у него письма. Причиной этого явилось то, что у него были письма великой княгини Екатерины. Императрице было сообщено об этой переписке, причём дело было представлено в очень опасном свете. В результате прошло полтора месяца, а Апраксин всё сидел в Нарве и не был приглашаем в Петербург, что было равносильно запрещению въезда в столицу.

В январе 1758 года начальник Тайной канцелярии, Александр Иванович Шувалов, отправился в Нарву поговорить с Апраксиным насчёт отобранной у него переписки. Однако Апраксин дал клятвенное заверение, что никаких обещаний "молодому двору" не давал и никаких внушений в пользу короля прусского от него не получал. На этом дело остановилось.

Императрица Елизавета Петровна обходилась холодно с великой княгиней и с канцлером Бестужевым. Против последнего, кроме переписки, были и другие причины недовольствия; главная из них была подготовлена Иваном Шуваловым и вице-канцлером Воронцовым: они нашептали государыне, что её слава страдает от кредита Бестужева в

Европе, то есть что канцлеру приписывают более силы и значения, чем самой императрице.

Кроме того, делу помог великий князь Пётр Фёдорович, обратившийся к Елизавете Петровне с жалобами на Бестужева. Раскаиваясь в прошедшем своём поведении, он сваливал всю свою вину на дурные советы, а дурным советником оказался Бестужев. Императрица была очень тронута, что племянник обратился к ней по-родственному с полной, по-видимому, откровенностью и доверчивостью.

Бестужев был арестован и отведён под караулом в собственный дом.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна получила от Понятовского записку: "Граф Бестужев арестован, лишён всех чинов и должностей, с ним арестованы: ваш бриллианщик Бернарди, Елагин и Ададуров". И у неё тотчас явилась мысль, что беда не минует и её лично.

Бернарди, умный и ловкий итальянец, благодаря своему ремеслу был вхож во все дома, и ему давали поручения. Записка, посланная с ним, доходила скорее и вернее, чем отправленная со слугою. Великой княгине он служил таким же комиссионером.

Елагин был старый адъютант графа Алексея Разумовского, друг Понятовского, очень привязанный к великой княгине, равно как и Ададуров, учивший её русскому языку.

На другой день к великой княгине пришёл заведовавший голштинскими делами при великом князе тайный советник Штамке и объявил, что получил записку от Бестужева, в которой тот приказывал ему сказать Екатерине, чтобы она не боялась, так как всё сожжено. (Дело шло о проекте относительно престолонаследия.) Записку принёс музыкант Бестужева, и было условлено на будущее время класть записки в груды кирпичей, находившуюся недалеко от дома бывшего канцлера. По поручению Бестужева, Штамке должен был также дать знать Бернарди, чтобы тот при допросах показывал сущую правду и сообщил Бестужеву, о чём его спрашивали. Но через несколько дней к великой княгине вошёл Штамке, бледный и испуганный, и объявил, что переписка открыта, музыкант схвачен и, по всей вероятности, последнее письмо в руках

людей, которые стерегут Бестужева. Письмо действительно очутилось в следственной комиссии, наряженной по делу Бестужева.

Комиссия, состоявшая из трёх членов: фельдмаршалов – князя Трубецкого и Бутурлина и графа Александра Шувалова, ставила арестованным бесконечные вопросные пункты и требовала пространных ответов. Ответы были даны, но решение ещё не выходило. Бестужев содержался под арестом в своём собственном доме.

Наряду с его делом производилось и дело об Апраксине, окончившееся, впрочем, скорее – смертью обвиняемого полководца. Великая княгиня Екатерина оказалась весьма причастной к делу. Недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужевым лежала в основании допросов. Екатерина могла не бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать. Однако положение её было тяжёлое: подозрения могли остаться в голове императрицы, да и кроме того, Елизавету Петровну должны были раздражить вмешательство Екатерины в дела и значение, приобретённое ею. Следовательно, гнев императрицы был несомненен.

Где искать защиты против этого гнева? Одно средство – это обратиться прямо к Елизавете Петровне, которая очень добра, не переносит вида чужих слёз и очень хорошо понимает положение Екатерины в семье.

Вместе с тем до Екатерины доходили слухи, что её хотят удалить из России. Конечно, она понимала, что эти слухи несбыточны, что Елизавета Петровна никогда не решится на такой скандал из-за нескольких писем к Апраксину. Но она решилась воспользоваться и этими слухами, чтобы обратить оружие врагов против них самих; её жизнь в России стала невыносимой, так пусть ей дадут свободу выехать из России.

Великая княгиня написала императрице письмо, в котором изображала своё печальное положение и расстроившееся вследствие этого здоровье, просила отпустить её лечиться на воды, а потом к матери, потому что ненависть великого князя и немилость императрицы не дают ей более возможности оставаться в России. Елизавета обещала лично переговорить с великою княгинею.

Свиданье произошло после полуночи. В комнате императрицы, кроме неё и великой княгини, находились ещё великий князь и граф Александр Шувалов. Подойдя к императрице, Екатерина упала пред нею на колени и со слезами на глазах стала умолять отправить её к родным за границу. Императрица хотела поднять её, но великая княгиня не вставала. На лице Елизаветы была написана печаль, а не гнев. На глазах блестели слёзы.

– Как это мне вас отпустить? Вспомните, что у вас дети! – сказала она Екатерине.

– Мои дети на ваших руках, и лучшего для них желать нечего; я надеюсь, что вы их не оставите!

– Но что же я скажу другим, за что я вас выслала?

– Ваше императорское величество, изложите причины, почему я навлекла на себя ненависть вашу и великого князя.

– Чем же вы будете жить у своих родных?

– Чем жила пред тем, как вы взяли меня сюда, – ответила Екатерина Алексеевна.

– Встаньте! – ещё раз повторила императрица.

Великая княгиня повиновалась.

Елизавета Петровна отошла от неё в раздумье, а затем подошла к великой княгине с упрёком.

– Бог свидетель, как я плакала, когда, по приезде вашем в Россию, вы были при смерти больны; а вы почти не хотели кланяться мне, как следует, – вы считали себя умнее всех, вмешивались в мои дела, которые вас не касались. Как смели вы, например, посылать приказания фельдмаршалу Апраксину?

– Я? – ответила Екатерина. – Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказания!

– Как, – возразила императрица, – вы будете заператься, что не писали ему? Ваши письма там! – И она показала рукой на туалет. – Ведь вам было запрещено писать.

– Правда, – ответила Екатерина, – я нарушила это запрещение и прошу

простить меня, но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний и что в одном письме я извещала его о слухах относительно его поведения...

– А зачем вы писали ему это? – прервала её императрица.

– Затем, что очень любила его, и потому просила его исполнять ваши приказания; другое письмо содержит поздравление с рождением сына, третье – поздравление с Новым годом.

– Бестужев говорит, что было много других писем... – уронила Елизавета Петровна.

– Если Бестужев говорит это, то он лжёт, – ответила Екатерина, глядя прямо в глаза императрицы.

Последняя употребила нравственную пытку, чтобы вынудить признание, и сказала:

– Если он лжёт на вас, то я велю его пытать.

– В вашей воле сделать всё то, что признаете нужным, но я писала только эти три письма к Апраксину.

Елизавета Петровна ничего не сказала на это. Весь разговор произвёл на неё сильное впечатление, но не раздражил её.

Великий князь, наоборот, выказал сильное ожесточение против жены. Он старался раздражить и Елизавету против неё, но не достиг своей цели.

Наконец императрица тихо сказала Екатерине:

– Мне много бы нужно было сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу ещё больше посорить вас.

– Я также, – ответила великая княгиня, – не могу говорить, как ни сильно моё желание открыть вам своё сердце и душу.

Елизавета Петровна была очень тронута этими словами и отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уже очень поздно. Но вслед за великою княгинею она послала Шувалова сказать ей, чтобы она не горевала, что она в другой раз будет говорить с нею наедине.

В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате, под предлогом нездоровья, и скоро имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, потребовав сама отпуск из России. К ней явился

вице-канцлер Воронцов и от имени императрицы стал упрашивать отказаться от мысли оставить Россию, так как это намерение начинает сильно беспокоить императрицу и всех честных людей. Он обещал, кроме того, что императрица будет иметь с нею вскоре свидание наедине.

Обещание было исполнено. Императрица потребовала, чтобы Екатерина отвечала ей правду, и первым вопросом было: действительно ли она писала только три известные письма к Апраксину? Великая княгиня поклялась, что только три.

Окончание дела во дворце между императрицею и великою княгинею, разумеется, имело неизбежное влияние и на дело Бестужева с сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почётных и непочётных. Бестужева выслали на житьё в его деревню Горетово Можайского уезда, Штамке – за границу, Бернарди – в Казань, Елагина – в казанскую деревню. Веймарна определили к сибирской войсковой команде, а Ададунова назначили в Оренбург товарищем губернатора.

VII. НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Граф Свенторжецкий медлил действительно с расчётом. Он умышленно хотел довести “прекрасную самозванку”, как он называл княжну Людмилу, до такого нервного напряжения, чтобы она сама сделала первый шаг к скорейшему свиданию с ним.

Дни шли за днями, а он не дождался этого шага. Княжна не решалась на этот шаг, боясь проиграть игру. Она не теряла надежды ещё выиграть её. После недели ожидания она более спокойно стала обсуждать своё положение и дошла до мысли, что есть способ окончательно отразить удар, который готовился нанести ей Свенторжецкий.

Таким образом, своею медлительностью граф достиг совершенно противоположных результатов, чем те, которые он ожидал. Если бы он действительно приехал вскоре после того, как Никита сообщил Тане о своём подневольном к нему визите, сразу захватил бы молодую девушку

врасплох, то она под влиянием страха решилась бы на всё; но он дал ей время обдумать, дал время выбрать против себя оружие. В этом была его ошибка.

Он до того был уверен, что "самозванка-княжна" испугается открытия своего самозванства, что ему ни на одно мгновение не пришло на мысль, что она может отпереться от всего, разыграть роль оскорблённой и выгнать его от себя.

Что будет он делать тогда? Как ему поступить?

Эти вопросы не приходили ему в голову.

Он, конечно, мог снова захватить Никиту и выдать его правосудию как убийцу княгини и княжны Полторацкой, а Никита под пыткой, конечно, оговорит Татьяну Берестову и обнаружит её самозванство. Но поверят ли ему? Доказательств против княжны Людмилы Васильевны, кроме оговора убийцы её матери, не будет никаких. Предательский ноготь, единственное различие между дочерьми одного и того же отца, в руках Свенторжецкого не мог быть орудием, так как рассказ из воспоминаний его детства должен был бы обнаружить и его собственное самозванство. Он сам принуждён был бы рассказать, что он – Осип Лысенко, сын генерала Ивана Осиповича Лысенко, лично известного императрице. А на это граф никогда не решился бы. Какая же сила была у него?

Никакой, кроме неожиданности и быстрого натиска; но для этого он упустил время, хотя и был уверен, что ему стоит только протянуть руку, чтобы взять княжну.

В то время как Свенторжецкий почивал на лаврах своего открытия, предвкушая сладостные его результаты, княжна Людмила обсудила план действий и стала приводить его в исполнение. В одну из ночей, когда Никита задал свой обычный вопрос: "Был?" – она грозно крикнула на него:

– Чего ты ко мне пристаёшь, был или не был!.. Мне-то до этого какое дело?..

– Да ты в уме ли, девушка? – задал вопрос Никита.

– Я-то в уме, а ты, видно, свой-то совсем пропил... Ходит каждую ночь и

спрашивает: "Был или не был?" Ждёт, когда его второй раз сцапают и отправят в сыскной приказ. Ведь если он не едет, значит, решил начать дело. Держись только, не нынче-завтра тебе руки за спину – и за решётку посадят.

– Пропала наша головушка! – воскликнул Никита.

– Не наша, а твоя, – поправила его девушка.

– А ты думаешь, что я тебя в каземате-то помилую? Нет, и сама его попробуешь.

– Держи карман шире!

– Я всё расскажу, как было, по-божески.

– По-божески? Так тебе и поверят, бродяге; ты о себе лучше бы подумал, как себя спасти, нежели других топить. Дурак ты, дурак!

– Что же мне делать?

Вместо ответа девушка продолжала:

– Ты сам сообрази. Меня все признали, даже императрице самой представили, я ей понравилась и своим у неё человеком стала. Вдруг хватают разыскиваемого убийцу моей матери, а он околёсицу городит, что я – не я, а его дочь Татьяна Берестова. Язык-то тебе как раз за такие речи пообрежут.

– Граф подтвердит, – уже более мягко начал было Никита, сообразив, что его сообщница говорила дело, что его оговор, пожалуй, действительно только усугубит его наказание.

– Ничего граф не подтвердит. Ему всё равно, княжна я или не княжна, ему лишь красоту да честь мою девичью надо. Но знай, не видать вашему графу меня, как своих ушей.

– Тогда беда будет.

– Тебе беда, а не мне. Я отверчусь. Если уже очень туго придётся, сама пойду к государыне, сама ей во всём как на духу признаюсь и попрошу меня в монастырь отпустить.

– Ишь, что придумала, змея! – злобно проворчал Никита.

– Не в тебя, чтоб о себе не думать.

– Что же мне-то думать?

- А то, что надо тебе схорониться отсюда куда-нибудь подальше.
 - Куда же это прикажешь? Или я тебе надоел, сбегать меня хочешь? Нет, это ты шутики шутишь.
 - Ничего не сбегать. По мне, шлейся здесь, сколько твоей душеньке угодно, жди, пока в каменный мешок тебя законопатят. Мне ни тепло от этого, ни холодно.
 - Одной на свободе побыть захотелось, княжной? Ишь, мудрёная, что придумала? "Иди подобра-поздорову. Скатертью дорожка. Голодай, а я поживу, поцарствую".
 - Зачем голодать? Вот я тебе мешочек с золотом приготовила на дорогу. На весь твой век тут хватит. Тысяча червонных.
 - Тысяча червонных? – даже захлебнулся Никита.
 - Да, тысяча. Получай и сгинь. Скройся подальше. Лучше, если в Польшу, там и паспорт можешь за деньги достать. Вина везде на твою долю хватит.
- Никита молчал, а его глаза были с жадностью устремлены на развязанный княжной холстинный мешочек, в котором она горстями перебирала золотые монеты.
- Пожалуй, ты и дело говоришь, – произнёс он.
 - Тебе же добра желаю. С чего же тебе пропадать и меня губить? Погубишь или не погубишь, бабушка надвое сказала, и ни от того, ни от другого тебе нет никакой корысти. Умру ли я, в монастырь ли пойду, осудят ли меня, всё равно тебе богатства не достанется, дяденьке Сергею Семёновичу всё пойдёт. Бери же мешочек-то. Ведь это – богатство, целый большой капитал. Что тебе в Питере околачиваться? Россия велика, да и за Россией люди живут. Везде небось деньгам цену знают, не пропадёшь с ними. Себя и меня спасёшь.
 - И граф в дураках останется.
- На лице Никиты промелькнула довольная улыбка. Он вспомнил, что ему достаточно помяли бока графские люди, когда неожиданно напали на него у садовой калитки. Теперь граф будет за это отмщён.
- Давай, – протянул он руку. – Прощай, не поминай лихом!

Княжна протянула ему мешок, а он бережно положил его за пазуху.

– Счастливый путь! Живи припеваючи! Так-то лучше, чем тут каждый день труса пред всеми праздновать. Ты когда в дорогу?

– Да сейчас же. Сборы недолги, весь тут! – И Никита повернулся к дверям.

– Ключ-то от калитки отдай, тебе он не нужен. Прихлопни покрепче, завтра сама запру.

Никита подал ключ.

Княжна некоторое время стояла в раздумье и, когда услышала шум захлопнувшейся калитки, опустилась на диван и вздохнула полной грудью.

Прошло ещё три дня, и наконец княжна Полторацкая получила от Свенторжецкого записку с просьбой назначить ему день и час, когда бы он мог застать её одну. Княжна ответила, что давно удивляется его долгому отсутствию, рада видеть его у себя, но не видит надобности обставлять это свидание таинственностью; однако если ему действительно необходимо ей передать что-нибудь без свидетелей, то между четырьмя и пятью часами она по большей части бывает одна.

Тон этой ответной записки поразил графа – так не пишут женщины, чувствующие себя во власти мужчин. Однако он в тот же день решился рассеять возникшее у него недоумение.

“Неужели она надеется перехитрить меня? – спросил он себя, но отбросил эту мысль, как нелепую. – Понимает же она, что её тайна в моих руках”.

Без четверти четыре граф поехал к Полторацкой.

– Княжна у себя? – спросил он у отворившего ему дверь лакея.

– Пожалуйста, у себя.

– Доложи!

– Пожалуйста в гостиную! – Указал лакей графу дверь направо, тогда как гость, по привычке, хотел пройти в будуар княжны, где обыкновенно ранее был принимаем ею и где произошёл их последний разговор, когда в пылу начатого признания графу бросился в глаза её предательский

ноготь.

Он последовал указанию слуги и вошёл в гостиную, но этот приём не только не рассеял, а усилил беспокойство графа, вызванное тоном ответной записки.

“Она что-то затевает! Ну, да найдёт коса на камень!” – подумал он и стал нервными шагами ходить по комнате.

Проходившие минуты казались ему вечностью.

“Эта дворовая девка, – со злобой начал думать он, – заставляет меня так дожидаться. Какова!.. Но, может быть, Никита ничего не сказал ей? Навряд ли: тогда бы она приняла меня попросту, без затей. Посмотрите, уже с полчаса, как я сижу здесь, словно дурак. Поплатится же она за это! Нет, я уеду домой и напишу ей”, – в страшном озлоблении подумал граф. Но вот портьера из соседней комнаты поднялась, и в гостиную величественной походкой вошла княжна. Она была одета вся в белом, и это особенно оттеняло её оригинальную красоту.

Злоба графа вдруг пропала. Он смотрел на неё обворожённый.

“И эта девушка моя, – подумал он. – Мне стоит протянуть руку... Зачем я так долго медлил? Пусть она не княжна, но царица по красоте. Зачем я мучил её? Она похудела”.

Княжна действительно несколько изменилась с последнего дня, в который её видел граф. Она недаром пережила эти две недели треволнений, дум и опасений.

– Как давно мы с вами не видались, граф! – ровным, спокойным голосом сказала она, протягивая ему руку.

Свенторжецкий невольно припал губами к этой прелестной руке и стал с жадностью целовать её.

– Садитесь, граф! – Грациозным жестом указала княжна на один из табуретов, стоявших возле дивана, и лениво опустилась на последний.

Граф сел и стал удивлённо беспокойным взглядом смотреть на княжну. Она, видимо, не чувствовала ни малейшего смущения и со спокойным, обыкновенно полукокетливым и полунасмешливым выражением лица смотрела на графа.

“Что она, действительно ничего не знает или притворяется?” – неслось в уме последнего.

Наступило неловкое молчание. Его прервала княжна Людмила:

– Что это, граф, вы совсем пропали? Сколько времени я вас не видела у себя. Неужели ваша головная боль, припадок которой случился как раз у меня, так отразилась на вашем здоровье. Вы были больны?

– Нет, я не был болен, – ответил граф.

Княжна играла кольцами и браслетами на руках, а предательский ноготь так и бросался в глаза графу; он напоминал ему, что он здесь – властелин, а между тем его раба играла с ним, как кошка с мышью. Это бесило его и отразилось в тоне его ответа.

Княжна заметила этот тон, и её лицо приняло надменное, холодное выражение.

– В таком случае я отказываюсь объяснить ваше более чем странное поведение относительно меня. Вы сидите у меня, чуть не признаётесь мне в любви, обрываете это признание на половине, объясняя внезапным приступом головной боли, уезжаете, не кажете глаз около месяца и наконец просите свидания запиской, очень странной по форме. Согласитесь, что я вправе удивляться.

– Но разве вы не знаете, что мне всё известно? – вдруг выпалил граф, и его взгляд сверкнул торжеством.

– Вам? Всё известно? Что именно?

Этот вопрос был задан так искренне, что граф положительно опешил.

– Вам, значит, ничего не передавал Никита? – вслух сказал он.

– Никита? Какой Никита? – с тем же спокойным недоумением вместо ответа спросила в свою очередь княжна.

“Она играет, – мысленно решил граф. – Посмотрим кто кого!” И он добавил громко:

– Никита Берестов.

– Никита Берестов? – медленно произнесла княжна. – Кто же это такой? Позвольте, не тот ли, которого звали “беглым Никитой”, убийца моей матери и несчастной Тани?

Граф молчал, упорно глядя своими чёрными, проникающими, казалось, в самую душу глазами на молодую девушку. Та спокойно выдержала этот взгляд и спросила:

– Где же этот Никита?

– Вам лучше знать это.

– Мне? Послушайте, граф, если это шутка, то очень неуместная. Вы, быть может, больны? Очевидно, вы нездоровы, если говорите такие вещи. Убийцу моей матери, Никиту Берестова, ищет полиция, а вы мне говорите, что мне лучше всех знать, где он находится.

– Он бывал у вас.

– У меня? Нет, лучше переменим этот разговор! – И княжна, как показалось Свенторжецкому, почти с соболезнованием посмотрела на него.

Этот взгляд красноречивее всяких слов показал графу, что она считает или, лучше сказать, делает вид, что считает его сумасшедшим.

– Зачем менять разговор? – воскликнул граф, у которого хладнокровие молодой девушки вырывало из-под ног почву. – Я именно по этому поводу просил вас назначить мне свидание. Снимите маску! Предо мной нечего играть комедию. Я сам виделся и говорил с Никитой Берестовым.

– Вы видели его и говорили с ним? – медленно произнесла княжна. – Это становится серьёзным. Значит, вы-то действительно знаете, где он находится. Он, может быть, даже сознался вам в преступлении?

– Да, и рассказал всё.

– Вы, граф, служите в сыском приказе? Я спросила это потому, что иначе не знаю, зачем вы допрашиваете убийцу?

– Чтобы обличить его сообщницу.

– У него были сообщники?

– Я говорю – сообщницу.

– И они, конечно, теперь в руках правосудия?

– Они могут быть. Это зависит от вашего желания.

– От моего? Тогда, конечно, я желаю этого... На вашей обязанности лежит тотчас же уведомить, что вы знаете, где находится убийца моей матери и

несчастной Тани... Ведь вы знаете, что это её отец.

– Я знаю это, – мрачно сказал граф Свенторжецкий.

Он начал понимать всю шаткость своего положения, если княжна будет продолжать в этом тоне. Наглость, с которой она говорила с ним и глядела на него, положительно парализовала его волю.

– Если вы не сделаете этого, – взволнованно продолжала княжна, – то это сделаю я... Я сегодня же вечером поеду к дяде и расскажу ему о вашем открытии, а завтра доложу об этом государыне.

– И это сделаете вы? – запальчиво воскликнул граф.

– Ну да, конечно, я! – Смерила его княжна взглядом. – Кому же ещё сделать это, как не дочери покойной?

– Вы – не дочь княгини Полторацкой.

– Что-о-о? – Встала княжна, и тотчас же встал и граф.

Они несколько мгновений стояли молча друг против друга. Взгляды их чёрных глаз скрещивались, как острия шпаг.

– Вы – не дочь княгини Полторацкой, – повторил граф.

Девушка отступила от него на несколько шагов и вдруг села на диван, откинулась на его спинку и правой рукой взялась за сонетку.

Граф понял этот манёвр.

– Подождите звонить... Я докажу вам, что... – заспешил он.

– Я и не звоню. Это так, на всякий случай. Я, напротив, с нетерпением ожидаю вашего объяснения. Кто же я такая?

– Вы – Татьяна Берестова.

– Татьяна Берестова? – медленно произнесла княжна, не сморгнув глазом. – Кто же сказал вам это?

– Мне сказал это ваш отец, Никита Берестов.

– Убийца?

– Убийца, которого вы были сообщницей.

– Мне, граф, следовало бы уже давно дёрнуть за эту сонетку, но я не из трусливых, да и надеюсь, что ваша болезнь ещё не дошла до буйства. Да, кроме того, всё это – точно сказка. Польский граф захватывает убийцу русской княгини и обнаруживает, что вместо оставшейся в живых княжны

при дворе русской императрицы фигурирует дворовая девушка, сообщница убийцы своей барыни и барышни... Так, кажется?..

– Совершенно так.

– Но что всего интереснее, так это то, что польский граф не сообщает тотчас же о своём важном открытии русским властям, а вступает в переговоры с сообщницей убийцы, самозваной княжной. Вы – остроумный шутник и занимательный собеседник.

– Я не шучу и не рассказываю сказок, – возразил граф.

– Серьёзно говорить то, что возбуждает смех в слушателях, – одно из достоинств рассказчика. Что же дальше?

– Вы прекрасно владеете собою, видимо предупреждённая вашим сообщником, хотя отказываетесь, что видели его и принимали у себя.

– Кого это?

– Никиту Берестова... Вашего отца.

– Благодарю вас за такое родство, граф.

– Но можно доказать, что у вас бывал странник, который велел доложить вам о себе, что он – не кровопивец, и вы с ним подолгу беседовали.

– Действительно, – ответила молодая девушка, – ко мне приходил какой-то юродивый, и я помогала ему и слушала его болтовню и даже предсказания... Я очень люблю всё необыденное... Доказательство налицо: я слушаю вас, граф, а ваши речи очень малым, по отсутствию смысла, отличаются от речей этого юродивого.

– Княжна! – воскликнул граф.

– Вот и проговорились сами... Забыли, что только сейчас называли меня Татьяной Берестовой, – со смехом заметила девушка.

– Я обмолвился. Но всё равно! Этого странника, – продолжал граф Свенторжецкий, – я со своими людьми захватил у калитки вашего сада, и он оказался Никитой, убийцей княгини и княжны Полторацких.

– Но зачем же вы отпустили его?

– Я хотел сперва переговорить с вами.

– О чём же говорить с сообщницей убийцы?

– Я могу похоронить эту тайну... Никто, кроме меня, не будет знать об

этом.

– Вот как?.. И ваша цена, граф? – с нескрываемым презрением спросила княжна.

– Вы сами, – ответил граф и приблизился к ней.

– Отойдите, граф, – остановила его княжна, – или я позвоню.

– Вы раскаетесь. Я захвачу Никиту и отдам его в руки правосудия.

– Я сожалею только, что вы этого давно не сделали.

– Но тогда вы погибли.

– Вы наивны, граф! Кто может поверить оговору убийцы княжны Полторацкой или вашему сумасшедшему бреду?

– У меня есть доказательства, что вы – не княжна.

– Какие?

– Вы были очень схожи с покойной княжной, но случай сделал между вами некоторое различие. У вас на безымянном пальце правой руки искривлён ноготь, вы занозили руку, когда вам всего было десять лет, и у вас сделался ногтеед... С княжной этого не случилось.

Молодая девушка невольно вздрогнула при этих словах графа и побледнела, но моментально оправилась.

– Вы правы. Этот случай был с Таней, но вы ошибаетесь в дальнейшем; осенью, за тем летом, в которое случилось с нею это несчастье, занозила тот же палец и я. У меня тоже сошёл ноготь и вырос несколько неправильным. Я тогда ещё ребёнком решила, что это меня наказал Бог за то, что я радовалась, что между мною и Таней есть хотя какое-нибудь различие.

– Это сказка, быстро и умно придуманная, и меня вы ею не убедите. Так вы хотите, чтобы я начинал дело?

Княжна долго, пристально, молча смотрела на него, стоявшего, по её желанию, в почтительном отдалении. Граф принял это за колебание и подумал, что она сдаётся. Однако княжна воскликнула:

– Так неужели же вы думали, что я пойду с вами на эту позорную сделку?.. Вы ошиблись... Мне грустно только одно, что до такой низости дошли именно вы. Если бы это сделал действительно польский граф,

чужестранец, то я могла бы думать, что добывать себе женщину таким неприглядным способом в обычаях его родины... Но на это решились вы, русский человек.

– Я вас не понимаю, – побледнел граф.

– Вы – не граф Свенторжецкий. Вы выдали себя мне своим последним рассказом о ногте покойной Тани... Вы – Осип Лысенко, товарищ моего детства, принятый как родной в доме моей матери. Я уже давно, встречая вас, вспоминала, где я видела вас. Теперь меня точно осенило. И вот чем вы решили отплатить моей матери за гостеприимство!.. Идите, Осип Иванович, и донесите на меня кому угодно... Я повторяю, что сегодня же расскажу всё дяде Сергею, а завтра доложу государыне. Я сделаю даже больше. На днях в Петербург ожидают вашего отца по пути в действующую армию, где он получает высокий пост. Я расскажу ему, как нравственно искалечила его сына иноземка-мать.

Свенторжецкий стоял перед нею бледный, уничтоженный.

– А теперь довольно!.. – И молодая девушка сильно дёрнула сонетку, а затем приказала лакею: – Проводите графа! До свидания, – обратилась она к Иосифу Яновичу, – не забывайте меня...

Она грациозно протянула графу руку. Он машинально поцеловал её и вышел.

VIII. МЕЖДУ СТРАХОМ И НАДЕЖДОЙ

Весь путь от княжны до дома прошёл для Свенторжецкого незамеченным. Он решительно не помнил, как он оделся, сел в сани и приказал ехать домой, даже как снял дома верхнее платье и прошёл в свой кабинет. Всё это в его памяти было подёрнуто густым, непроницаемым туманом. Лишь спустя порядочно долгое время он очнулся и воскликнул:

– Посрамлён, опозорен!.. Безумец, я думал найти в ней рабу, а встретил врага, и врага сильного.

Он бросился на диван и глубоко задумался.

“Неужели я ошибся, неужели она действительно настоящая княжна? – Неслось в его голове, но он тотчас же отгонял эту мысль. – Нет, не может быть! Несомненно, она – самозванка. Ведь всего недели полторы тому назад, вот здесь, в этом самом кабинете, предо мною сознался Никита Берестов, её отец. Надо бороться, надо победить её, нельзя дать так насмеяться над собою”.

Необузданный по природе и по воспитанию, молодой человек выходил из себя, как от оскорблённого самолюбия, будучи одурачен девчонкой, так и потому, что понравившаяся ему игрушка, которую он уже считал своею, вдруг стала для него недостижимой.

“Отойдите, граф, или я позвоню!” – раздавался в его ушах голос девушки, и он отошёл.

“Нет, нет, она будет моею во что бы то ни стало! – думал он. – Она, конечно, никому не пойдёт говорить о нашем разговоре, не пойдёт докладывать императрице, а я уличу её очной ставкой с Никитой. Она не посмеет отпереться и сдастся”.

Искра надежды снова затеплилась в сердце графа, и он позвонил.

Явился Яков, всё ещё служивший у графа, так как отпуск его на волю, несмотря на уплаченные за него графом помещику деньги, ещё не состоялся, ввиду того что ещё не были окончены все формальности, и спросил:

– Что прикажете, ваше сиятельство?

– Вот что: мне необходимо снова повидать этого странника, что к княжне ходил. Ты ведь знаешь, где найти его?

– Молодцы мои сказывали, что выследили его берлогу. Он живёт в лесу, неподалёку от дома княжны.

– А может быть, он оттуда ушёл? Так как же быть?

– Опять у калитки дома княжны подстеречь его или у кабака дяди Тимохи; есть такой там, на выезде из предместья, по ночам торгует, более для беглых да для таких, как этот, странников.

– Так ты уговорись со своими и начинай следить. Как сцапаете, так вяжите и прямо сюда. Если меня не будет дома, то до моего возвращения

не развязывайте.

– Слушаю-с, ваше сиятельство. Я распоряжусь сегодня же.

– Я полагаюсь на тебя. Вот тебе на расходы! – И граф подошёл к шифоньерке, отпер её, вынул один из мешочков с серебряными рублями и бросил его Якову, сказав: – Лови!

Тот ловко поймал на лету, после чего был отпущен барином.

– Хорошо посмеётся тот, кто посмеётся последний, Татьяна Никитишна! – злобно вслух сказал граф. – Я-то не прощу вам сегодняшнего дня. Вы всё же будете моей, живая или мёртвая. Только бы скорей Яков добыл мне этого Никиту, остальное я всё уже устрою умело и обдуманно. Я вижу теперь, что сам виноват во всём. Не надо было медлить. Я дал ей время одуматься и подготовиться. Но увидим теперь, чья возьмёт!

Посидев ещё с полчаса в раздумье, Свенторжецкий уехал из дома. Он стал вести прежний светский образ жизни, но всё же каждый вечер или, лучше сказать, ночь с тревогой подъезжал к своей квартире.

– Ну, что? – спрашивал он отворявшего ему дверь Якова.

– Не нашли ещё, – отвечал тот.

Такой же вопрос задавал граф ему и каждое утро, но получал тот же далеко не удовлетворительный ответ.

Никита совершенно сгинул; его землянка оказалась пустою, в доме княжны Полторацкой он не появлялся, в кабаке Тимохи тоже.

Прошла неделя, и граф решил прекратить розыски.

“Она дала отступного, и он скрылся, – рассудил он. – Что же теперь делать?”

Его положение оказывалось действительно незавидным. Игра была проиграна. С исчезновением Никиты весь составленный им новый план рушился.

Между тем “самозванка-княжна” продолжала занимать всё более и более места в уме и сердце графа. Пленительный образ молодой девушки преследовал его неотступно. Разве не всё равно ему, была ли она княжной или же незаконной дочерью князя? Ведь она – вылитая княжна. Он не заметил в ней ни капли холопской крови, которую из любезности к

своей невесте открыл в Тане князь Луговой.

И зачем ему было затевать всю эту историю? "Самозванка-княжна" была к нему благосклонна! Никто не сомневался в её знатном происхождении, никто не оспаривает у неё богатства, она – любимица государыни, одна из первых в Петербурге невест, он мог на ней жениться, вот и всё. Теперь же она для него потеряна. После происшедшей между ним и ею сцены немыслимо примирение.

Граф долго не мог представить себе, как встретится с нею в обществе, а потому умышленно избегал делать визиты в те дома, где мог встретить княжну Полторацкую. Вместе с тем у него явилась мысль, что она предпочтёт ему князя Лугового или Свиридова, и его душила бессильная злоба. Он воображал себе тот насмешливый взгляд, которым встретит его Людмила в какой-нибудь великосветской гостиной или на приёме во дворце.

– Посрамлён, уничтожен, и теперь окончательно! – повторял сам себе граф.

К довершению своего ужаса, Свенторжецкий стал убеждаться, что безумно любит эту посрамившую его девушку. Каприз своенравного человека постепенно вырос в роковую страсть. Граф не находил себе покоя ни днём, ни ночью; образ княжны неотступно носился пред ним.

Он жаждал видеть её и боялся встречи с нею. Однако момент этой встречи должен был наступить. Ведь они вращались в одном обществе и поневоле должны были столкнуться. Граф понимал это и каждый день ожидал, что это случится.

Наконец этот момент наступил. Они встретились в гостиной Зиновьевых, в день рождения Елизаветы Ивановны. Граф по необходимости должен был приехать с поздравлением к тётке и, несмотря на то, что нарочно выбрал позднее время, застал в гостиной княжну Людмилу Васильевну. Он смущённо поклонился, она приветливо протянула ему руку и промолвила:

– Опять я целую вечность не видала вас, граф. Он положительно как красное солнышко осенью: покажется – и нет его, – обратилась она к

сидевшим в гостиной хозяйке и другим дамам. – Приедет ко мне с визитом, насмешит меня до слёз, а затем скроется на несколько недель.

– Чем же таким он смешит вас?

– В последний раз он рассказывал мне какую-то, как я теперь припоминаю, ужасную историю, выдавая её за истинное происшествие. Он, видимо, сам сочинил её, но, если бы вы видели, с каким серьёзным видом он говорит всевозможные глупости! Я сначала испугалась, приняла его за сумасшедшего и только после догадалась, что он шутит, что у него такая манера рассказывать!

– Мы не знали за вами такого искусства, граф. Это интересно. Расскажите когда-нибудь и нам что-нибудь такое, – напали на графа дамы.

– Княжна всё шутит и преувеличивает, – отбивался он.

– Ничуть не шучу. Настаивайте, мадам, чтобы он каждой из вас в отдельности рассказал по страшной истории.

Положение графа было ужасно. Он должен был улыбаться, отшучиваться, когда на сердце у него клокотала бессильная злоба против безумно любимой им девушки. Только теперь, снова увидев ту, обладание которой он так недавно считал делом решённым, он понял, до каких размеров успела вырасти страсть к ней в его сердце.

К счастью, разговор перешёл на другие темы. Княжна Людмила несколько раз особенно любезно обращалась к графу с вопросами, явно кокетничая с ним. У несчастного графа положительно шла кругом голова. Наконец княжна стала прощаться.

– Надеюсь видеть вас у себя, граф! – сказала она. – Пора бы вспомнить о сироте, живущей в предместье.

Свенторжецкий бессвязно пробормотал какую-то любезность. Княжна же глядела ему прямо в глаза своими искрящимися, смеющимися глазами, и он чувствовал, что точно тысячи иголок колют его сердце.

Однако граф не решился сразу последовать приглашению княжны и поехать к ней. Ему думалось, что девушка просто насмехается над ним и что, появившись у неё после рокового разговора, он получит от неё

обидное: “Не принимают”. Конечно, вся кровь бросалась в голову этого самолюбивого молодого человека при одной возможности подобного приёма.

“Она хочет окончательно добить меня”, – думал он и, несмотря на страстное желание видеть предмет своей страсти, не ехал на набережную Фонтанки.

Между тем встречи на нейтральной почве продолжались, и княжна продолжала быть обворожительно любезна со Свенторжецким. Он положительно терялся в догадках, смеётся ли она над ним или ищет примирения. Несмотря на всю свою проницательность, он не мог разгадать, что скрывает в своём сердце эта девушка, и окончательно потерял голову.

Однажды выдался случай, когда в одной из гостиных хозяйка занялась разговором с приехавшим с визитом старцем. Кроме последнего, тут были только княжна Людмила Васильевна и граф Свенторжецкий. Но они остались беседовать в стороне.

– Вы, граф, окончательно решили не переступить моего порога? – спросила княжна, особенно подчеркнув слово “граф”.

– Сказать вам по правде, княжна, – тоже не удержался он не подчеркнуть последнего слова, – мне кажется, что вы шутите, настойчиво приглашая меня к себе при посторонних. Ведь после нашего разговора...

– Я забыла о нём и к тому же думаю, что он был последствием вашей головной боли. Приезжайте, говорю вам теперь почти с глазу на глаз.

– И вы меня примете?

– Нет, граф, вы всё ещё нездоровы. Простите меня. Зачем же приглашала бы я вас?

– Чтобы отказать мне через лакея.

– Я неспособна так мелко мстить, граф. В моих жилах всё-таки, что бы вы ни говорили, течёт кровь князей Полторацких.

После этого разговора в сердце графа снова поселилась надежда. Однако только через несколько дней он решился сделать визит на Фонтанку и вернулся окончательно очарованный и вместе с тем окончательно

безумно влюблённый.

Княжна приняла его снова в будуаре, где он так глупо прервал своё объяснение в любви, которое достигло бы цели, тогда как в настоящее время последняя значительно отдалилась от него. Княжна была обворожительно любезна, кокетлива, но, видимо, ничего не забыла, ничего не простила. Чутким сердцем влюблённого граф угадывал это и понимал, что его любовь к ней почти безнадежна, что лишь чудо может заставить её заплатить ему взаимностью. Ведь он оскорбил её явно выраженным желанием сделать её своей любовницей, а не женой, и гордая девушка никогда не простит ему этого.

Однако другой, внутренний голос говорил графу иное и, как чудодейственный бальзам, действовал на его измученное сердце. Граф слишком любил, чтобы не надеяться, слишком желал, чтобы не рассчитывать на исполнение своих желаний, а потому сладко мечтал.

Они оба связаны тайной своего происхождения. Не лучше ли им быть совсем близкими людьми, чтобы эта тайна умерла вместе с ними? Как ни уверена княжна в непроницаемости своей тайны, наконец в бессилии его, графа, повредить ей, всё же знание им этой тайны не может не тревожить её. Между тем открытие тайны его самозванства не представило бы для него никакой опасности. Носимое им имя – имя его матери, его дала ему его мать, она же вручила ему документы, доказывающие его право на это имя. Если у него отнимут эти права, то он, уже поступивший на русскую военную службу, ничего не будет иметь против фамилии своего отца – Лысенко. Графский титул не пленяет его, а заслуги отца уже наложили на его фамилию известный блеск.

Другое дело, если откроется самозванство княжны Полторацкой; ведь за этим самозванством скрывается страшное преступление, караемое рукою палача. Этого не могла не понимать молодая девушка. Она, конечно, дорого дала бы, чтобы Свенторжецкий – он же Осип Лысенко – исчез с её жизненной дороги или же сделался для неё безопасным. Однако первое сделать трудно, второе же могло быть достигнуто замужеством с ним. Этим-то, вероятно, и объяснялось, что она так настойчиво делала вид,

будто забыла прошлое. В её голове, вероятно, создался именно такой план, но она, конечно, не сразу открыла свои карты, хотела помучить его. Пусть: он готов ждать, лишь бы смел надеяться, готов страдать, если эти страдания приведут его к наслаждению.

Вот те успокоительные мысли, которые подсказывал Свенторжецкому внутренний голос, голос надежды.

Время летело. Год траура княжны окончился, и она стала принимать живое участие во всех придворных и великосветских празднествах и увеселениях. Её всегда окружал рой поклонников, среди которых она отдавала предпочтение попеременно то князю Луговому, то графу Свиридову. Поведение её по отношению к Свенторжецкому в общем было более чем загадочно. Она дарила его благосклонной, подчас красноречивой улыбкой или взглядом, а затем, видимо с умыслом, избегала его общества и кокетничала на его глазах с другими. Он испытывал невыносимые муки ревности.

Уже несколько раз, бывая у неё, граф начинал серьёзный разговор о своих чувствах, но княжна всегда умела перевести этот разговор на другой или ответить охлаждающей, но не отнимающей надежды шуткой.

“Я, по её мнению, видимо, ещё не искупил вины; искус ещё не окончен”, – успокаивал себя граф и снова безропотно продолжал лихорадочную жизнь между страхом и надеждой.

С окончанием траура граф стал очень редко заставлять княжну одну. В приёмные дни и часы её гостиная, а иногда и будуар были, обыкновенно, переполнены. Вследствие этого прошло около месяца, а граф Иосиф Янович не мог остаться с глазу на глаз с княжной, как ни старался пересидеть её посетителей. Он был мрачен и озлоблен. Это не ускользнуло от княжны.

– Что с вами, граф?.. – обратилась она к нему, уловив свободную минуту. – Вы ходите, как приговорённый к смерти.

– Да разве это жизнь? – воскликнул он. – Видеть вас постоянно только в толпе.

– Вы ревнуете?

– Я, к сожалению, не имею права, но мне тяжело думать, что те дивные минуты, которые я проводил с вами в вашем будуаре, может быть, никогда не повторятся.

– Отчего же? Если вы искренне жалеете о них...

– Вы сомневаетесь? – с упрёком сказал он.

– Нет, граф, я не сомневаюсь. Я дам вам ключ от садовой калитки, и если после двенадцати сегодня вы свободны, то мы поболтаем в моём будуаре. Дверь в коридор из сада не будет заперта.

Граф Иосиф Янович не успел поблагодарить княжну, как она уже отошла к другим гостям, но при прощанье незаметно получил от неё ключ.

Это преисполнило его радостной надеждой. Разве ключ, лежавший в его кармане, не открывал вместе с калиткой сада княжны Полторацкой и её сердца? Если бы она не чувствовала расположения к нему, то с какой стати стала бы заботиться о свиданиях с ним с глазу на глаз, да ещё в позднее ночное время?

Но вдруг в его уме возникла роковая мысль: “А если это – ловушка?” Однако тут же ему вспомнились слова княжны: “Я неспособна на такую мелкую месть”.

Но это не успокоило его.

“А что, если она теперь задумала месть более крупную? – забеспокоился он. – Если она позовёт людей и объявит, что я ворвался к ней ночью, без её воли? Произойдёт скандал на весь город: я буду опозорен”.

Холодный пот выступил у графа на лбу при этом предположении, но доводами рассудка он ещё до приезда к себе домой сумел убедить себя в полной нелепости подобных мыслей:

“Зачем ей делать это? Какую пользу принесёт ей этот скандал? У неё много ненавистников, которые готовы перетолковать всё не в её пользу и охотно поверят мне, что она сама дала ключ от калитки и оставила дверь в сад отпертой. Нет, это не то! Просто ей самой приятно провести со мной часок-другой наедине, ей льстит моё восторженное поклонение, несмотря на то, что я знаю всё. Наконец моя страсть к ней так велика, что должна быть заразительна. Она находит отзвук если не в её уме, так в её сердце.

Кроме того, ей хочется ещё некоторое время помучить меня, прежде чем сделаться благосклонной ко мне. Эти свидания наедине дадут ей широкий простор продолжать этот мой временный искуc”.

Граф твёрдо надеялся, что это – именно искуc, и непременно временный, что она тоже любит его, и, не затей он этой глупой истории с разоблачениями, она давно была бы его женой.

Успокоив себя таким образом, граф с нетерпением стал ждать полуночи и, когда часы показали одиннадцать, вышел из дома. Надо было волей-неволей идти пешком, так как кучер был нежелательным и опасным свидетелем ночного визита к девушке. Нельзя было ручаться, что он не сболтнёт своим собратьям, а те понесут это известие по людским, из которых оно может легко перейти и в гостиные. Тогда княжна будет окончательно скомпрометирована.

Стояла тёмная октябрьская ночь. Впрочем, Свенторжецкий хорошо знал дорогу и мог бы найти её с завязанными глазами. Он благополучно дошёл до сада княжны, нащупал калитку и, вложив ключ в отверстие замка, повернул его. Замок щёлкнул, калитка отворилась. Войдя в неё, граф запер калитку изнутри и положил ключ в карман.

В саду было ещё темнее, нежели на улице, от довольно густо росших деревьев. Граф ощупью отправился искать дверь, ведущую в дом из сада. Последняя оказалась незапертой. Свенторжецкий вошёл и очутился в передней, из которой вёл коридор во внутренние комнаты. Сняв с себя верхнее платье, он вступил в этот коридор и достиг двери, закрытой портьерой. Граф откинул последнюю и вошёл в будуар.

Княжна сидела на диване и поднялась, увидев его около двери.

– Милости просим, – спокойно сказала она, как будто в этом его визите не было ничего необычного, и подала ему руку.

Граф почтительно поцеловал её.

– Садитесь! – Указала ему княжна на диван, а сама не торопясь подошла к двери и заперла её.

Несмотря на то, что пропитанный духами воздух будуара приятно действовал на графа, звук запираемого замка заставил его сердце

сжаться каким-то предчувствием.

Княжна между тем спокойно села с ним рядом и, смотря на него своими смеющимися, очаровательными глазами, сказала:

– Давайте беседовать. Я очень рада, что вы у меня. Вы, конечно, пришли?

– Как же иначе. Не мог же я приехать и таким образом сделать свидетелем этого визита кучера!

– Но это ужасно, в такую ночь и идти так далеко.

– Для того чтобы видеть вас, можно пройти путь в десять раз длиннейший.

– Вы неисправимы. Вы так расточаете всем любезности, что трудно догадаться, кому и когда вы говорили правду.

– Поверьте, что вы не принадлежите к числу тех, которым я говорю светские любезности.

– Мне очень хотелось бы вам верить, но ваших слов мне мало.

– Чем же я должен доказать вам?

– Вы? Ничем.

– Как это понимать?

– Это покажет время.

– Время – понятие растяжимое. И час, и день, и год – всё время.

– Неужели меня не стоит подождать?

– Кто говорит об этом? Если только можно дожидаться.

– Мы ещё молоды, граф!

– Но молодость и есть время любви.

– Скоропреходящей, время страсти, поправлю я вас.

– Пусть так. Но что за любовь без страсти? – воскликнул граф и хотел было завладеть руками княжны, но она быстро отодвинулась от него.

– Граф! Если вы хотите, чтобы наши свидания повторялись, то будьте благоразумны. Лучше расскажите, что вы поделяваете?

– Думаю о вас.

– И только?

– Это наполняет всю жизнь.

– Нет, оставим это! Скажите мне что-нибудь поинтереснее, иначе я могу раскаться, что пригласила вас.

Это было сказано таким серьёзным тоном, что граф не на шутку перепугался. Он пересилил себя и стал рассказывать княжне какую-то светскую сплетню, с довольно пикантными подробностями. Княжна оживилась и слушала с видимым интересом.

Незаметно в этой чисто светской болтовне прошло более часа.

– На сегодня довольно! – заметила княжна и выпроводила гостя.

“Она играет со мной! – думал граф, шагая в непроглядной тьме по берегу Фонтанки. – Пусть, когда-нибудь доиграется!”

IX. СЛАДКОЕ МУЧЕНИЕ

Год со дня смерти княгини Полторацкой, проведённый князем Луговым в томительной неизвестности, показался ему вечностью. Он был тем мучительнее, что Сергей Сергеевич видел княжну Людмилу почти всегда окружённую роем поклонников и мог по пальцам пересчитать не только часы, но и минуты, когда ему удавалось переговорить с нею наедине.

Она относилась к нему всегда приветливо и радушно... но и только. Конечно, не того мог ожидать её жених, объявленный и благословлённый её матерью.

Положим, этого не знали в обществе, но было всё-таки два человека, знавшие об этой деревенской помолвке; одним из них был граф Свиридов, ухаживавший за княжной и, как казалось, пользовавшийся её благосклонностью, а другим – Сергей Семёнович Зиновьев, которому Васса Семёновна написала об этой помолвке незадолго до смерти.

Об этом знала княжна, лежавшая в могиле, но не знала княжна, прибывшая в Петербург. Сергей Семёнович на другой же день приезда спросил её:

– Ты невеста?

– И да, и нет, – ответила она, вся вспыхнув.

– Как же это так? Сестра писала, и ты...

Княжна, услышав, что её “мать” тоже сообщила брату о сватовстве князя Лугового, подробно рассказала всё, включительно до своего последнего разговора с князем.

– Я ведь вам писала, – добавила она.

– Ты не любишь его, – сказал Сергей Семёнович. – Если любят человека, так не рассуждают. Он может быть женихом хоть несколько лет в силу тех или других обстоятельств, но предложить скрывать свою помолвку не может любящая девушка.

– Может быть, вы и правы, дядя.

– Зачем же ты давала ему слово при жизни матери?

– Это была мечта мамы.

– А не твоя?

Девушка потупилась.

– И моя. Там... в Зиновьеве.

– А здесь?

– Я не знаю. Видишь ли, дядя, я тебе признаюсь. Когда этот удар обрушился надо мной, я совсем потеряла голову. Потом я пришла в себя, стала думать и пришла к мысли, что, собственно говоря, я избрала князя в мужа, не имея положительно с кем сравнить его; уже сделав предложение, он привёз к нам своего друга...

– Это графа Свиридова? Да? И что же?

– Он произвёл на меня впечатление, – снова потупившись, произнесла княжна.

– Ты влюбилась и в него?

– Не то. Но я увидела, что князь – не один такой красивый, ловкий, увлекательный. Раньше я думала, что он лучше всех. Когда же я увидела, что ошиблась, и к тому же мне предстояло ехать в Петербург, где я могу присмотреться ко многим мужчинам, я попросила отложить день объявления нас женихом и невестой; он охотно согласился.

– Охотно? Ну, я так не думаю. Согласиться ему пришлось поневоле, но чтобы это он сделал с охотой, я не верю. Я убеждён, что ты не любишь

князя, и в этом смысле, конечно, лучше, если этот брак не состоится. Вы оба молоды, и вам нет надобности заключать брак по расчёту.

– Я не знаю, – ответила княжна.

– Время покажет. До окончания траура ещё долго.

Разговор о браке племянницы с князем Луговым более не возобновлялся. Однако по истечении года траура княжны этот разговор пришлось возобновить.

Князь Луговой нетерпеливо ждал этого срока! Наконец год истёк. Княжна Людмила бросилась в водоворот великосветской жизни и, казалось, не только забыла о данном ею Луговому слове, но даже о существовании князя.

В городе стали говорить то о том, то о другом вероятном претенденте на её руку, но среди них не упоминали имени князя Сергея Сергеевича.

Это очень понятно – князь держался в стороне. Самолюбие не позволяло ему действовать иначе, по крайней мере по наружности. В глубине же его сердца клокотала целая буря. Ожидание окончания назначенного срока было ничто в сравнении с обидным невниманием княжны, когда этот срок уже миновал.

Князь целый месяц терпеливо ждал, что Людмила Васильевна заговорит с ним о прошлом, даст повод ему начать этот разговор, но – увы! – княжна, видимо, с умыслом, как он думал, избегала даже оставаться с ним наедине.

Не находя возможности обратиться при таком положении дела к самой княжне, Луговой решил переговорить с её дядей. Для этого он заехал к Зиновьевым.

Сергей Семёнович внимательно выслушал молодого человека, но на его вопрос относительно намерений княжны ответил не сразу.

– Моя племянница и я очень далеки друг от друга, – начал он медленно, как бы обдумывая каждое слово. – Я её знал маленькою девочкою, затем несколько лет не был в Зиновьеве, где она жила безвыездно, а когда после несчастья она переехала сюда, то, не скрою от вас, показалась мне очень странной. С первых же шагов она стала держать себя по

отношению ко мне и моей жене, как чужая. Зная хорошо сестру, я не ожидал, что у неё вырастет такая дочь. Таким образом, исполнить ваше желание будет для меня крайне если не затруднительно, то щекотливо.

– Помилуйте, вы всё-таки её самый близкий родственник. Посудите сами, к кому же другому мне обратиться? Моё положение невозможно. Не говоря уже об искреннем чувстве, которое я продолжаю питать к княжне, я связан с нею словом и благословением её покойной матери, а такая неопределённость ставит меня в крайне затруднительное, мучительное положение.

– Я вас понимаю, князь, и очень сочувствую вам. Жизнь моей племянницы хотя и не выделяется особенно из рамок жизни нашего общества, но не заслуживает моего одобрения. Я совершенно согласен с сестрой и лучшего мужа, чем вы, не желал бы для Люды. Но она поставила себя так ко мне и жене, что нам положительно неудобно давать ей родственные советы. Она бывает у нас с визитами, является по приглашению на вечера, ещё никогда ни со мной, ни с женой не говорила по душе, по-родственному. С какой же стати нам вмешиваться в её дела, особенно серьёзные?

– Но вы знаете волю её покойной матери, вашей сестры.

– Знаю. Эх, князь, мы живём в такое время, что и живых-то родителей не очень слушаются, а не то что умерших.

– Я и не настаиваю, чтобы княжна слушалась. Мне хочется только получить тот или другой решительный ответ.

– Отчего же вы не спросите её сами?

– Я считаю это неудобным. Ей легче будет, наконец, отказать мне через третье лицо, нежели лично. Я щажу её.

“Как он её любит, не то что она!” – мелькнуло в уме Зиновьева, и он сказал:

– Хорошо, князь, я возьмусь за это поручение, но только для вас. В память моей покойной сестры, которая желала иметь вас сыном, я обязан так или иначе решить этот вопрос. Ваше положение действительно странно. Я понял вас, понял и очень сочувствую вам. При первом же

удобном случае я поговорю с Людой. На днях я заеду к ней нарочно для этого.

Князь ещё раз поблагодарил и простился с Зиновьевым.

Его положение было действительно мучительно.

“Один уже конец!” – думал он.

Увы, судьба не была к нему снисходительна – она не дала ему скоро этого желанного конца.

Зиновьев решил, согласно просьбе князя, не откладывать беседы с племянницей в долгий ящик. На другой же день, после службы, он заехал к ней и застал её одну.

– Дядя, какими судьбами? Вот не ожидала! – встретила его княжна, не забывая почтительно поцеловать его руку.

– Я и сам не ожидал.

– Это любезно. Что же такое случилось, что вы решились доставить себе такую неприятность, а мне большое удовольствие?

– Ишь, матушка, у тебя на языке мёд, а под языком лёд, да и на сердце тоже.

– Что с вами, дядя? – воскликнула уже тревожным голосом княжна Людмила Васильевна. – Садитесь, скажите.

Сергей Семёнович сел, некоторое время молча смотрел на племянницу, а затем произнёс:

– Не в нашу семью уродилась ты, Люда, не в покойную мать, мою сестру, царство ей небесное!

Княжна побледнела при этих словах дяди.

– Что такое? Я не понимаю!

– Не понимаешь? Так я объясню тебе. Вчера был у меня князь Сергей Сергеевич Луговой.

– А-а... – протянула княжна.

– Нечего акать, – рассердился Сергей Семёнович, – ведь он твой жених.

– Он не забыл об этом?

– Грех тебе говорить это! Он любит тебя. А ты не смела забыть это уже по одному тому, что вас благословила твоя покойная мать, почти пред своей

смертью. Это для тебя – её последняя воля. Она должна быть священна.

– Я пошутила, дядя, – спохватилась княжна Людмила.

– Этим не шутят, матушка.

– Простите меня, дядя, я не виновата, что я такая, – она подыскала слово, – взбалмошная.

– Надо исправиться. Но надо и ответить князю так или иначе. Я тебя не неволю: если не любишь, не надо идти замуж, ведь так и себя, и его погубишь, но надо развязать человека. Что-нибудь одно.

– Я сама на днях переговорю с ним.

– Переговоры, непременно, – заметил Сергей Семёнович и, сочтя своё поручение исполненным, уехал.

На другой же день после этого посещения Зиновьевым княжны Луговой получил от последней любезную записку с приглашением посетить её в тот же день, от четырёх до пяти часов вечера.

Записка заставила сильно забиться сердце князя Лугового. Он понял, что она явилась результатом свидания Зиновьева с его племянницей, а потому несомненно, что назначенный в ней час – час решения его участи. Несколько раз перечитал он дорогую записку, стараясь между строк проникнуть в мысли писавшей её, угадать по смыслу и даже по почерку её настроение. Увы, он не проник ни во что и не угадал ничего. Он остался лишь при сладкой надежде, что наконец сегодня, через несколько часов, так или иначе решится его судьба.

С сердечным трепетом позвонил Сергей Сергеевич в четыре часа дня у подъезда дома княжны. Лакей доложил о нём и тотчас же провёл в будуар.

Княжна Людмила поднялась ему навстречу с обворожительной улыбкой.

– Здравствуйте, здравствуйте, князь, как я рада видеть вас! – с неподдельной искренностью воскликнула она.

Князь молча смотрел на неё восторжённным взглядом и в первую минуту чуть не забыл поцеловать протягиваемую ею руку. Наконец он опомнился, схватил эту дорогую руку, которую он считал своею, и стал покрывать её горячими поцелуями.

– Целуйте, – улыбнулась княжна, – целуйте обе: это – ваше право.

– Право? Вы говорите, право? Вы воскрешаете меня к жизни!.. – воскликнул князь и пылко воспользовался предоставленным ему правом.

– Довольно, князь, довольно, хорошенького понемножку! – Всё продолжая ласково улыбаться, отняла княжна руки. – Садитесь, а я начну пред вами каяться.

– Каяться?.. Предо мною?..

– Не бойтесь, я ничего не совершила особенно дурного, – сказала она, заметив впечатление, произведённое её последней фразой. – Сядьте! – Указала она ему место рядом с собою. – Я буду каяться в своём поведении по отношению к вам, князь... Вы на меня жаловались дяде?

Сергей Сергеевич вспыхнул.

– Я... жаловался?.. Сергей Семёнович, видимо, не так понял.

– Он понял именно так, как следовало понять. Я пошутила, назвав это жалобой, но вы имели право и жаловаться... Я действительно не права пред вами, тысячу раз не права! Я вела себя как легкомысленная девочка, и вам ничего не оставалось, как пожаловаться старшим.

– Повторяю, Сергей Семёнович... – снова хотел объяснить князь.

– Выслушайте меня до конца! – не дала она ему окончить фразу. – Я говорю это не с насмешкою и не с упрёком, а совершенно искренне и серьёзно. Но у меня есть и оправдание. Я всё своё детство и раннюю молодость прожила в захолустье, в деревне. Понятно, что Петербург произвёл на меня ошеломляющее впечатление. Но в течение года траура я могла пользоваться только крохами наслаждений, которые предоставляет столица. Год минул, и у меня окончательно закружилась голова в этом омуте удовольствий. Этим объясняется, что я забыла, что есть человек, который с нетерпением ожидает этого срока, чтобы услышать от меня; обещанное решительное слово... простите меня, князь!

– Помилуйте, княжна! – И Сергей Сергеевич припал к её руке долгим поцелуем.

– Повторяю, вы были правы, обратившись к дяде с: просьбой напомнить мне о моей священной обязанности.

– И это – ваше решительное слово, княжна? – с дрожью в голосе спросил Луговой.

– Вы мне верите, князь? – вдруг спросила его княжна.

Сергей Сергеевич несколько мгновений молча смотрел на неё вопросительно-недоумевающим взглядом и наконец произнёс:

– То есть как? Конечно, верю.

– Только при условии веры в меня я могу говорить с вами совершенно откровенно. Ваш ответ на мой вопрос не убеждает меня, но, напротив, доказывает, что вы колеблетесь. Я веду с вами не светский разговор, нет, мы решаем своё будущее. Поэтому я должна получить от вас твёрдый и уверенный ответ на свой вопрос. Я поставлю его в несколько иной форме, предложу вам вместо одного вопроса два: первый – любите ли вы меня по-прежнему?

– Да разве вы можете сомневаться?.. По-прежнему!.. – с искренней горечью повторил князь. – Больше прежнего.

– Тогда второй вопрос: верите ли вы любимой вами девушке?

– Безусловно, – твёрдо и решительно ответил князь.

– Теперь я могу говорить. Я люблю вас по-прежнему, – произнесла княжна и остановила на Луговом ласкающий взгляд.

– Княжна!.. – весь просияв, воскликнул Сергей Сергеевич и, завладев её рукою, стал покрывать её поцелуями.

– Я видела много молодых людей, я изучала их и не нашла среди них достойнее вас, но не по внешности, а по внутренним качествам. И я решила, что буду вашей женой, но...

Княжна Людмила остановилась и пристально посмотрела на Сергея Сергеевича. Его неотступно устремлённый на неё восторженный взгляд вдруг омрачился.

– Князь, я молода, – почти с мольбой в голосе продолжала она, – а между тем я ещё не насладились жизнью и свободой, так украшающей эту жизнь. Со дня окончания траура прошёл с небольшим лишь месяц, зимний сезон не начинался; я люблю вас, но вместе с тем люблю и этот блеск, и это окружающее меня поклонение, эту атмосферу балов и

празднеств, этот воздух придворных сфер, эти бросаемые на меня с надеждой и ожиданием взгляды мужчин. Всё это мне ещё внове, и всё это меня очаровывает.

– Но и по выходе замуж... – начал было князь.

– Вы хотите сказать, что этот блеск и эта атмосфера останутся. Но это – не то, князь! Вы, быть может, теперь, под влиянием чувства, обещаете мне не стеснять моей свободы, но на самом деле это невозможно: я сама буду стеснять её, сама подчинюсь моему положению замужней женщины; мне будет казаться, что глаза мужа следят за мною, и это будет отравлять все мои удовольствия, которым я буду предаваться впервые как новинке.

– Чего же вы хотите? Отсрочки? – глухо произнёс князь.

– Милый, хороший... – Вдруг наклонилась она к нему и положила обе руки на его плечи.

У Сергея Сергеевича закружилась голова. Её лицо было совсем близко к его лицу, он чувствовал её горячее дыхание.

– И надолго? – прошептал он, привлекая княжну к себе.

– На несколько месяцев... Милый, хороший, ты согласен?

Это "ты" окончательно поработило Сергея Сергеевича.

– На что не соглашусь я для тебя! Я люблю тебя, – страстным шёпотом произнёс он и обжёг её губы горячим поцелуем. – Божество моё, моя прелесть, моё сокровище! Благодарю, благодарю тебя.

Он молча продолжал покрывать губы, щёки и шею княжны страстными поцелуями.

– Могут войти, – опомнилась она, вырываясь из его объятий.

– О, Боже, какая это мука! – воскликнул он. – Какое сладкое мучение!

– Я не знаю, как я благодарна тебе за это доказательство любви, – продолжала Людмила, – за то, что ты так страшно балуешь меня и главное, что этим баловством доказываешь, что понимаешь меня и веришь мне.

– Я люблю тебя!

– Но мы не можем всегда играть комедию, раз мы близки сердцем; я

должна к тому же вознаградить тебя за те несколько месяцев тяжёлого ожидания, на которые обрекла тебя. Не правда ли?

– Что ты хочешь сказать этим, моя дорогая?

– Мы будем устраивать свидания наедине. В саду есть калитка. Я буду давать тебе ключ. Ты будешь приходить ко мне ночью через маленькую дверь, соединяющуюся коридором с этим будуаром. Я покажу тебе дорогу сегодня же.

– Но это могут заметить, дурно истолковать...

– Ночью у нас нет ни души кругом. Никто не заметит. Ты не хочешь?

Князь не ответил сразу. В его уме и сердце боролись два ощущения. С одной стороны, сладость предстоявших дивных минут таинственного свидания, радужным цветом окрашивающих томительные месяцы ожидания, а с другой – боязнь скомпрометировать девушку, которую он через несколько месяцев должен будет назвать своей женой. Однако он понял, что молчание может обидеть её. Первое ощущение взяло верх, и он воскликнул:

– Это, с твоей стороны, безумие, но оно пленительно!

– Пойдём, я покажу тебе дорогу. – Княжна отодвинула ширму, отперла стеклянную дверь и провела его коридором до входной двери. – Я буду в назначенный день оставлять эту дверь отпертой.

Сергей Сергеевич шёл за нею, как в тумане, всецело подчиняясь её властной воле.

“Это – безумие, это – безумие! – неслось в его уме, – Но если это откроется, то лишь ускорит свадьбу!”

Натолкнувшись на это соображение, Луговой не только успокоился, но даже обрадовался этому “безумному” плану княжны.

Они снова вернулись в будуар.

– Ты доволен? – спросила Людмила.

– Конечно, дорогая моя! Как же я могу быть не доволен возможностью провести с тобой совершенно наедине несколько часов?

– Так сегодня же, в полночь! – И княжна, подойдя, отперла один из ящиков стоявшей в будуаре шифоньерки и, вынув ключ, отдала его

Луговому.

Он взял ключ и бережно, как святыню, положил в карман.

– Завтра ты заедешь ко мне с визитом и незаметно для других, если будут гости, передашь его мне.

– Хорошо, благодарю тебя, моя милая! – И князь снова привлёк её к себе.

Если бы мог он заподозрить, что при таких же условиях получал этот же ключ граф Свенторжецкий, хотя, как мы видели, свидания последнего с княжной до сих пор носили далеко не нежный характер.

Луговой уехал, сказав с особым удовольствием княжне Людмиле “до свидания”.

“Как он хорош, как он мил! – думала она, проводив своего жениха. – Он лучше всех. А граф? – Вдруг мелькнуло в её уме, причём она вспомнила не о графе Свенторжецком, а о графе Свиридове. – Нет, нет, я люблю князя! Никого, кроме него! Я буду его женой”.

Однако чем более она убеждала себя в этом, тем настойчивее образ графа Петра Игнатьевича носился пред её духовным взором.

“Он также хорош! Он тоже любит тебя!” – нащёптывал ей в уши какой-то голос.

– Нет, нет, я не хочу, я люблю князя! – Отбивалась она.

“Но князь обречён. Он должен погибнуть. С ним погибнешь и ты”, – продолжал искунитель.

Девушка со слов покойной княжны припомнила всё случившееся в Зиновьеве.

“Ведь он сказал, что в тебе видна холопская кровь!” – нанёс ей последний удар таинственный голос.

Всё лицо её при этом воспоминании залилось краской негодования. А она только что поцеловала его!

Х. ТРОЙНАЯ ИГРА

“Я покажу тебе, князь Луговой, холопскую кровь!” – припомнила теперь Татьяна Берестова, княжна-самозванка, свою угрозу по адресу Лугового, произнесённую ею в Зиновьеве.

Её увлечение князем боролось с этим воспоминанием.

Под влиянием злобы на Сергея Сергеевича она усиленно кокетничала с графом Свиридовым.

Ещё и там, в Зиновьеве, князь Луговой нравился девушке гораздо более, чем граф Свиридов, но она не могла простить первому нанесённое оскорбление, до сих пор вызывавшее на её лице жгучий румянец гнева, и она убеждала себя в превосходстве графа Петра Игнатьевича над князем Сергеем Сергеевичем.

То же произошло с нею и в Петербурге, после описанного нами свидания с князем Луговым, во время которого она подтвердила данное княжной Людмилой Васильевной слово быть его женой. Она то чувствовала себя счастливой и любящей, то вдруг, вспоминая нанесённое ей князем оскорбление считала себя несчастной, ненавидящей своего жениха.

Под влиянием последнего настроения она удваивала своё кокетство с графом Свиридовым, видя в этом своего рода мщение Сергею Сергеевичу, и даже назначала и ему свидания по ночам в своём будуаре, давая ключ от садовой калитки. Потом, написав письмо одному и вызвав его на свиданье, она на другой день писала другому письмо в тех же выражениях.

Впрочем, надо сказать, что княжна ни со Свиридовым, ни со Свенторжецким не была так нежна, как с князем Луговым. Свидания с первым и вторым носили характер светской болтовни при таинственной, многообещающей, но – увы – для них лишь раздражающей обстановке, хотя она и в разговорах наедине, и в письмах называла их полуименем и обмолвливалась сердечным “ты”.

Граф Пётр Игнатьевич, конечно, не имел понятия об этой тройной игре, где двое партнёров – он и граф Свенторжецкий – играли довольно жалкую роль. Он, как и оба другие, считал себя единственным избранником и глубоко ценил доверие, оказываемое ему княжною,

принимавшей его в глухой ночной час и проводившей с ним с глазу на глаз иногда более часа. Она благосклонно слушала его признания в любви. Он несколько раз косвенно делал ей предложение, но она искусно переменяла разговор и давала понять, что хотела бы ещё вдоволь насладиться девичьей свободой. Зная, что она только что вступила в светскую жизнь после долгих лет, проведённых в тамбовском наместничестве, и года траура в Петербурге, Свиридов находил это очень естественным и терпеливо ожидал, пока настанет вожделенный день и княжна переменит свою корону на графскую. Глубокая тайна, окружавшая их отношения, придавала им ещё большую прелесть. Граф был доволен и счастлив.

Не был доволен и счастлив второй граф и претендент на руку княжны Полторацкой – Свенторжецкий. У него во время свидания наедине установились с княжной какие-то странные, полутоварищеские, полудружеские отношения. Княжна болтала с ним обо всём, не исключая своих побед и увлечений, и делала вид, что совершенно вычеркнула его из числа её поклонников: он был для неё добрым знакомым, товарищем её детства и... только. Всякую фразу, похожую на признание в любви, сказанную им, девушка встречала смехом и обращала в шутку.

Это доводило пылкого графа до бешенства. Он понимал, что при таких отношениях он не может сделать ей серьёзное предложение, что при малейшей попытке с его стороны в этом смысле он будет осмеян ею. А между тем страсть к княжне бушевала в его сердце с каждым днём всё с большей и большей силою.

Роковой вопрос: “Что делать?” – стал всё чаще и чаще восставать в его уме.

– Она будет моей! Она должна быть моей! – говорил он сам себе, но при этом чувствовал, что исполнение этого страстного желания останется лишь неосуществимой мечтой.

“Хотя бы с помощью дьявола!” – решил он, но тотчас горько улыбнулся – увы, даже помощи дьявола ему ожидать было неоткуда.

“Погубить её и себя! – мелькало в его голове, то он отбрасывал эту

мысль. – Её не погубишь. Она слишком ловко и умно всё устроила. Только осрамишься”.

Именно это соображение останавливало Свенторжецкого.

Да иначе и быть не могло. Любви, вероятно, вообще не было в сердце этого человека; к княжне Людмиле Васильевне он питал одну страсть, плотскую, животную и тем сильнейшую. Он должен был взять её, взять во что бы то ни стало, препятствия только разжигали его желание, доводя его до исступления.

– Она должна быть моею! Она будет моей! – всё чаще и чаще повторял он, и днём, и ночью изыскивая средства осуществить эту свою заветную мечту, но – увы! – все составленные им планы оказывались никуда не годными, так как “самозванка-княжна” была защищена со всех сторон неприступной бронёю.

Граф лишился аппетита, похудел и обращал на себя общее внимание своим болезненным видом.

– Что с вами, граф? – спросила его графиня Рябова, одна из приближённых статс-дам императрицы – молодая, красивая женщина, которую Свенторжецкий посетил в один из её приёмных дней. – Неужели вы влюблены?

– В кого, графиня? – деланно удивлённым тоном спросил он её. – Положительно не знаю.

– В кого же можно быть влюблённым? Не в меня же! – язвительно заметила графиня.

– Если бы я влюбился, графиня, то исключительно в вас, но, к несчастью, я не влюбчив.

– Будто бы! – кокетливо покачала головой графиня. – А между тем все наши говорят, что вы влюблены.

– Мне об этом неизвестно.

– Значит, чары “ночной красавицы” благополучно миновали вас? Да? Так что же с вами?

– Я болен.

– Лечитесь.

- Лечусь, но доктора не помогают.
- Обратитесь к патеру Вацлаву. Это старый католический монах; он уже давно живёт в Петербурге и лечит травами.
- И успешно?
- Есть много лиц, которым он помогает.
- Где же он живёт?
- Далеко... на Васильевском острове, но где именно, я точно не знаю. Прикажете узнать, это так легко. Искренне ли вы сказали, что вы не влюблены, или нет – это всё равно: патер Вацлав, как слышно, лечит и от сердечных болезней. Он, говорят, всемогущ в деле возбуждения взаимности.

Граф весь превратился в слух.

“Вот она, помощь дьявола!” – мелькнуло в его уме, однако он сумел не выдать своего любопытства и того волнения, которое ощутил при этих словах графини, и небрежно произнёс:

- За этим я к нему и обращаюсь.
- Хорошо сказано. Уверенность в мужчине – залог его успеха. Надеюсь, вы сообщите мне результат и, кроме того, впечатление, которое вы вынесете из свидания с этим “чародеем”.
- Вы говорите “чародеем”?
- Да, так зовут его в народе.
- Я непременно последую вашему совету, графиня.

Вернувшись домой, Свенторжецкий обратился к пришедшему раздевать его Якову:

- Послушай-ка! Съезди завтра же рано утром, пока я сплю, на Васильевский остров и отыщи там патера Вацлава. Запомнишь?
- Запомню! А кто он такой, ваше сиятельство?
- Он лечит травами.
- Это чародей? Слышал про него... Его знают.
- Вот его-то мне и надо.
- Слушаю-с, ваше сиятельство. Найду.

Граф отпустил Якова и лёг в постель, но ему не спалось. “А что, если

действительно этот чародей может помочь мне?” – неслось в его голове. Ум подсказал ему всю шаткость этой надежды, а сердце между тем говорило иное; оно хотело верить и верило.

“Завтра же я отправлюсь к этому чародею, – думал граф, – не пожалею золота, а эти алхимики, хотя и хвастают умением делать его, никогда не отказываются от готового”.

После этого Свенторжецкий стал припоминать слышанные им в детстве и в ранней юности рассказы о волшебствах, наговорах, приворотных корнях и зельях.

“Ведь не сочинено же всё это праздными людьми! – думал он. – Ведь что-нибудь, вероятно, да было. Нет дыма без огня, нет такого фантастического рассказа, в основе которого не лежала бы хоть частичка правды. Природа, несомненно, имеет свои тайны, как несомненно, есть люди, которым посчастливилось проникнуть в одну или несколько таких тайн. Этого достаточно, чтобы человек сделался сравнительно всемогущ. Быть может, патер Вацлав именно один из таких людей. Недаром он пользуется в Петербурге такою известностью”.

Граф не ошибся в своём верном слуге.

– Ну что? – спросил он Якова, появившегося на другой день утром на звонок.

– Нашёл-с, ваше сиятельство!

– Молодец, – не удержался похвалить его граф. – Где же он живёт?

– Далеко, очень далеко: в самом как ни на есть конце Васильевского острова; там и жилья-то до него, почитай на версту нет.

– В своём доме?

– Какой там дом! Избушка, ваше сиятельство.

– Ты был у него? Да? И видел его?

– Видел. Страшный такой... худой, седой да высокий, глаза горят, как уголья, инда дрожь от их взгляда пробирает. И дотошный же!

– А что?

– Да спросил меня: “Чего тебе надо?” Я и говорю: “Не можется мне что-то!” А он как глянет на меня так пронзительно да и говорит: “Ты не ври!”

Не от себя ты пришёл, а от другого; пусть другой и приходит, а ты пошёл вон”.

– Что же ты?

– Что же я? Давай Бог ноги!

– Мы с тобой поедem сегодня к нему вдвоём. Ты меня проводишь! – И граф стал одеваться.

Патер Вацлав был действительно известен многим в Петербурге. На Васильевском же острове его знал, как говорится, и старый и малый, вместе с тем все боялись. Репутация “чародея” окружала патера той таинственностью, которую русский народ отождествляет со знакомством с нечистою силой, и хотя в трудные минуты жизни и обращается к помощи тайных и непостижимых для него средств, но всё же со страхом взирает на знающих и владеющих этими средствами.

Сама внешность патера Вацлава, описанная Яковом, не внушала ничего, кроме страха или, в крайнем случае, боязливом почтении. Образ его жизни тоже более или менее подтверждал сложившиеся о нём легенды.

А легенд этих было множество. Говорили, что в полночь на трубу избушки патера Вацлава спускается чёрный ворон и издаёт зловеший троекратный крик. На крыльце появляется сам “чародей” и отвечает своему гостю почти таким же криком. Ворон слетает с трубы и спускается на руку патера Вацлава, и тот уносит его к себе.

Некоторые обитатели окраин Васильевского острова клялись и божились, что видели эту сцену собственными глазами.

Впрочем, немногие смельчаки решались по ночам близко подходить к “избушке чародея”. В её окнах всю ночь светился огонь, и в зимние тёмные ночи этот светившийся вдали огонёк наводил панический страх на глядевших в сторону избушки. Этот-то свет и был причиной того, что на Васильевском острове все были убеждены, что “чародей” по ночам справляет “шабаш”, почётным гостем на котором бывает сам дьявол в образе ворона.

Утверждали также, что патер Вацлав исчезает на несколько дней из своей избушки, улетая из неё в образе филина.

Бывшие у патера Вацлава днём, за лекарственными травами, тоже оставались под тяжёлым впечатлением. Обстановка внутренности избушки внушала благоговейный страх, особенно простым людям. Толстые книги в кожаных переплётках, склянки с разными снадобьями, пучки засохших трав, несколько человеческих черепов и полный человеческий скелет – всё это производило на посетителей сильное впечатление.

Впрочем, “чародей” знал не с одним простым чёрным народом. У его избушки часто видели экипажи бар, приезжавших с той стороны Невы. Порой такие же экипажи увозили и привозили патера Вацлава.

Кроме лечения болезней, он занимался и так называемым “колдовством”. Он удачно открывал воров и места, где спрятано похищенное, давал воду от “сглаза”, приворотные корешки и зелья. Носились слухи, что он делал всевозможные яды, но на Васильевском острове, ввиду патриархальности быта его обитателей, в этих услугах патера Вацлава не нуждались.

Был первый час дня, когда экипаж графа Свенторжецкого остановился у избушки патера Вацлава, и Иосиф Янович, сказав соскочившему с запяток кареты Якову: “Ты останься здесь, я пойду один”, – твёрдой походкой поднялся на крыльцо избушки и взялся за железную скобу двери. Последняя легко отворилась, и граф вошёл в первую горницу.

За большим столом, заваленным рукописями, сидел над развёрнутой книгой патер Вацлав. Он не торопясь поднял голову.

– Друг или враг? – спросил он по-польски.

– Друг! – на том же языке ответил граф Иосиф Янович.

– Небо да благословит твой приход! Садись, сын мой, и изложи свои нужды! – ласково, насколько возможно для старчески дребезжащего голоса, произнёс патер Вацлав.

Свенторжецкий сел на стоявший сбоку стола табурет.

– Не болезнь привела тебя ко мне, сын мой, – пристальным, пронизывающим душу взглядом смотря на графа, произнёс патер Вацлав.

– И нет, и да, – ответил Свенторжецкий сдавленным шёпотом.

– Ты прав: и да, и нет. Ты здоров физически, но тебя снедает

нравственная болезнь.

– Вы знаете лучше меня, отец мой!

– Ты прав опять. Я знаю многое, чего другим знать не дано. Ты любишь?

– Да, – чуть слышно произнёс граф.

– И нелюбим? Нет? Так расскажи же мне всё, без утайки. Кто она? Знай, что нас слышат только четыре стены этой комнаты; всё, что ты расскажешь мне, останется, как в могиле.

Граф начал свой рассказ о своей любви к княжне Полторацкой, конечно не упомянув ни одним словом о её самозванстве, о своих тщетных ухаживаниях и о её поведении по отношению к нему.

– Она назначает тебе свиданья?

– Да, батюшка.

– Ночью, наедине, ты, кажется, говорил так? Да? Зачем же она это делает?

– Не знаю.

– Быть может, она назначает их и другим? Быть может, это вошло в обычай её жизни?

– Не думаю! Она честная девушка! – вспыхнул граф, но в его мозг уже вползла ревнивая мысль:

“А что, если действительно она и другим назначала подобные же свидания?”

– Так ты не можешь и догадаться, для чего это она делает?

– Быть может, для того, чтобы мучить меня.

– Ты это думаешь и всё же любишь её, хочешь, чтобы она сделалась твоею женою?

– Я хочу чтобы она была моей, хочу так, что готов отдать за это половину своего состояния. Вот золото: это – только задаток за услугу, если только возможно оказать её мне! – И граф, вынув из кармана больших размеров кошелёк, высыпал пред патером Вацлавом целую грудку золотых монет.

Глаза старика сверкнули алчностью.

– Тебе можно помочь, но... это средство может повредить её здоровью.

– О-о-о – простонал граф Иосиф Янович.

– Если ты питаешь к ней только страсть, то она будет твоей. Если же...
– Пусть она будет моею! – вдруг твёрдо и решительно воскликнул Свенторжецкий.

– Она может умереть, – добавил патер Вацлав.

– Пусть умрёт, но умрёт моею! – в каком-то исступлении закричал граф. – Если другого средства нет, то мне остаётся выбирать между моей и её жизнью! Я выбираю свою.

– Это естественно, – докторально заметил патер Вацлав. Граф не слышал этого замечания.

“Она будет моею, а затем умрёт. Пусть! Я буду отмщён вдвойне. Но это ужасно. Может быть, есть другое средство? Пусть она живёт... живёт моей любовницей... Эта месть была бы ещё страшнее!” – подумал Свенторжецкий и спросил:

– А может быть, есть другое средство? Пусть она живёт... Если это дороже, всё равно. Берите сколько хотите, отец.

– Ты колеблешься, сын мой? Нет, другого верного средства не имеется. Ведь не веришь же ты разным приворотным зельям и кореньям, которым верит глупая чернь?

– Тогда давайте верное средство, батюшка.

– Я изготовлю его тебе через неделю.

– Какое же это средство?

– Она любит цветы? Да? Ты дарил их ей?

– Нет.

– Начни посылать ей цветы. Через неделю я дам тебе жидкость. В день свиданья, когда ты захочешь, чтобы княжна была твоею, ты опрысни этой жидкостью букет. Несколько капель на цветах будет достаточно.

– И она умрёт после того скоро?

– В ту же ночь. Однако, чтобы это имело вид самоубийства, пошли побольше цветов. От их естественного запаха тоже умирают. Открыть же присутствие снадобья невозможно.

Граф задумался.

Патер Вацлав молча глядел на него, а затем спросил:

- Ну, как же? Приготовлять?
 - Приготовляйте, батюшка! Да простит меня Бог! – воскликнул граф Свенторжецкий.
 - И простит, сын мой! За сто червонных я дам тебе разрешение нашего святого папы от этого греха.
 - И грех действительно простится?
 - Разве ты не сын римско-католической церкви? – строго спросил патер Вацлав.
 - Я сын её, – глухо ответил граф.
- В действительности он был православным, но с четырнадцати лет, под влиянием матери, ходил в костёл на исповедь и причастие у ксендза. Приняв имя графа Свенторжецкого, он невольно сделался и католиком, однако, в сущности, не исповедовал никакой религии.
- Если так, то как же ты осмеливаешься задавать такие вопросы? – произнёс патер. – Разрешение святого отца, конечно, действительно в настоящей и в будущей жизни.
 - Простите, я спросил это по легкомыслию. Значит, через неделю?
 - Через неделю. Час в час.
 - До свиданья, батюшка! – поднялся с места граф и, получив благословение монаха, вышел.
 - Живы, ваше сиятельство? – встретил его Яков. – Уж очень вы долго! Я перепугался было, хотел толкнуться... Ведь, не ровен час... Нечистый какой каверзы не сделает!
 - А ты думал справиться с нечистым, если бы толкнулся? – улыбнулся граф и приказал ехать домой.
- “Она будет моей! Она должна быть моей! – неслось в голове графа, откинувшегося в угол кареты в глубокой задумчивости. – Во что бы то ни стало... какую бы то ни было ценою”.

ХІ. КЛЮЧ ДОБЫТ

Назначенная патером Вацлавом неделя показалась Свенторжецкому вечностью. Чего не передумал, чего не переиспытал он в эти томительные семь дней! Несколько раз он приходил к решению не ехать к "чародею", не брать дьявольского средства, дающего наслаждение, за которое жертва должна будет поплатиться жизнью. Ведь ужасно знать, что женщина, дрожащая от страсти в объятиях, через несколько часов будет холодным трупом. Не отравит ли это дивных минут обладания? Порой он решал этот вопрос утвердительно, а порой ему казалось, что эта страсть за несколько часов пред смертью должна заключать в себе нечто волшебное, что это именно будет апофеозом страсти. Организм, в который будет введён яд возбуждения, и притом яд смертельный, несомненно, вызовет напряжение всех последних жизненных сил исключительно для наслаждения. Инстинктивно чувствуя смерть, женщина постарается взять в последние минуты от жизни всё. И участником этого последнего жизненного пира красавицы будет он!

"Она будет твоей и никогда больше ничьей не будет!" – нащёптывал ему какой-то внутренний голос, похожий на голос его матери, но тотчас же другой властный голос, поднимавший в его душе картины далёкого прошлого, голос, похожий на голос его отца, говорил другое:

"Какое право имеешь ты отнимать жизнь за мгновение своего наслаждения, для удовлетворения своего грязного, плотского каприза? Неужели ты думаешь, что страсть, вызванная искусственно, может доставить истинное наслаждение? Ты увидишь, что после пронёсшихся мгновений страсти твоё преступление оставит неизгладимый след в твоей душе, и ты годами нравственных страданий не искупишь их. Горечь, оставшаяся на твоём сердце после пресыщения искусственною сладостью, отравит тебе всю жизнь".

Свенторжецкий уже стал прислушиваться к этому второму голосу, и тогда у него появилось было решение отказаться от услуг патера Вацлава и постараться сбросить с себя гнёт страсти к княжне Людмиле, вычеркнуть из сердца её пленительный образ. Увы, сделать это он был не в состоянии. Его страсть, по мере открывавшейся возможности

удовлетворить её, росла не по дням, а по часам и ещё более разжигалась фразой патера Вацлава. “А не назначает ли она такого свидания и другим?” Эти слова змеей сомнения вползли в сердце графа Свенторжецкого и то и дело приходили ему на память.

“Если это действительно так, то пусть она умрёт!” – говорил он сам себе.

Граф искал предлога для оправдания своего преступления, и эта измена княжны Людмилы представлялась ему достаточным предлогом. Он забывал, что княжна не связана с ним ничем, даже словом. В своём ослеплении страстью он полагал, что раз она назначает ему свидание, то никто другой не имеет права на них. Ведь эти свидания он считал доказательством близости, делить которую с другим не был намерен. И тотчас же он говорил себе, что княжна назначает другим свидания просто для того, чтобы помучить его, отмстить ему и наказать его, но в конце концов переменит гнев на милость и сделается его женой. Однако если другой воспользуется такими же, как он, или, быть может, даже большими правами, то он вправе считать это изменой и жестоко отмстить за неё, отмстить смертью.

Граф решил убедиться в этом, а так как он всё равно не спал ночей под влиянием тревожных дум, то стал проводить их у дома княжны Полторацкой, сторожа заветную калитку. Несколько ночей прошло для него в бесплодном ожидании – никто не появлялся на берегу Фонтанки. Граф хотел уже перестать ходить на обычный караул, но – увы! – последняя ночь убедила его в том, что княжна принимает ещё кого-то, кроме него.

На берегу показалась фигура мужчины; она быстро приблизилась к дому княжны и остановилась у калитки. Граф стоял шагах в десяти от неё и при свете луны, на одно мгновение выплывшей из-за облаков, узнал князя Сергея Лугового. Затем он услышал, как щёлкнул замок от повернутого ключа, после чего фигура скрылась за калиткой и заперла её изнутри.

Сомнений не было – княжна Людмила не одному ему, Свенторжецкому, назначала ночные свиданья. Луговой, быть может, был даже счастливее

его в часы этих свиданий!

Неукротимая злоба забушевала в сердце графа; горячая кровь бросилась ему в голову, била в виски. Он быстро удалился от дома княжны; приговор изменнице был подписан:

“Пусть она умрёт, но умрёт моею. Я буду обладать ею”.

Со следующего дня граф стал посылать цветы княжне Полторацкой. Он не стоял за ценой, и вскоре будуар княжны Людмилы стал похожим на оранжерею.

Княжна действительно любила цветы и с удовольствием принимала их, тем более что присылать их у поклонников светских красавиц было в обычае того времени. Однако она даже не знала, от кого получает эти знаки питаемого к ней нежного чувства, так как расторопный Яков ежедневно поручал относить к ней букеты и горшки с цветами разным своим приятелям, строго наказывая, чтобы они не смели говорить от кого. Впрочем, княжна подозревала в этом главных своих поклонников – князя Лугового, графа Свиридова и Свенторжецкого, и ей льстило это внимание.

Свенторжецкому в течение этого времени выпало не более одного раза быть на таинственном свидании в будуаре княжны Людмилы.

– Вы, точно богиня Флора, вся в цветах, – с улыбкою заметил он, входя к ней в будуар и бросая взгляд на цветы.

– С некоторых пор меня стали страшно баловать цветами, – сказала княжна. – И вообразите, граф, я не знаю, кто именно, хотя догадываюсь.

– Я думаю, это вам довольно трудно: ведь у вас бесчисленное количество поклонников.

– Ошибаетесь! Таких, которые меня балуют, немного.

– Но всё-таки несколько!

– Пожалуй, но мне кажется, что это делает один. Однако, кто именно, я не скажу вам. Это – мой секрет.

– Не смею проникать в него.

– Цветы – моя страсть, их запах оживляет меня. Не правда ли, как здесь мило!.. Точно оранжерея. Бывало, я ещё совсем маленькой девочкой

любила целые часы проводить в оранжерее.

– Говорят, это вредно, болит голова.

– У меня нет, я привыкла. Напротив, запах цветов освежает меня.

“Надо принять это к сведению, следует увеличить дозу”, – подумал граф, но вслух сказал:

– Это другое дело, привычка – вторая натура.

– Вашей голове, быть может, вреден этот запах?

– Нет, напротив, лёгкое головокружение даже приятно. Да это и не от цветов.

– Вы опять за старое! Неисправимы, хоть брось! – смеясь, сказала девушка, поняв намёк графа.

– Скажите лучше, неизлечим, так как моё чувство к вам – моя смертельная болезнь.

– Ай, ай, какие страсти! Если бы я поверила вам, то, наверно, испугалась бы, – засмеялась княжна.

– Вы не можете мне не верить.

– Вы думаете, что вам должны верить все?

– Кто все?

– Кому вы говорите то же самое, что мне.

– Я никому этого не говорил и не говорю.

– Очень жаль! Отчего же и другим не доставить удовольствия?

– Придёт время, вы поймёте, что я говорил правду, но будет поздно! – произнёс граф и мрачно поглядел на княжну.

– Вы умрёте? – рассмеявшись, спросила она.

– Смерть – хороший исход! – сказал граф.

– Я не доктор и не могу вылечить вас от вашей болезни, поэтому бесполезно и говорить со мной о ней. Вы, как я слышала, к тому же лечитесь у патера Вацлава? Это правда?

– Да, лечусь.

– От любви?

– Нет, от головы.

– Это другое дело. И что же, помогает?

- Это интересует вас?
- Конечно! Ведь в качестве вашего друга я не могу не интересоваться.
- “Друга”! – иронически повторил он. – Я не хочу и никогда не хотел иметь вас другом.
- В таком случае, зачем же вы просите о свиданиях?
- Вы на них принимаете только друзей? – спросил граф, пристально смотря ей в лицо.
- Только, – не моргнув глазом, ответила она.
- И много их?
- Это вас не касается.
- Но это невыносимо. Поймите, что я люблю вас.
- Граф! Вы забыли наше условие – не говорить о любви.
- Я не в состоянии.
- Тогда это свидание будет последним.
- Хорошо, хорошо, я подчиняюсь, – испуганно согласился граф Свенторжецкий. – Простите!

Разговор перешёл на другие темы.

Через несколько времени граф отправился домой, злобно шепча:

- погоди! Ещё дня два или три, и на моей улице будет праздник. Ты сама заговоришь о любви!

Наконец настал срок, назначенный патером Вацлавом для приезда к нему за снадобьем, которое должно было бросить княжну Людмилу в объятия графа. Последний, конечно, почти минута в минуту был у “чародея”. Патер Вацлав, обменявшись приветствиями, удалился в другую комнату и вынес оттуда небольшой тёмного стекла пузырёк.

- Несколько капель на два-три цветка будет достаточно, – сказал он. – Княжна может отделаться только сильным расстройством всего организма, но затем поправится. У меня есть средство, восстанавливающее силы. Если захочешь, сын мой, сохранить ей жизнь, то не увеличивай дозы, а затем приходи ко мне. Она будет жива.

Граф не обратил почти никакого внимания на эти слова “чародея”. Все его мысли были направлены на этот таинственный пузырёк, в котором

заклучалось его счастье. Поэтому он спрятал пузырьёк в карман, а из последнего вынул мешочек с золотом и свёрток золотых монет, причём сказал:

– Вот за лекарство, а это – сто червонных – за разрешение от греха.

– Разрешение готово. Вот оно! – И патер, подав графу бумагу, стал считать деньги.

Граф опустил бумагу в карман не читая.

– Разве так можно обращаться с разрешением святого отца-папы? – строго посмотрел на него патер.

– А как же?

– Ты – не верный сын католической церкви, если говоришь такие слова. Ты должен был осенить себя крестом и спрятать бумагу на груди. Вынь её из своего грешного кармана, где ты держишь деньги, этот символ людской корысти!

Граф повиновался и вынул бумагу.

– Перекрестись и поцелуй святую подпись! – сказал патер.

Иосиф Янович исполнил приказание и спрятал бумагу на груди, после чего стал прощаться.

– Да благословит тебя Бог, сын мой! – напутствовал его патер. – Помни, не злоупотребляй средством, если не хочешь стать убийцей.

– Но ведь так или иначе, а я буду прощён? – возразил граф.

– Всё это так, но ведь тебе жаль женщину, к которой влечёт тебя страсть? Да? Тогда сохрани её для будущего.

– Будущее... разве у нас с нею есть будущее?

– Раз ты овладеешь ею впервые, от тебя будет зависеть сохранить её навсегда.

“Впервые”! Хорошо, если впервые”, – мелькнуло в уме графа, и пред ним вырисовалась фигура Лугового, отворяющего калитку сада княжны.

Граф возвращался домой в каком-то экстазе. Он то и дело опускал руку в карман, ощупывая заветный пузырьёк с жидкостью, заключавшею в себе и исполнение его безумного каприза, и отмщение за нанесённое ему “самозванкой-княжной” оскорбление.

Теперь, имея в руках средство отомстить, он особенно рельефно представлял себе прошлое. Он вспоминал, как ехал к княжне, думая, что его встретит покорная раба его желаний, и с краской стыда должен был сознаться, что его окончательно одурачила девчонка. Она искусно вырвала из его рук все орудия, выбила почву из-под ног, и вместо властелина он очутился в положении ухаживателя, над чувством которого княжна явно насмехалась, которого она мучила, а на интимных ночных свиданьях играла с ним, как кошка с мышью. Этого ли не достаточно было, чтобы жестоко отомстить ей?

Между тем пленительный образ молодой девушки восставал пред ним. Он восхищался правильной красотой её лица, тонкостью линий, её глазами, полными жизни и обещающими быть полными страсти, приходил в восторг от её стройной фигуры, где здоровье соединялось с девственностью, где жизнь и сила красноречиво говорили о сладости победы. Ему становилось жаль безумно желаемой им девушки.

Однако ему припомнились слова патера Вацлава о возможности быть властелином девушки, которой он будет обладать впервые.

“Впервые? – повторил Свенторжецкий, и снова рой сомнений окутал его ум, и снова фигура князя Лугового, освещённая луной у калитки сада княжны Полторацкой, восстала пред ним, и он решил: – Пусть умрёт!”

Но это было лишь на мгновение.

“Кто знает? – подумал он. – Быть может, она играет Луговым так же, как играет мной? – И у него мелькнуло другое решение: – Пусть живёт”.

Ведь он через несколько дней убедится в этом, так как пузырёк уже будет в его кармане. Если она была к князю Луговому менее строга, нежели к нему, то он незаметно выльет на букет всё содержимое в этом роковом пузырьке. Тогда смерть неизбежна, и он будет отмщён!

“Она говорит, что привыкла к запаху цветов, – неслась далее в его голове мысль, – необходимо всё-таки несколько увеличить дозу. Иначе на неё не произведёт никакого впечатления, и цель не будет достигнута”. Граф мысленно стал упрекать себя, что не сообщил об этом патеру Вацлаву и не спросил у него совета. Он было решил приказать кучеру

повернуть назад, но раздумал. Понятно, что для организма, привыкшего к сильным ароматам, необходимо увеличить дозу.

Вернувшись домой, граф спрятал пузырьёк в бюро, стоявшее у него в кабинете, и спросил Якова:

– Цветы посланы?

– Посланы, ваше сиятельство.

– Мне будет необходимо на днях роскошный букет из белых роз. Но, прежде чем послать его княжне, препроводи его ко мне. Я хочу посмотреть его.

– Уж будьте спокойны. Отправим самые лучшие... царские, можно сказать, цветы, ваше сиятельство.

– Где ты достаёшь цветы?

– У садовника графа Кириллы Григорьевича Разумовского. У них лучшие в городе оранжереи, не уступят царским. Только садовник и выжига же! Дерёт за цветы совсем не по-божески. Кажись, ведь это – трава, а он лупит за них такие деньги.

– Не в деньгах дело.

– Это конечно, ваше сиятельство: в капризе-с.

– Как ты сказал? “В капризе”? Что же это значит?

– А то, что для бар каприз бывает дороже всяких денег.

– Пожалуй, ты прав. Так помни относительно букета!

На другой же день граф поехал с визитом к княжне Людмиле. Он застал её одну в каком-то тревожном настроении духа. Она была действительно обеспокоена одним обстоятельством. Граф Свиридов, которому был отдан ключ от садовой калитки, не явился вчера на свиданье. Княжна была в театре, видела графа в партере, слышала мельком о каком-то столкновении между ним и князем Луговым, но в сущности что случилось, не знала. Свиридов между тем не явился к ней и сегодня, чтобы, по обыкновению, возвратить ключ. Всё это не на шутку тревожило её.

Неужели они объяснились, и её одинаковые письма к князю и Свиридову, написанные ею под влиянием раздражения на Лугового за слова, сказанные им в Зиновьеве, дошли до сведения их обоих? Это поставило

бы её в чрезвычайно глупое положение.

“Нет, просто Свиридов заболел! – успокаивала она самое себя. – Приедет, отдаст ключ. Не посмеет же он явиться в неназначенный день! И, кроме того, он найдёт дверь в коридор запертой”.

Это соображение совершенно успокоило её.

– Что с вами, княжна? Вы как будто чем-то встревожены? – спросил Свенторжецкий, видя молодую девушку в каком-то странном состоянии духа. – Вы сегодня какая-то странная.

– Мне немного нездоровится.

– Не виноваты ли в этом цветы, которыми, как кажется, вас продолжают обильно награждать?

– Действительно, кто-то положительно засыпает меня ими, но не эти прелестные цветы – виновники моего нездоровья. Они, напротив, оживляют меня! – И княжна, вынув из стоявшего вблизи букета несколько цветков, стала жадно вдыхать в себя их аромат.

– Я должен на днях уехать на довольно продолжительное время в Варшаву. Мне необходимо окончить там некоторые дела...

– Вы говорите, надолго?

– Может быть, на несколько месяцев.

– Но что же станет с влюблёнными в вас дамами?

– Вы, княжна, всё шутите, а у меня к вам просьба. Позвольте мне прийти к вам завтра.

– Милости просим. Мои двери, кажется, открыты для вас всегда.

– Не двери, а калитка, – подчеркнул граф.

– Калитка? – повторила княжна и задумалась. Это напомнило ей, что ключ от калитки находится в руках Свиридова, и она не знала, что ей ответить. Всё же она спросила:

– Вы когда едете?

– Послезавтра.

“Не осмелится же Свиридов явиться в неназначенный день!” – мелькнуло у неё в голове, а так как было несколько ключей от калитки, принесённых ей Никитой, то она решилась.

– Хорошо, я завтра буду ждать, – сказала она и, встав с дивана, вынула из шифоньерки ключ. – Вот вам ключ.

– Я не знаю, как благодарить вас, княжна! – поцеловав у неё руку, сказал граф.

– Я не могу отказать уезжающему.

Раздавшийся звонок известил о новом посетителе, и граф стал прощаться. В передней он встретил нескольких молодых людей.

– Убегает... забежал раньше всех и был принят с глазу на глаз. Счастливцев! – слышались шуточные замечания.

Граф в свою очередь ответил какой-то шуткой и уехал. Дело было сделано. Ключ от калитки лежал в его кармане.

– Завтра должен быть букет из белых роз, громадный, роскошный, – сказал Свенторжецкий Якову.

– Будет готов. Я уже распорядился, ваше сиятельство!

– Принеси его ранее сюда, а потом отправишь к княжне, но не сам.

– Слушаю-с. Зачем сам? Я очень понимаю.

XII. ДВА ИЗВЕСТИЯ

Князь Луговой жил тоже лихорадочной жизнью. Повторенное ему обещание княжны Людмилы быть его женою лишь на первое время внесло успокоение в его измученную душу; отсрочка, потребованная девушкой, тоже только первые дни казалась ему естественной и законной в её положении. Рой сомнений вскоре окутал его ум, и муки ревности стали с ещё большею силой терзать его сердце.

Княжна давала ему повод к этому своим странным поведением. Накануне, на свиданье с ним наедине в её будуаре, она была пылка, ласкова и выражением своих чувств доводила его до положительного восторга, а на другой день у себя в гостиной или в домах их общих знакомых почти не обращала на него внимания, явно кокетничая с другими, и в особенности с графом Свиридовым.

Сергей Сергеевич положительно возненавидел своего бывшего друга, да и тот, видимо, платил ему тою же монетою. Вследствие этого они ограничивались при встрече лишь вежливыми, холодными поклонами.

Князь, конечно, не знал, что дорога в заветный будуар его невесты открыта не ему одному для ночных свиданий. Он имел право считать княжну Людмилу своей невестой, хотя их помолвка была известна, кроме них двоих, только ещё дяде княжны, Зиновьеву. Но и при таких условиях явное нарушение княжной своих обязанностей невесты, выражавшееся в амурной интриге с другими молодыми людьми, переполнило бы чашу терпения и без того многотерпеливого жениха.

К этому присоединялось ещё следующее. В обществе о молодой княжне – “ночной красавице” – не переставали ходить странные, преувеличенные слухи, и их старались довести до сведения Лугового. Дело в том, что князь был одним из выдающихся женихов, предмет вожделений многих петербургских барышень вообще, а их маменек в особенности. Очень понятно, что предпочтение, отдаваемое им княжне Полторацкой, не могло вызвать в них особенную симпатию к Людмиле Васильевне. В то время как дочери злобствовали молча, маменьки не стесняясь давали волю своим языкам и с чисто женскою неукротимою фантазией рассказывали о княжне Людмиле невозможные вещи. По их рассказам, она была окончательно погибшей девушкой, принятой в порядочные дома лишь по недоразумению. Эти рассказы передавались из уст в уста, с одной стороны, из жажды пересудов ближних, а с другой – с целью дискредитировать молодую девушку в глазах такого блестящего жениха, как князь Луговой. Поэтому в его присутствии намёки о поведении княжны были особенно ясны, но – увы! – достигали не той цели, которая имелась в виду. Князь слушал их, понимал и даже, отуманенный ревнивым чувством, верил им, однако его любовь к княжне от этого не уменьшалась. Он страшно страдал, но любил её по-прежнему. Один нежный взгляд, одно ласковое слово разрушали ковы её врагов, и Сергей Сергеевич считал княжну снова чистым, безупречным существом, оклеветанным злыми языками. Однако обычно следовавшая затем

перемена отношений к нему со стороны княжны повергала его снова в хаос сомнений, и в этом состояла в последнее время его лихорадочная жизнь.

Одно обстоятельство в последнее время тоже очень встревожило князя. Оно почти совпало с окончанием траура княжны, но известие о нём дошло до Сергея Сергеевича уже после его объяснения с княжной и получения им вторичного обещания её отдать ему свою руку. Это обстоятельство вновь всполошило в сердце Лугового тяжёлое предчувствие кары за нарушение им завета предков – открытие рокового павильона в Луговом.

В конце августа Сергей Сергеевич получил от управляющего своим тамбовским именем подробное донесение о пожаре, истребившем господский дом в Луговом. Пожар будто бы произошёл от удара молнии, и от дома остались лишь обуглившиеся стены. Кроме того, были попорчены цветник и часть парка. Донесение оканчивалось слёзною просьбою старика Терентьича дозволить ему прибыть в Петербург с докладом, так как он должен сообщить его сиятельству одно великой важности дело, которое он не может доверить письму, могущему, не ровен час, попасть и в чужие руки.

“Что это может быть?” – недоумевал князь Сергей Сергеевич, так как он знал Терентьича за обстоятельного и умного старика, который не решился бы беспокоить своего барина из-за пустяков.

Кроме того, и сообщение о пожаре дома тоже страдало какой-то недосказанностью. И в этом случае видно было, что старик не доверял письму.

“Надо вызвать его и узнать!” – решил князь и в тот же день написал в этом смысле Терентьичу.

Прошло около месяца, и однажды утром Сергею Сергеевичу доложили о прибытии Терентьича. Князь приказал позвать его. Старик вошёл в кабинет, истово перекрестился на икону и отвесил поясной поклон князю.

– Чего это тебе, старина, в Питер приспичило ехать? Или на старости лет

захотел столицу посмотреть? – встретил его Сергей Сергеевич.

– Не волей приехал, неволя погнала! – серьёзно ответил Терентьич.

– Как так?

– Отписал я вашему сиятельству о несчастьи. Погорели мы.

– От чего же это случилось? – спросил князь, поняв, что старый слуга, говоря “погорели мы”, подразумевал его, своего барина.

– Божеское попущение. И натерпелись мы страха в то время.

– Что же, разве народ был на работе? Некому было тушить пожар? – спросил князь.

– Какое, ваше сиятельство, некому? Почитай, всё село около дома было. Отец Николай с крестом... Да ничего поделать не удалось... Не подпустил к дому-то – он... враг человеческий.

– Как же это было?

– В самую годовщину, ваше сиятельство, как по вашему приказу павильон-то был открыт, был так час шестой вечера. Небо было чисто... Вдруг над самым домом повисла чёрная туча, грянул гром, и молния, как стрела, в трубу ударила. Из дома повалил дым. Закричали: “Пожар!” Дворовые из людских выбежали, а в доме-то пламя уж во как бушует! А туча-то всё растёт, чернее делается. Окна потрескались, наружу пламя выбило. Тьма кругом стала, как ночью. Сбежался народ, а к дому подойти боится. Пламя бушует, на деревья парка перекинулось, на людские, а в доме-то среди огня кто-то заливается, хохочет.

– Хохочет? – вздрогнул князь Сергей Сергеевич.

– Хохочет, ваше сиятельство, да так страшно, что у людей инда поджилки трясутся! Отца Николая позвали. Надел он епитрахиль и с крестом пришёл, да близко-то ему, батюшке, подойти нельзя, потому пламя. Он уже издали крестом осенять стал. Видимо, подействовало. Уходить “он” дальше стал, а всё же издали хохочет, покатывается.

– И долго горело?

– Всю ночь, до рассвета народ стоял, подступиться нельзя было, а огонь так-таки и гуляет и по дому, и по деревьям.

– А павильон? – дрогнувшим голосом спросил князь.

- Около него деревья все как есть обуглились, а он почернел весь, как уголь, насквозь прокоптился. Я его запереть приказал, не чистивши.
- Ну, что же делать, старина. Божья воля! Дом пока строить не надо. Там видно будет; может, я туда никогда и не поеду. А для дворовых надо выстроить людские. Где же их теперь разместили?
- По избам разошлись, устроились.
- Ты за этим и приехал или ещё что есть? – спросил князь.
- Есть ещё одно дело! Никита у нас тут объявился, беглый Никита, убивец.
- Княгини Полторацкой и Тани? Да? Что же, его схватили?
- Никак нет-с. Кончился он... умер.
- Где?
- У отца Николая, ваше сиятельство. Пришёл, значит, к отцу Николаю неведомо какой странник, больной, исхудалый... Вы ведь, ваше сиятельство, знаете отца Николая; святой он человек, приютил, обогрел. Страннику всё больше неможется. Через несколько дней стал он кончаться, да и на духу отцу Николаю и открыл, что он и есть самый Никита, убивец княгини и княжны Полторацких.
- Какой княжны? Что ты путаешь? – возразил князь.
- Так точно, ваше сиятельство, княжны Людмилы Васильевны. Он на духу сознался, что убил княжну.
- Какой вздор! Да ведь княжна жива!
- Никак нет-с. Это не княжна, что здесь, у вас в Питере, а Татьяна Берестова.
- Откуда ты это знаешь?
- От отца Николая. Советовался он со мной, как в этом случае поступить. Ну, и решили мы доложить по начальству. Там разберут.
- И отец Николай доложил?
- Со мной до города доехал, к архиерею, ему всё как есть объявить хотел.
- Нет, всё это вздор, соврал Никита!
- Пред смертью-то, ваше сиятельство, на духу никак этого быть не

может. Кроме того, и другие, как узнали об этом в Зиновьеве, смекать стали. Больно уж княжна-то после смерти своей маменьки изменилась. Нрава совсем другого стала. Та, да не та. А вот теперь, как Никита покался, всё и объяснилось. Не княжна она, а Татьяна Берестова. Написать-то я вашему сиятельству обо всём этом не осмелился – не ровен час, кто прочтёт письмо-то, а она, княжна-то эта, ваша невеста. Так не было бы вам от того какого худа.

Князь, видимо, не слышал последних слов старика. Он сидел в глубокой задумчивости.

– Неужели? Не может быть! Это что-нибудь да не так! – произнёс он вслух, как бы говоря сам с собою, и снова задумался.

– Когда же прикажете ехать обратно? – после некоторого молчания спросил Терентьич.

– Обратно... да... обратно... туда... – рассеянно сказал князь. – Да когда хочешь... Ты мне не нужен... Отдохни, посмотри город и поезжай. Главное, устрой дворовых. Насчёт дома можно подождать, я отпишу.

– Слушаю-с, ваше сиятельство.

Терентьич снова отвесил поясной поклон и вышел.

Сергей Сергеевич остался один. Он долго не мог прийти в себя от полученного известия. Даже пожар дома, случившийся как раз в годовщину самовольного открытия им павильона-тюрьмы, стушевался перед этой исповедью Никиты. Девушка, которую он боготворил, которую мог бы, если бы она согласилась, уже месяц тому назад пред алтарём назвать своей женой, была самозванкой, быть может, даже сообщницей убийцы. Но, несмотря ни на что, Сергей Сергеевич, к ужасу своему, чувствовал, что он продолжал любить её.

“Нет!.. Не может быть!” – снова разубеждал себя он, а между тем, вспоминая свои отношения к княжне Людмиле с первого свидания после трагической смерти её матери и до сегодня, всё более и более убеждался, что предсмертная исповедь “беглого Никиты” – не ложь.

Теперь все эти отношения между ним и княжной начали приобретать совершенно иную окраску. Девушка, любившая его так, как любила

княжна, своею первою чистою любовью, так искренне, с наивным восторгом согласившаяся сделаться его женой, не могла бы так измениться под впечатлением обрушившегося на неё, хотя бы и огромного несчастья. Напротив, она должна была бы почувствовать себя ближе к любимому человеку; ведь, став одинокой сиротой, она должна была бы в нём и в своём дяде искать опоры, защиты и помощи. Между тем Людмила Васильевна сразу переменяла и тон, и обращение с ним, повергнув его в изумление и уныние.

Теперь всё это объясняется. Княжна Полторацкая – не настоящая княжна, а Татьяна Берестова, ловкая самозванка, воспользовавшаяся своим необычайным сходством с покойной княжной Людмилой.

Чем больше думал князь, тем яснее становилось для него роковая истина этой догадки, и наконец она обратилась в полную уверенность.

“Что же делать, что предпринять?” – задумался князь.

Образ княжны Людмилы, такой, какова она есть, восставал пред ним. Он чувствовал, что теряет голову. Его самолюбие было удовлетворено полученным известием. Им пренебрегала и мучила его не та княжна, которой он сделал предложение, на брак с которой получил согласие её матери, но наглая самозванка, дворовая девка, сообщница убийцы. Княжна, любившая его и горячо любимая им девушка, лежит в сырой земле, а чего же было ожидать от девушки, в жилах которой всё же текла холопская кровь? Князь вспомнил, что именно о присутствии в Татьяне, горничной княжны Людмилы, этой “холопской крови” он сказал покойной княжне. Почему же в своём ослеплении он сразу не узнал этого наглого обмана?

Сердце Сергея Сергеевича сжалось мучительной тоской. Ему суждено было при роковых условиях переживать смерть своей невесты; лучше было бы, если бы он тогда, в Зиновьеве, узнал об этом. Теперь, быть может, горечь утраты уже притупилась бы в его сердце. Ведь раз судьба решила отнять у него любимую, её не существовало, то надо было примириться с таким решением судьбы. Теперь же было нечто иное, более ужасное. Его невеста умерла, а между тем она жила, он сегодня

увидит её в театре; но это не она – той нет, это – не княжна, это – Татьяна Берестова. В течение целого года он любил эту обворожительную девушку. Положим, он принимал её за другую, но... Князю, к ужасу его, начинало казаться, что он любит теперь именно эту. Что же делать? Что же делать? Сохранить её для себя, заставить всех признавать её княжной Людмилой, его невестой, рассказать ей всё, обвенчаться, прежде чем придёт эта роковая бумага из Тамбова? Просить милости императрицы! Ведь тогда дело затушат, чтобы не класть пятна на славный род и честное имя князей Луговых.

Эта мысль показалась князю Сергею Сергеевичу и соблазнительной, и чудовищной. Жить с сообщницей убийцы, жить с убийцей! Нет, это невозможно!

“Но ведь ты любишь её, эту живую княжну, – зашептал князю внутренний голос, и в глубине души Луговой понимал, что это так. – Быть может, она и не знала о замышляемом Никитой убийстве и, лишь спасённая чудом, приняла на себя роль покойной княжны?”

– Но что же из этого? Ведь это – тоже преступление! – возразил он сам себе.

“А положение её, тоже дочери князя Полторацкого, хотя и незаконной, в качестве дворовой девушки при своей сестре разве не могло извинить этот её проступок? Она ведь только пользовалась своим правом!”

– Нет, нет, это не то, не то, – возмутился князь сам против себя, – это иезуитское рассуждение. Она – преступница, несомненно! Но ведь она так хороша, так обворожительна. Отступить от неё у меня не хватит сил. Надо спасти её, поехать переговорить с нею, предупредить. Она поймёт всю силу моей любви, когда увидит, что, зная всё, я готов отдать ей своё имя и титул, и ими, как щитом, оградить её от законного возмездия на земле. Но поможет ли это предупреждение? Быть может, бумага уже пришла!

Князь похолодел при этой мысли, однако, подумав, вспомнил, что бумага из Тамбова не может миновать руки Сергея Семёновича Зиновьева, помощника начальника судного приказа.

“Надо переговорить с ним сегодня же, – решил он. – Княжны я всё равно не застаю. С нею я объяснюсь после. Надо предупредить Сергея Семёновича, чтобы он задержал бумагу. Ему тоже неприятна будет огласка этого дела. Ведь он сам представил эту девушку государыне как свою племянницу”.

Сергей Сергеевич позвонил, приказал помочь ему одеваться и вскоре уже вошёл в служебный кабинет Зиновьева.

Последний оказался, по счастью, не очень занятым и тотчас принял Лугового.

Пережитое утро не могло не оставить следа на лице князя.

– Что с вами, князь? Вы больны или что-нибудь случилось? – с тревогой спросил Зиновьев, указывая гостю на стоявшее с другой стороны стола кресло.

Сергей Сергеевич в изнеможении опустил на него. Наставший момент объяснения с дядей княжны Людмилы совпал с ослаблением всех его физических и нравственных сил – последствием утренних дум и тревожений.

– Говорите, что случилось, князь? Княжна Людмила? – встревоженно спросил Зиновьев.

– Она... не княжна... – с трудом выговорил князь. – Я получил сегодня ужасное известие. Ко мне приехал мой староста из Лугового, которое находится, как вам известно, в близком соседстве от Зиновьева, и сообщил мне, что более месяца тому назад в Луговом у священника отца Николая умер Никита Берестов, разыскиваемый убийца княгини Вассы Семёновны и Тани, пред смертью этот Никита на исповеди сознался отцу Николаю, что он убил княгиню и княжну, а в живых осталась...

– Татьяна?

Князь молча наклонил голову.

– Что же отец Николай?

– Он сообщил обо всём архиерею, а тот, вероятно, даже непременно, сообщит сюда. Я приехал побеседовать с вами и узнать, не получили ли вы такой бумаги.

- Нет, ещё не получал, – глухо сказал Зиновьев.
- Что же нам делать?
- Наказать обманщицу, – твёрдо произнёс Сергей Семёнович.

Луговой сидел ошеломлённый таким решением.

– Я должен сказать вам, – продолжал между тем Зиновьев, – что уже год тому назад слышал об этом, но не придавал особенного значения, хотя потом, видя поведение племянницы, не раз задумывался над вопросом, не справедлив ли этот слух... Между нею и княжной Людмилой, как, по крайней мере, я помню её маленькой девочкой, нет ни малейшего нравственного сходства.

– Хотя физическое поразительно.

– Это-то и смущало меня. Но теперь, когда будет получена предсмертная исповедь убийцы, надо будет дать делу законный ход.

– Неужели нельзя как-нибудь потушить это дело? – пониженным шёпотом спросил Сергей Сергеевич.

– Но зачем это вам, князь?

– Я люблю её, и... если бы можно было избежать огласки, я... женился бы на ней.

Зиновьев несколько времени молча глядел на молодого человека, который сидел бледный, с опущенной долу головой. Наступило томительное молчание.

Князь истолковал это молчание со стороны Зиновьева по-своему.

– Я возьму её без приданого... Я богат; мне не нужно ни одной копейки из состояния княжны. Я готов возвратить то, что она прожила в этот год.

Зиновьев вспыхнул, а затем побледнел и воскликнул:

– Наследник после княжны – один я; но у меня нет детей, и я доволен тем, что имею...

– Простите, я не то хотел сказать... я так взволнован...

– Говоря откровенно, – продолжал между тем Сергей Семёнович, – мне самому было бы приятнее, если бы это дело не обнаруживалось... Княжны Людмилы не воскресишь, и если вы действительно решили обвенчаться с этой самозванкой, то пусть она скорее делается княгиней Луговой.

– А бумага?

– Я задержу её, но потом вам надо будет обратиться к государыне. Вы скажете ей, что были введены в заблуждение, что не виноваты и что обнаружение дела падёт позором на ваше имя. Государыня едва ли захочет сама начинать дело. Конечно, надо представить эту самозванку как спасшуюся случайно от смерти и воспользовавшуюся своим сходством с сестрой по отцу.

– Ведь она – незаконная дочь князя Полторацкого?

– Вы знаете это?

– Да, знаю, – ответил князь. – Это, вероятно, так и есть. Не сообщница же она убийцы.

– Кто знает, князь? Надо всё-таки подождать бумаги.

– Вы допускаете, что она знала об убийстве?

– Я не хочу предполагать это, иначе... иначе не мог бы допустить, чтобы убийца моей племянницы оставалась бы безнаказанной и чтобы вы женились на таком изверге...

– Нет, не может быть! – воскликнул Луговой. – Нет, она – не изверг, она не может быть им!

– Подождём разъяснения из Тамбова.

– Я хотел переговорить с нею об этом сам.

– Подождите, ещё успеете. Дать или не дать ход этому делу – в наших руках.

– Хорошо, я последую вашему совету, – согласился князь и, простившись с Зиновьевым, вышел из кабинета.

Остаток этого дня он провёл в каком-то тумане. Мысли одна другой несуразнее лезли ему в голову. То ему казалось, что княжна Людмила жива, что убили действительно Татьяну Берестову, что всё то, что он пережил сегодня, – только тяжёлый, мучительный сон. То живущая здесь княжна Полторацкая представлялась ему действительно убийцей своей сестры и её матери, с окровавленными руками, с искажённым от злобы лицом. Она протягивала их к нему для объятий, и – странное дело! – он, несмотря ни на что, стремился в эти объятия.

В таких тяжёлых грёзах наяву провёл Луговой несколько часов в своём кабинете, пока наконец не наступил час отъезда в театр.

В театре, если припомнит читатель из начала романа, у него произошло столкновение с графом Свиридовым и объяснение с бывшим другом в кабинете Ивана Ивановича Шувалова, в присутствии последнего.

Возмутительное поведение княжны Полторацкой по отношению к нему окончательно отрезвило князя. Любовь, как показалось ему, бесследно исчезла из его сердца.

“Пусть совершится земное правосудие!” – мысленно решил он.

XIII. РОКОВАЯ БУМАГА

Между тем княжна Людмила была очень обеспокоена, напрасно прождав графа Свиридова в ночь, назначенную ему для свидания. Её несколько развлёк визит Свенторжецкого, которому она даже отдала второй ключ от калитки, вполне уверенная, что Свиридов не решится явиться в назначенное время, не переговорив с нею. Кроме того, она надеялась, что он явится сегодня же и вернёт ей ключ, и успокаивала себя мыслью о том, что сумеет урвать время, чтобы потребовать от него объяснения причин его неявки и, смотря по уважительности этих причин, накажет его более или менее долгим изгнанием.

Посетители приходили за посетителями. При каждом докладе лакея о новых визитах княжна надеялась услышать фамилию Свиридова, но её не произносилось.

Не явился в её приёмные часы и князь Луговой, редко, особенно в последнее время, пропускавший случай быть у неё, и это совпадение стало не на шутку тревожить княжну. Она слышала ещё вчера в театре о каком-то столкновении между бывшими друзьями, но, видимо, в свете не придавали этому значения, по крайней мере, ни один из сегодняшних посетителей и даже посетительниц княжны не обмолвился о вчерашнем эпизоде в театре.

Наконец все разъехались, и княжна осталась одна. Она полулегла на кушетку с книжкой в руках, но ей не читалось. Проведённая почти без сна ночь и нервное состояние дня дали себя знать, и княжна задремала.

Однако её сон был тревожен и томителен. Пред нею восстали все страшные моменты рокового дня убийства Никитой княжны и княгини Полторацких. Ей ясно представились проходная комната пред спальней княжны и страшная сцена убийства и насилия; стон княжны звучал в её ушах и вызывал капли холодного пота на её лбу. Княжна вздрагивала во сне, и на её лице было написано невыносимое страдание.

Далее вырисовывалась другая картина. Труп княжны Людмилы в простом дощатом гробу с грошовым позументом, стоявшем в девичьей. Скорбное пение во время панихиды и этот жених мёртвой девушки, стоявший рядом с нею, с живой, которую он считает своей невестой и на которую смотрит грустным, умоляющим, но вместе с тем и недоумевающим взглядом. Затем ей вспомнился день похорон княгини и княжны Полторацких. Она сама идёт за гробом княгини, а там, в хвосте процессии, несут останки княжны Людмилы. Вот её скромный гроб опускают в могилу, а затем на последней водружают деревянный крест.

Безумная! Ей показалось тогда, что всё похоронено под этой земляной насыпью, под этим крестом с надписью: "Здесь лежит тело Татьяны Берестовой". Увы! Теперь бодрствующий ум в спящем теле ясно видел, что кровь убитой вопиёт к небу и что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.

Припомнились княжне и подозрительные взгляды старых слуг в Зиновьеве. Она уехала в Петербург от этих взглядов, но здесь явился Никита, а за ним – Осип Лысенко, преобразившихся в графа Свенторжецкого! Один – сообщник, другой – случайно узнавший о её преступлении. Она сумела одного устранить с дороги, а другого сделать бессильным. Но навсегда ли она добыла этим себе спокойствие? Этот вопрос тяжёлым кошмаром висел над спящей молодой девушкой.

– Возмездие близко! – слышался ей голос, властный, суровый, похожий на голос покойной княгини Полторацкой, и она проснулась.

Пред нею стояла её горничная.

– Ваше сиятельство, ваше сиятельство! – растерянно повторяла она.

– Что, что тебе! – Вскочила княжна и села на кушетку, не сознавая, где она и что с нею, причём ей даже показалось, что всё открыто и что её пришли брать как сообщницу убийцы княгини и княжны Полторацких.

– Помилуйте, ваше сиятельство, – вывела её из дремотного состояния горничная, – сколько времени я уже стою над вами, а вы, ваше сиятельство, почиваете, да так страшно!.. Ведь уже за полночь.

– Что ты? А я и не заметила, как заснула за книгой.

– Видно, сон вам нехороший приснился, ваше сиятельство. Бледная такая вы лежали, дышали тяжело, всё вздрагивали.

– Да, мне что-то снилось, – окончательно оправилась княжна.

– Что, ваше сиятельство? Скажите, я умею сны разгадывать.

– Да я теперь и не помню, что мне пригрезилось, заспала, верно.

– Экая напасть какая! – наивно заметила Агаша.

– Однако пора спать по-настоящему, иди раздевать меня! – сказала княжна Людмила Васильевна и направилась в спальню в сопровождении горничной.

Долго не могла она заснуть, однако под утро впала в крепкий, безгрешный сон. Проснулась она поздно, но сон укрепил и оживил её. Она стала прежней княжной Людмилой, весело и бодро смотрящей в будущее.

Между тем на это будущее надвигались действительно тёмные тучи. В это же утро Зиновьев, вскрывая почту, увидел секретный пакет, заключающий в себе подробное донесение тамбовского наместника о деле по убийству княгини Вассы Семёновны и княжны Людмилы Васильевны Полторацких.

Наместник подробно излагал в нём сообщение местного архиерея о предсмертной исповеди “беглого Никиты”, сознавшегося в убийстве княжны и княгини Полторацких и оговорившего в соучастии свою дочь Татьяну Берестову, имевшую разительное сходство с покойной. Умиравший убийца рассказал все подробности убийства, равно как о

своём сознании пред графом Свенторжецким и получении от своей сообщницы тысячи рублей за уход из Петербурга. Оставшиеся деньги, в количестве девятисот семидесяти рублей, умирающий Никита передал отцу Николаю для употребления на богоугодное дело, но последний при рапорте представил их архиерею. Исповедь умирающего дышала такой искренней правдивостью, что не только в "самозванстве", но даже в виновности Татьяны Берестовой, как соучастницы в убийстве, не оставалось ни малейшего сомнения.

В приведённом целиком рапорте отец Николай указывал и мотивы, приведшие Никиту к раскаянию. По словам покойного, он, отправившись из Петербурга, сильно пьянствовал по дороге и шёл, не обращая внимания, куда идёт. Каково же было его удивление, когда он очутился вблизи Зиновьева! Он не решился идти туда и зашёл в соседний лес. Здесь он вдруг заснул и имел сонное видение, окончательно переродившее его нравственно, но разбившее физически. К нему явились убитые им княгиня и княжна Полторацкие, и первая властно приказала ему идти к отцу Николаю в Луговое и покаяться во всём. "Тебе всё равно жить недолго, ты не проживёшь и недели!" – сказала ему княгиня. Никита проснулся весь в холодном поту, а когда захотел приподняться, почувствовал такую страшную слабость и ломоту во всём теле, что еле живой доплёлся до дома отца Николая. Предчувствие близкой, неизбежной смерти не оставляло его с момента пробуждения в лесу. Несмотря на уход за ним со стороны отца Николая и его стряпки, больной с каждым днём всё слабел и слабел и наконец попросил отца Николая о последнем напутствии. На этой же предсмертной исповеди умирающий и рассказал всё своему духовнику.

Сергей Семёнович перечитал роковую бумагу и снова вопрос: "Что делать?" – возник в его уме.

"Надо доложить государыне! – решил он после довольно долгого размышления. – Но прежде сообщу князю Сергею Сергеевичу!" – мысленно добавил он.

Зиновьев имел право личного доклада государыне по делам

неполитическим особенной важности.

Такие дела случались редко, а потому редко и приходилось ему докладывать её величеству.

– Надо заехать к Сергею Сергеевичу, а оттуда во дворец! – решил Зиновьев и уже встал, чтобы выйти, как вдруг остановился.

Он вспомнил, что сегодня утром его жена, Елизавета Ивановна, принесла ему несколько яблок из заготовленных на зиму, и он съел одно из них, поэтому быть сегодня с докладом у императрицы было бы безумием.

В числе особенных странностей Елизаветы Петровны было то, что она терпеть не могла яблок. Мало того, что она сама никогда не ела их, но до того не любила яблочного запаха, что узнавала по чутью, кто ел их недавно, и сердилась на того, от кого пахло ими. От яблок ей делалось дурно, а потому приближённые императрицы остерегались даже накануне того дня, когда им следовало явиться ко двору, дотрагиваться до яблок. Таким образом, и Зиновьеву пришлось отложить доклад до следующего дня.

– Утро вечера мудренее, – сказал он себе в утешение, оставаясь в своём служебном кабинете.

После обеда он заехал к князю Луговому; он заслал последнего в мрачном расположении духа, но прямо заявил ему:

– Бумага получена!

– Получена? – равнодушно повторил князь Луговой.

– Да, – удивлённо посмотрел на него Сергей Семёнович, – и содержание её таково, что необходимо доложить государыне...

– Никита оговорил Татьяну Берестову в сообщничестве?

– Он рассказал всё во всех подробностях, и, главное, нельзя усомниться в его искренности. Кстати, бумага со мною, прочтите сами.

Зиновьев вынул из кармана бумагу и подал князю. Тот стал внимательно читать её.

От устремлённого на него взгляда Сергея Семёновича не укрылось то обстоятельство, что ни один мускул не дрогнул на лице князя при этом чтении, и он ломал голову над этим.

– Я так и думал! – совершенно спокойно, к довершению удивления Сергея Семёновича, сказал князь, окончив чтение и передавая Зиновьеву обратно бумагу.

– Что вы сказали? Вы так и думали?

– Вы удивляетесь? Я вчера убедился в таких обстоятельствах, которые не оставили во мне ни малейшего сомнения в глубокой испорченности этой девушки, принявшей на себя личину вашей племянницы.

– Вот как! Какие же обстоятельства?

– Увольте меня, дорогой Сергей Семёнович, рассказывать вам всё это теперь. Мне и так тяжело!

– Помилуйте, князь, конечно не надо...

– Когда-нибудь, когда всё это дело кончится, я расскажу вам это...

– Значит, то, о чём мы вчера говорили... – начал Зиновьев.

– Забудьте об этом... Я ей не судья, но и не её защитник. Между мною и этой девушкой всё кончено... Если вы хотите спасти её, спасайте, я же не хочу ни губить её, ни спасать, её будущность для меня безразлична... Моя невеста умерла, я буду оплакивать её всю свою жизнь. Эта девушка – её убийца, но Бог ей судья... Мстить за себя не стала бы и покойная, я тоже не буду мстить её убийце. Остальное – ваше дело.

– Я доложу государыне завтра же и завтра же отдам приказ о её аресте. Я не могу оставить безнаказанной убийцу своей сестры и племянницы, – горячо заявил Сергей Семёнович Зиновьев.

– Пусть свершится правосудие, – как бы про себя сказал князь.

Сергей Семёнович стал прощаться с ним. Луговой проводил его до передней и затем, вернувшись к себе в кабинет, потребовал трубку. Долго ходил он взад и вперёд по комнате.

Ни одной мысли, казалось, не было у него в голове. Однако это именно только казалось, потому что это происходит от наплыва самых разнородных мыслей, которые мгновенно мелькают в голове, производя впечатление отсутствия мысли, как быстрая перемена всех цветов радуги производит белый цвет, представляющий собою как бы отсутствие всякого цвета.

В таком состоянии пробыл князь Луговой до поздней ночи, когда за ним заехал граф Пётр Игнатьевич Свиридов, чтобы идти с последним объяснением к княжне Полторацкой.

XIV. В ОБЪЯТИЯХ ТРУПА

Между тем княжна Людмила очень оживлённо провела свой день. Она сделала довольно много визитов с затаённой мыслью узнать что-нибудь о происшедшем столкновении между графом Свиридовым и князем Луговым. Её всё ещё беспокоило странное поведение первого. Почему он не явился на назначенное ему свидание и не возвратил ключа? Что могло это значить? Однако ни в одном светском доме она не получила ответа на этот вопрос. Видимо, не случилось ничего такого, чем могли быть заинтересованы “великосветские кумушки” того времени. Это обстоятельство отчасти успокаивало княжну Людмилу, а отчасти усиливало её беспокойство. С одной стороны, она заключала, что не случилось ничего серьёзного, а с другой – что, быть может, при ней, как причине разыгравшейся истории, умышленно умалчивают.

С такими лихорадочными мыслями возвратилась домой княжна Людмила Васильевна. Войдя в свой будуар, она на столике около кушетки увидела изумительно роскошный букет белых роз. Оказалось, что его принесли, пока её не было дома.

Княжна залюбовалась им и воскликнула:

– Боже мой, какая прелесть!.. Положительно интересно, кто награждает меня такими роскошными цветами?

Этот букет несколько отвлёк думы княжны от Лугового и Свиридова, или, лучше сказать, дал другое направление этим думам. Дело в том, что она окончательно решила, что именно кто-нибудь из них присылает ей уже более недели ежедневно эту массу цветов. Предположение о том, что это делает граф Свенторжецкий, исчезло. Он слишком хорошо сумел сыграть роль неповинного в деле цветочных подношений человека. Даже тогда,

когда Людмила, глядя на него в упор, весьма прозрачно высказала ему своё предположение, он нимало не смутился и, казалось, даже не догадывался, о чём она говорит.

Княжна не могла предполагать за ним такие актёрские способности. Она не знала, что эта присылка цветов – лишь пролог к хладнокровно и всесторонне задуманному преступлению, а потому для графа было очень важно, чтобы княжна не догадалась, от кого присылаются они. Он подготовился искусно разогнать подозрение княжны о том, что это делает он, и достиг цели. Княжна вычеркнула его из списка поклонников, могущих баловать её так таинственно; в списке остались только двое: граф Свиридов и князь Луговой.

“Если действительно присылает цветы кто-нибудь из них, а больше присылать некому, – думала княжна, – значит, отношения одного из них ко мне не изменились, а следовательно, мой страх обнаружения двойной игры, затеянной с этими двумя поклонниками, совершенно неоснователен”.

Она с удовольствием вдыхала в себя аромат присланного букета.

Внезапно ей показалось, что розы пахнут как-то особенно сильно, и ей это представилось странным. Как любительница и знаток цветов, она знала, что белые розы имеют тонкий, нежный запах.

“Вероятно, это какой-нибудь особый сорт!..” – мысленно решила она, а так как аромат был восхитителен, то невольно до самого вечера, отрываясь сперва от какого-то затейливого вышиванья, а затем от чтения, несколько раз наклонялась над букетом и подолгу вдыхала в себя его чудный запах.

Время шло. Чем ближе подходил час свиданья с графом Свенторжецким, тем княжна чувствовала всё большее и большее оживление, странно смешанное с нетерпеливым ожиданием. Никогда ещё она не ждала так Свенторжецкого, никогда не считала минуты, оставшиеся до полуночи; когда же полночь пробила, она стала прислушиваться с лихорадочным беспокойством к мельчайшим звукам среди окружавшей её тишины.

Она чувствовала, как горели её щёки, как кровь била в виски, и, подойдя

к громадному зеркалу, сама невольно залюбовалась на себя. Никогда она не была так хороша, как сегодня. С пылающими щеками, с мечущими положительно искры страсти глазами, она имела вид вакханки настоящей демонической красоты.

“Он сойдёт с ума, увидев меня сегодня!” – мелькнула в её голове злорадная мысль.

Но странное дело! Девушка почувствовала, что это злорадство смешано у неё в уме и сердце с чувством торжества победы над любимым человеком, победы, которую как будто она ждала долго и напрасно, и только теперь убедилась, что момент её близок.

Это поразило княжну Людмилу Васильевну.

Разве она любит Свенторжецкого? Нет, она не могла ответить на этот вопрос утвердительно. Он нравится ей, но, припомнив сцену с ним, когда он бросил ей в лицо обвинение в самозванстве и сообщничестве в убийстве её господ и хотел воспользоваться добытой им тайной для её порабощения, она должна была сознаться себе, что ничего, кроме ненависти, не чувствует к нему в своём сердце. Если она приблизила его к себе, если принимает его с глазу на глаз, то единственно для того, чтобы этим способом мстить ему, чтобы насладиться его мучениями.

И теперь, при первом взгляде на себя в зеркало, прежде всего у неё явилась злобная мысль о том, какие мучения будет испытывать он эти полтора часа, которые она обыкновенно жертвует ему на свиданья, при близости к такой красавице, как она, и при горьком сознании, что к таким свиданиям всецело применима русская пословица: “Близок локоть, да не укусишь”.

Но отчего же так томительно билось её сердце, отчего сегодня потребность свидания с Свенторжецким говорила во всём её существе как-то особенно властно? Почему она дрожала при мысли: “А вдруг он не придёт?” Почему, наконец, эта мысль появилась у неё?

Прежде этого никогда не бывало. Она была совершенно равнодушна к приходу Свенторжецкого, была так твёрдо уверена, что он придёт, а теперь... теперь она боялась, что он не придёт. Это возмущало; а между

тем она была бессильна побороть в себе это томившее её чувство опасения.

Какое-то странное желание иметь около себя другое подобное ей существо охватывало молодую девушку.

“Позвать Агашу! – мелькнуло в уме, и рука уже протянулась к сонетке, но княжна тотчас бессильно опустила её. – Нет, это не то! Тем более что он может прийти каждую минуту”.

Она взглянула на стоявшие на камине английские часы в перламутровом футляре с бронзовой отделкой; они показывали десять минут первого.

Но вот до чуткого уха княжны долетел чуть слышный скрип отворяемой калитки.

“Он пришёл!” – пронеслось в уме, и сердце так томительно сжалось, что она должна была вскочить с кушетки, а затем невольно наклонилась к стоявшему на столике букету и ещё несколько раз жадно вдохнула в себя его чудесный аромат.

Это, как показалось ей, успокоило её.

Княжна стояла возле столика с букетом и глядела на дверь, в которую должен был войти граф. В коридоре уже слышались его осторожные, мягкие шаги, и они отзывались как-то непонятно чувствительно в сердце молодой девушки.

Дверь отворилась. Граф Свенторжецкий появился на её пороге.

– Однако вы заставляете себя ждать, граф! – встретила его деланно спокойным упрёком княжна, но в её голосе слышались сдавленные ноты, указывавшие на с трудом сдерживаемое волнение.

– Извините, княжна, я действительно несколько запоздал... Меня задержала обширная переписка, вызванная моим отъездом.

– Вы будете наказаны тем, что я прогоню вас раньше, чем обыкновенно, – сказала Людмила Васильевна, деланно улыбаясь.

Граф смотрел на неё пытливым взглядом, и от него не укрылись её с трудом сдерживаемое волнение, её возбуждённое состояние, придававшее соблазнительный блеск её красоте. Чуть заметная улыбка скользнула по губам графа, и он подумал:

“Подействовало, молодец патер Вацлав!”

Между тем Людмила Васильевна села на кушетку и молча указала графу на место рядом с собою. Он сел и произнёс:

– Нет, княжна, вы не будете так жестоки сегодня, чтобы прогнать меня скоро. Я, напротив, хотел именно просить вас продлить это свидание пред долгой разлукой. Оно будет для меня единственным светлым воспоминанием о Петербурге, когда я буду вдали от вас.

– Уж и единственным! – уронила княжна.

Странное дело! Прежде она тотчас остановила бы Свенторжецкого при начале этого полупризнания, а теперь чувствовала, что эти слова, в тон которых граф сумел вложить столько страсти, чудной мелодией звучали в её ушах.

– Не правда ли, княжна, вы доставите мне эту радость? – продолжал граф, овладевая её рукою.

Она не отнимала у него руки, ей было приятно это прикосновение. Она чувствовала сладкую истому.

Граф придвинулся к княжне и наклонился к её лицу; его горячее дыхание обожгло её, но она не двинулась с места, как бы решившись всецело отдаться обаянию чудесных минут.

– Я люблю вас, верьте мне, люблю вас безумно, страстно, – раздавался в её ушах его страстный шёпот.

Что-то властное потянуло княжну к графу. Она инстинктивно прижалась к его груди и склонила свою голову к нему на плечо.

– Любишь, конечно, не мучь.

Граф сильной рукой взял её за талию, приподнял и посадил её к себе на колени. Княжна повиновалась как-то автоматически, а между тем её дивные глаза метали пламя бушующей в ней страсти. Она жадно слушала слова любви и отвечала на них с какой-то неестественной, безумной лаской; она была в совершенной власти графа.

Вдруг в этот момент Свенторжецкому почудились шаги по коридору, но шаги удалявшиеся. Видимо, сам увлечённый вызванной им, хотя и искусственно, страстью девушки, он не слышал, когда эти шаги

приблизилась к двери будуара.

Шаги смолкли, а она продолжала обвивать его шею горячими руками. Её пышущее огнём дыхание обдавало его и подымало всё большую и большую бурю страсти в его сердце. Они как бы замерли в объятиях друг друга. Их губы сливались в страстном, крепком, долгом поцелуе.

Вдруг княжна Людмила Васильевна затрепетала с головы до ног и как-то неестественно вытянулась. Её руки продолжали обвивать шею графа, но он уже не чувствовал их чудной теплоты. Голова её откинулась назад. На щеках, за минуту пред тем пылавших, появилась мёртвенная бледность.

Граф ещё продолжал сжимать её в своих объятиях и со страстью целовать её полумёртвые губы... но... вдруг почувствовал, что девушка холодеет и становится как-то неестественно тяжела. Он вздрогнул, поглядел ей в глаза и, в свою очередь, стал бледен как полотно: он понял, что в его объятиях труп. Княжна умерла.

В первые минуты Свенторжецкий окаменел от охватившего его ужаса и только через несколько времени сумел возвратить себе самообладание. Он с трудом разжал обвивавшие его шею уже похолодевшие руки княжны, бережно уложил её на кушетку, положил ей на грудь букет из белых роз и, оборвав цветы, стоявшие в букетах и других вазах и корзинах, усыпал её ими. Он делал это по заранее составленному им плану, так как приготовился встретить смерть девушки, но несколько позже, когда она будет принадлежать ему. Судьбе было угодно, чтобы она умерла за несколько минут ранее, и это произошло оттого, что граф слишком увеличил дозу чудодейственного снадобья патера Вацлава.

Он имел присутствие духа вынуть из кармана записку со словами: "Измена – смерть любви", вложил её в уже похолодевшую правую руку девушки и тогда только вышел, бросив на лежавшую последний взгляд, выражавший не сожаление, а лишь неудовлетворённое плотское чувство. Затем он осторожно затворил дверь, ведущую из передней в сад, тщательно запер калитку и забросил в чашу кустарника ключ.

Всё это граф проделал машинально, как бы в тумане. Но напряжение нравственных и физических сил имеет свой конец. Едва он сделал

несколько шагов по берегу Фонтанки, как вдруг ноги у него подкосились, он упал в сугроб снега и судорожно зарыдал.

Свенторжецкий не помнил, сколько времени пролежал ничком на снегу. Он пришёл в себя лишь у себя в кабинете. Всё только что происшедшее и перечувствованное им восставало в его памяти, и холодный пот выступил у него на лбу, а волосы поднялись дыбом. Он только теперь понял весь ужас совершённого им преступления.

Роковая страсть, толкавшая его на это преступление, исчезла. Объятыя холодеющего трупа "самозванки-княжны" окончательно убили в нём всякие плотские желания, и его ум, освободившийся от гнёта страсти, стал ясно сознавать всё совершённое им, и он почувствовал сам к себе страшное чувство – чувство презрения.

Всё представлялось графу теперь в совершенно ином свете. С чувством необычайной гадливости вспоминалась ему сцена между ним и покойной теперь молодой девушкой, когда он с её тайной в руках думал сделаться её властелином. У него уже не было, как прежде, против неё злобы за то смешное положение, в которое он был поставлен ею. Он теперь уже считал это только ужасным возмездием за ту гнусную роль, которую он хотел сыграть пред женщиной. Он отомстил ей, отняв у неё один из самых драгоценных даров Бога человеку – её жизнь. Провидение не дало ему возможности совершить над отуманенной адским снадобьем девушкой ещё более гнусное преступление. Она предстала пред Всевышним Судьёй не осквернённой насилием, осталась чистой и непорочной в этом смысле, а вся грязь и позор остались только на нём, графе Свенторжецком, – тоже самозванце-графе.

Это самозванство теперь показалось ему особенно гнусным, преступным. Образ еврея – любовника его матери, которому он был обязан и титулом, и состоянием, вырисовывался пред ним во всей своей отталкивающей непривлекательности. Деньги, при помощи которых он подготовил совершённое им преступление, были проклятыми деньгами, добытыми нечестным путём ростовщичества, грабежа.

То чувство самосохранения, которое придало ему на первых порах силы

обставить совершённое им преступление так, чтобы смерть княжны Людмилы Васильевны имела вид самоубийства, теперь окончательно исчезло. Ему даже показалось это смешным малодушием. Зачем ему скрывать совершённое им дело? Разве он может скрыть его от самого себя? А между тем наказание преступника главным образом и состоит в этом суде над самим собою.

Никакие придуманные людьми пытки и наказания не могут сравниться с муками, которые доставляет преступнику сознание его вины. Никуда он не уйдёт от этого сознания. Чем искуснее будет скрыто преступление, тем тяжелее будет жить под его гнётом.

Такое же состояние испытывал и граф Свенторжецкий, Осип Лысенко. Он теперь уже ясно и сознательно понимал, что жить с глазу на глаз с совершённым им преступлением он не будет в состоянии, и его охватывало непреодолимое, страстное желание стряхнуть с себя тяжесть тяготеющего над ним преступления, раскаяться, сознаться, пред кем бы то ни было, каковы бы ни были последствия такого сознания.

В лихорадочном волнении провёл Свенторжецкий всю ночь без сна, переживая это томительно-тягостное состояние духа, и наконец поздним утром в его уме созрело решение упасть к ногам императрицы и сознаться во всём.

Был уже двенадцатый час дня, когда он позвонил и приказал явившемуся на звонок Якову подать ему полную парадную форму. Сметливый лакей удивлённо посмотрел на бледного как смерть барина, выслушал приказание и удалился исполнять его, не проронив ни слова, не сделав даже жеста изумления.

Граф не торопился, так как знал, что императрица встаёт поздно и, как говорили про неё, превращает день в ночь.

“Быть может, такой же образ жизни княжны Людмилы Васильевны Полторацкой заслуживал вследствие этого одобрение её величества”.

Одевшись, не торопясь, граф сел в карету и велел везти себя во дворец. Императрица, в бытность свою в Петербурге, жила большею частью в своём любимом дворце у Зелёного моста (теперь Полицейский).

Свенторжецкий приехал во дворец, когда государыня только что окончила свой утренний туалет и кушала кофе, и попросил доложить о том, что он явился по секретному, весьма важному делу.

Императрица приняла его в будуаре, где никого не было.

– Что скажете, граф? – встретила она его, милостиво протягивая ему руку.

Он припал к руке императрицы долгим, почтительным поцелуем и вдруг опустил на колени.

– Что такое, граф? – невольно воскликнула Елизавета Петровна.

В будуаре никого не было.

Дрожащим от волнения голосом начал граф свою исповедь. Он подробно рассказал, кто он такой, свой побег от отца, принятие, по воле своей матери, титула графа, не умолчал даже об источнике их средств – старом еврее. Яркими красками описал он свой восторг по поводу встречи с не узнавшей его, но тотчас же узнанной им подругой его детских игр, княжною Людмилой Васильевной Полторацкой, открытие поразившего его её самозванства, беседу с убийцей княгини и княжны Полторацких – Никитой, сцену с Татьяной Берестовой, смешное положение, в которое последняя поставила его, мучения, которые переносил он от её кокетства, и решение обратиться к патеру Вацлаву за его чудодейственным средством. Наконец, он с рыданием описал своё последнее свидание, когда молодая девушка умерла в его объятьях.

– Я предаю, ваше величество, как ваш верноподданный, свою голову в вашу власть. Велите казнить или помилуйте!

Он стоял на коленях, низко опустив голову. Императрица сидела несколько времени в глубокой задумчивости.

– Вы знали, что это зелье смертельно? – спросила она после продолжительной паузы.

– Знал, ваше величество, хотя патер Вацлав сказал, что если употребить небольшую дозу, то у него есть средство восстановить силы.

– А вы употребили сильную дозу?

– Меня к этому побудило признание самой жертвы, что она с малолетства

привыкла к сильному запаху цветов. Кроме того, сознаюсь, что я действовал под влиянием страсти; я был как в тумане и только сегодня ночью окончательно пришёл в себя и понял весь ужас совершённого мною преступления.

Государыня снова помолчала, а затем произнесла:

– Сын моего доблестного слуги, обратившийся к моему личному суду, не может быть предан суду обыкновенному. Я – ваш судья, и я, в свою очередь, отдаю вас на суд Божий. Вы сегодня же отправитесь в действующую армию и дадите мне слово русского дворянина, что не будете избегать опасности. Своей храбростью вы заслужите прощение отца и его признание вас своим сыном; если же Бог пошлёт вам смерть, то это будет вашей казнью. Княжна Людмила Васильевна Полторацкая никогда не была Татьяной Берестовой; она покончила с собою самоубийством в припадке безумия. Вот моё решение. Встаньте, Осип Иванович Лысенко!

Императрица снова протянула руку молодому человеку а он припал к этой руке, обливая её горячими слезами.

– Идите! Приказ о командировке в распоряжение главнокомандующего действующей армией будет изготовлено через два часа.

Молодой, человек встал и, сделав императрице низкий, поясной поклон, вышел.

Вслед за ним государыне доложили о прибытии с докладом Сергея Семёновича Зиновьева. Государыня внимательно выслушала доклад письма тамбовского наместника, и Зиновьева поразило, что она задумчиво-печально смотрела на него, когда он кончил, и молчала.

– Я ходатайствую пред вами, ваше величество, об аресте самозванки и убийцы, – осмелился он заговорить первый.

– Слишком поздно! – заметила императрица.

Сергей Семёнович посмотрел на неё с почтительным удивлением.

– Как же прикажете, ваше величество? – спросил он.

– Я говорю вам, что слишком поздно. Она уже ушла от нашего суда. Над нею совершился Божий суд. Ваша племянница, княжна Людмила

Васильевна Полторацкая, сегодня ночью покончила с собою самоубийством в припадке безумия.

Поражённый, Зиновьев ничего не понял. Он смотрел на государыню с немим удивлением.

– Вы разве не получали донесения о смерти княжны? – спросила императрица, заметив, как отразилось на Зиновьеве её сообщение.

– Никак нет, ваше величество, – мог только выговорить он.

– Вы получите его и должны при этом знать, что несчастная молодая девушка сама покончила с собой. Её следует похоронить соответственно её званию. Тамбовскому наместнику можете сообщить, что оговор убийцы не подтвердился. Вы меня поняли?

– Понял, ваше величество.

– Распорядитесь при этом выселить немедленно из России за границу живущего на Васильевском острове знахаря, именующего себя “патером Вацлавом” и известного в народе под прозвищем “чародея”.

Государыня подала руку Сергею Семёновичу, дав этим знать, что аудиенция окончилась. Он почтительно поцеловал эту руку и вышел.

Императрица Елизавета Петровна просидела после ухода Зиновьева несколько минут в глубокой задумчивости, затем позвонила и приказала вошедшей камер-фрау пригласить к себе Ивана Ивановича Шувалова. Через несколько минут находившийся во дворце любимец предстал пред государыней. Она вкратце рассказала ему исповедь Осипа Лысенко и доклад Зиновьева, а также высказала и своё решение по этому делу.

– Будь друг, распорядись в этом смысле, – заключила она.

– Слушаю, ваше величество, – ответил любимец и тотчас отправился отдавать распоряжения.

Эти распоряжения умили пыл полицейского чиновника, уже начавшего допросом прислуги покойной княжны розыски по поводу трагической смерти фрейлины государыни.

Княжна Людмила Васильевна Полторацкая была похоронена по христианскому обряду, и сама государыня присутствовала на похоронах, на которые собрался весь великосветский Петербург.

Не было только трёх его блестящих представителей: графа Свенторжецкого, графа Свиридова и князя Лугового.

Граф Иосиф Янович Свенторжецкий, в несколько часов ставший Осипом Ивановичем Лысенко, уже ехал к границе с твёрдым решением исполнить волю монархини – или беззаветной храбростью добыть себе прощение отца и милосердие Бога, или же геройскою славною смертью искупить свою вину – результат своего необузданного характера и неумения управлять своими страстями. Всё более и более удаляясь от Петербурга, города, где он пережил столько тяжёлых минут и ужасных треволнений, он даже не думал о возврате на берега Невы. Но те же самые лошади, которые уносили его с места, полного для него роковыми воспоминаниями, с каждым часом приближали его к другому, ещё более страшному для него месту, где находился его отец.

Во время кратковременного пребывания Ивана Осиповича в Петербурге его сын под именем графа Свенторжецкого раза два встречался с ним во дворце, но удачно избегал представления, хотя до сих пор не мог забыть взгляд, полный презрительного сожаления, которым однажды обвёл его этот заслуженный, почитаемый всеми, начиная с императрицы и кончая последним солдатом, генерал. И теперь он ехал, по воле государыни, добывать её и его прощение. Возможно ли это?

“Вернее смерть будет моим уделом”, – мелькали в уме Осипа Ивановича грустные мысли, а переменные, сытые и сильные почтовые лошади неслись во весь опор, и ямщики, в чаянии получения щедрой подачки от молодого офицера, весело подбадривали их.

Повозка то ныряла в ухабы, то неслась, скользя по ровной снежной дороге. Только колокольчик под дутой заунывно звучал в унисон с печальными мыслями отданного на Божий суд убийцы.

В это же время князь Сергей Сергеевич Луговой лежал больной в нервной горячке. Он не узнавал никого и бредил княжной Людмилой, своими мстительными предками, грозящими ему возмездием за нарушение их завета, первым поцелуем, криком совы и убийцей Татьяной.

При постели больного безотлучно находился его друг, граф Пётр Игнатьевич Свиридов. Его прежняя любовь к князю с новой силой вспыхнула в сердце после происшествия в театре и рокового открытия в следующую ночь в доме княжны Полторацкой.

XV. "СУМАСШЕДШИЙ КНЯЗЬ"

Время летело.

Трагическая смерть княжны Полторацкой, необычайная по своей романтической обстановке, как всё на этом свете, поддалась всепоглощающему времени и была забыта. Новые злобы дня – внешние и внутренние – всплыли на поверхность жизненного моря столицы.

К числу первых принадлежали известия с театра войны в Пруссии. Генерала Фермора, назначенного после удаления Апраксина, сменил добрый, простой, неучёный, но умный старичок Салтыков, которого любили солдаты и называли "курочкой". Донеслось до Петербурга известие о поражении, нанесённом генералу Фермору самим Фридрихом II у Цорндорфа, но донесли также и слова, произнесённые прусским королём – этим военным гением тогдашнего времени – по адресу русских солдат. "Их мало убить, нужно ещё свалить!" Салтыков отплатил за цорндорфское поражение и так разгромил Фридриха в 1759 году при Кунерсдорфе, что король написал с поля битвы: "Всё потеряно" и собирался лишиться себя жизни.

Вместе с этим радостным известием о славной победе и о движении русских войск на Берлин пришла весть о смерти капитана гвардии Осипа Ивановича Лысенко. Впрочем, эта весть не могла иметь интерес для Петербурга вообще, в великосветской его части в особенности, так как никто в Петербурге, кроме императрицы и супругов Зиновьевых, не знал офицера, носившего такое имя. Весть о его смерти написал императрице Елизавете Петровне и Сергею Семёновичу Зиновьеву Иван Осипович Лысенко, один из доблестных участников победы русских над пруссаками

при Кунерсдорфе.

Молодой Лысенко со дня прибытия в действующую армию с львиной отвагой и безумной храбростью появлялся в самых опасных местах битвы и исполнял самые отважные и рискованные поручения. Его отец, суровый старик, продолжал относиться к нему, как к совершенно чужому и постороннему для него офицеру, тем более что Осип Иванович не находился под его непосредственным начальством и потому не было поводов к встречам отца с сыном.

В битве при Кунерсдорфе атаку, решившую победу, повёл с безумной отвагой молодой Лысенко, ставший в короткое время кумиром солдат, не только той части, которая была под его начальством, но и других частей. Он шёл всё время вперёд и упал с простреленной в нескольких местах грудью. Это не помешало ему приподняться с трудом на коленях и крикнуть: "Вперёд, братцы, умрите, как я!". Это восклицание сделало чудеса: солдаты бросились на неприятеля без начальника и положительно смяли его.

Двое солдат успели отнести своего умирающего командира на опушку ближайшего леса. Случайно или по воле Провидения первым человеком, заинтересовавшимся тяжело раненным офицером и наклонившимся над ним, был генерал Иван Осипович Лысенко.

– Отец! – открыл глаза Осип Иванович и окинул старика потухающим взглядом.

В тоне голоса, которым было произнесено это двусложное, но великое слово: "отец", в выражении взгляда умирающего красноречиво читались мольба о прощении и искреннее раскаяние. Старик не выдержал. Он склонил колени пред умирающим сыном, взял его голову с уже закрывшимися глазами и поцеловал его в губы, воскликнув:

– Сын мой!

Горячие слёзы полились из глаз отца и омочили лицо сына. На этом лице появилась довольная, счастливая улыбка да так и застыла на нём. Осипа Лысенко не стало.

В коротких словах рассказал в письме на имя государыни, а также в

записке на имя Зиновьева Иван Осипович Лысенко этот полный настоящего жизненного трагизма эпизод.

“Я нашёл сына именно в тот момент, когда он был более всего достоин этого. Я горжусь своим мёртвым сыном более, нежели гордился бы живым”, – заключил суровый воин оба письма.

Однако это известие не могло заинтересовать петербургское общество, не посвящённое в предшествующие события, известные нашим читателям. Зато предметом толков и пересудов явилась другая смерть, отвлёкшая общественное внимание даже от театра войны. Это была смерть князя Сергея Сергеевича Лугового.

Обстоятельства жизни молодого человека придали этой смерти таинственную окраску. В Петербурге знали, что он был в числе самых горячих поклонников княжны Людмилы Полторацкой. Поразившую его болезнь, почти на другой день после смерти княжны, конечно, приписали удару, нанесённому этой смертью сердцу влюблённого. Весь “высший свет” выражал своё участие бедному молодому человеку и в великосветских гостиных, наряду с выражением этого участия, с восторгом говорили о возобновившейся дружбе между больным князем и бывшим его соперником – тоже искателем руки покойной княжны Полторацкой, – графом Свиридовым, с нежной заботливостью родного брата теперь ухаживавшим за больным. Было ли это участие искренне или же к нему примешивалось практическое соображение, что со смертью князя Лугового исчезнет один из выгодных и блестящих женихов – как знать? – но дом князя осаждался посетителями – представителями высшего общества, почти ежедневно справлявшимися о его здоровье.

Однако крепкая натура князя Сергея Сергеевича взяла своё. Кризис миновал, больной стал поправляться.

Прошло около трёх месяцев. Князь, с позволения доктора, уже переходил на день в кресло и с помощью своего друга, графа Петра Игнатьевича, делал несколько шагов по комнате.

Справляться о здоровье по-прежнему приезжали, но князь не принимал никого. Это обстоятельство стало волновать общество. На вопросы,

обращаемые к графу Свиридову по поводу странного поведения его друга, получались уклончивые, неудовлетворительные ответы. Однако общество никогда не даёт себя в обиду: в большинстве случаев оно отмщает за неё сплетнею. Так было и в данном случае. В великосветских гостиных стали ходить упорные слухи, что перенесённая князем Луговым болезнь отразилась на его умственных способностях.

– Несчастный князь, он сошёл с ума! – с соболезнованием стали говорить повсюду.

Протесты со стороны графа Свиридова, горячо заступавшегося за друга, только подливали масла в огонь.

– Скрывает друга, это так понятно! – пожимая плечами, замечали на эти протесты.

Граф Пётр Игнатьевич понял, что борьба с прочно установившимся в обществе мнением равносильна борьбе с ветряными мельницами, и умолк.

“Да и какое дело Сергею до них теперь!” – мелькало в его уме.

Луговому действительно не было теперь никакого дела до общественного о нём мнения. Это происходило не потому, что болезнь на самом деле подействовала роковым образом на его умственные способности, но потому, что князь пришёл к окончательному решению порвать все свои связи со “светом” и уехать в Луговое, где уже строили, по его письменному распоряжению, небольшой деревянный дом. Место для этой постройки было выбрано князем в довольно значительном отдалении от старого сгоревшего дома, стены которого он не велел разбирать до своего личного распоряжения.

Когда в “свете” узнали, что князь Луговой вышел в отставку и уезжает к себе в имение, это только подтвердило пущенный слух о его сумасшествии.

– Увозят! – говорили, уже совершенно не стесняясь присутствием друга больного, графа Свиридова.

Последний печально улыбался, но не возражал.

Вскоре факт совершился. Князь Луговой уехал из Петербурга.

Пред отъездом он имел свидание только с одним лицом из петербургского общества, Зиновьевым, посетившим его по его собственному желанию.

Зиновьев, Луговой и Свиридов сидели втроем в том самом кабинете, где полгода тому назад Сергей Семёнович сообщил князю содержание письма тамбовского наместника относительно Татьяны Берестовой, искусно в течение года разыгрывавшей роль его невесты – княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

– Я уезжаю к себе, – слабым голосом начал князь.

– Я слышал это от графа. – Указал Зиновьев движением головы на графа Свиридова. – Но неужели навсегда? Стыдитесь, князь, так предаваться грусти! Вы молоды, пред вами блестящая дорога, весёлая жизнь. Время излечит печаль.

– Нет, моё решение неизменно; я человек обречённый, и моя близость ко всякой девушке будет для неё роковой. Но не будем говорить об этом. Я решился просить вас приехать ко мне, хотя, как видите, я в силах был бы заехать к вам. Простите меня, это произошло потому, что я дал себе обет не переступать порога своего дома иначе как для того, чтобы уехать из Петербурга навсегда. А у меня есть к вам важная просьба...

– Помилуйте, князь, я с удовольствием! Тяжёлая перенесённая болезнь даёт вам право, – заговорил Сергей Семёнович, а между тем в уме его мелькало: “Не в самом ли деле он тронувшись?” – Какая же это просьба, князь? Всё, что в моих силах, всё, что могу.

– Это в ваших силах, это вы можете, – произнёс князь Сергей Сергеевич. – Зиновьево теперь в вашем владении?

– Да!

– Позвольте мне на свои средства выстроить церковь над могилой княгини Вассы Семёновны и княжны Людмилы. Другой храм я буду строить одновременно на месте своего сгоревшего дома. Церкви Лугового и Зиновьева, вы знаете, очень ветхи. Если я, паче чаяния, не доживу до окончания построек, то я уже составил духовное завещание, в котором все свои имения и капиталы распределяю на церкви и монастыри, а главным образом, на эти две, для меня самые священные цели. Граф

Пётр был так добр, что согласился быть моим душеприказчиком и исполнителем моей последней воли.

– Я, конечно, князь, с особым благоговением готов исполнить вашу просьбу, – произнёс Зиновьев. – Мне тяжело, что мысль о постройке церкви над могилами погибших такою страшною смертью моей сестры и племянницы не пришла ранее в голову мне, но пусть моё согласие послужит мне вечным за это наказанием. Я завтра же сообщу управляющему Зиновьеву, что вы явитесь туда полным распорядителем.

– Благодарю вас, – протянул ему руку князь.

Сергей Семёнович с чувством пожал эту исхудалую от физических и нравственных страданий руку.

Через несколько дней князь переступил порог своего дома и уехал в Луговое.

Однако о нём не забыли в “свете”. На его долю выпала честь быть очень продолжительное время злобою дня в петербургских великосветских гостиных.

Жертву своего любопытства общество найдёт на дне морском, а не только в тамбовском наместничестве. Туда написали письма с просьбами следить за князем Луговым и извещать о его образе жизни и прочем. Оттуда стали получать ответы, быстро распространявшиеся по гостиним.

“Сумасшедший князь” – эта кличка оставалась за князем Луговым со времени его отъезда – действительно вёл себя там, по мнению большинства, более чем странно. По приезде в Луговое он повёл совершенно замкнутую жизнь, один только раз был в Тамбове у архиерея и предъявил тому разрешение святейшего синода на постройку двух церквей: одну в своём имении Луговом, а другую в имении Сергея Семёновича Зиновьева – Зиновьеве, принадлежавшем покойной княжне Людмиле Васильевне Полторацкой. Постройка обоих храмов началась и, ввиду того, что князь не жалел денег, подвигалась очень быстро.

Князь Сергей Сергеевич проводил ежедневно несколько часов в родовом склепе Зиновьевых, где были похоронены князь и княгиня Полторацкие и куда, с разрешения тамбовского архиерея, было перенесено тело

дворовой девушки княгини Полторацкой – Татьяны Берестовой. Князь – как писали из Тамбова – уверил архиерея, что это тело покойной княжны Людмилы Васильевны Полторацкой, а что в Петербурге была похоронена под её именем другая.

Последнее известие произвело целую бурю в гостиных.

– Князь – сумасшедший, ему простительно говорить всё, но как же могло согласиться на это высшее духовное лицо? – возмущались сообщавшие и слышавшие это известие.

– Чего нельзя сделать деньгами? – вставляли некоторые.

Прошло два года; церкви были выстроены и освящены, а князь Сергей Сергеевич всё продолжал вести странный образ жизни, деля своё время между чтением священных книг и долгою молитвою над мнимой могилой княжны Людмилы Васильевны Полторацкой.

Вдруг в июле месяце 1761 года из Тамбова пришло известие, что князь Сергей Сергеевич скончался. Он был убит ударом молнии при выходе из часовни, находившейся при храме в Луговом и переделанной им из старого, много лет не отпиравшегося павильона. Из Тамбова сообщали даже и легенду об этом павильоне и историю самовольного открытия его покойным князем.

Сделалось известным также и завещание Лугового.

Понятно, что подобного рода смерть заставила долго говорить о себе в обществе.

XVI. СМЕРТЬ ИМПЕРАТРИЦЫ

– Пеките блины, вся Россия будет печь блины! – так говорила 24 декабря 1761 года, ходя по улицам Петербурга, известная в описываемое нами время юродивая Ксения, могила которой на Смоленском кладбище до сих пор пользуется особенным уважением народа.

Ксения Григорьевна была жена придворного певчего Андрея Петрова, скончавшегося в чине полковника. Она в молодых годах осталась

вдовою. Тогда, раздав своё имение бедным, она надела на себя одежду своего мужа и под его именем странствовала сорок пять лет, изредка проживая на Петербургской стороне, в приходе Св. апостола Матфея, где одна улица называлась её именем. Год смерти её неизвестен. Одни уверяют, что она умерла до первого наводнения в 1777 году, другие же – что при Павле.

Могила Ксении издавна пользуется особенным почитанием. В скором времени после её похорон посетители разобрали всю могильную насыпь; когда же усердствующими была положена плита, то и плита была разломана и по кусочкам разнесена по домам. Сделана была другая плита, но и та недолго оставалась целою.

Ломая камень и разбирая землю, посетители бросали на могилу деньги. Тогда на могиле прикрепили кружку, и на собранные таким образом пожертвования построили памятник, в виде часовни, с надписью: “Раба Ксения. Кто меня знал, да поминает мою душу для спасения своей души”. И действительно, ни на одной из могил на Смоленском кладбище не служат столько панихид, как на могиле Ксении.

Эта-то Ксения и ходила, повторяем, 24 декабря 1761 года по улицам Петербурга, произнося вышеприведённые загадочные слова.

Однако на другой день для петербуржцев и для всей России эти слова, к несчастью, перестали быть загадкой. 25 декабря 1761 года, день Рождества Христова был для России днём радости и горя. В эту ночь было обнародовано донесение генерала Румянцева о славном взятии русскими войсками прусской крепости Кольберг, а к вечеру не стало императрицы Елизаветы Петровны. Она умерла в Царском Селе.

Болезненное состояние императрицы началось с начала 1761 года, и она нередко по неделям не вставала с постели, в которой даже слушала доклады. 17 ноября Елизавета Петровна почувствовала лихорадочные припадки, но по принятии лекарства совершенно оправилась и занялась делами. 19 декабря императрице стало дурно. Началась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики Монсей, Шилинг и Крауз решили открыть кровь и очень испугались, заметив сильно воспалённое её состояние.

Несмотря на это, через несколько дней императрица совершенно оправилась.

20 декабря Елизавета Петровна чувствовала себя особенно хорошо, но 22-го числа, в 10 часов вечера, началась опять жестокая рвота с кровью и с кашлем. Медики заметили и другие признаки, по которым сочли долгом объявить, что здоровье императрицы в опасности. Выслушав вторично это объявление, Елизавета Петровна 23 декабря исповедовалась и приобщилась, а 24-го соборовалась. Болезнь так усилилась, что вечером Елизавета Петровна дважды заставляла читать отходные молитвы, повторяя сама их за духовником.

Агония продолжалась ночь и большую половину следующего дня. Великий князь и великая княгиня находились постоянно при постели умирающей. В четвёртом часу дня отворилась дверь из спальни в приёмную, где собрались высшие сановники и придворные. Вышел старый сенатор, князь Николай Юрьевич Трубецкой, и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась и государствует его величество император Пётр III. Ответом были рыдания и стоны на весь дворец.

Новый император отправился на свою половину. Императрица Екатерина Алексеевна осталась при покойной императрице. У изголовья умершей государыни находились также оба брата Разумовские и Иван Иванович Шувалов, любившие императрицу всем своим преданным, простым сердцем. Слёзы обоих братьев Разумовских были слезами искренними, и их скорбь была вполне сердечною. Покойная государыня, возведшая их из ничтожества на верх почестей, была к ним неизменно добра. Несмотря на все свои недостатки, Елизавета Петровна, несомненно, имела дар вселять в других глубокую к себе привязанность. В горести Ивана Ивановича Шувалова, Разумовских, Чуйкова и некоторых других верных слуг её слышалось не сожаление о конце их случая, но глубокое, вполне чистосердечное сокрушение о той, которую они так искренне и неподкупно любили.

Последние годы императрицы были тяжелы. Она сама болела, даже не

подписывала бумаг. Боялись и просились в отставку её сотрудники, а главный из них, Бестужев, сидел в деревне, в опале. Казна до того оскудела от войны, что ввела лотереи, которых гнушались прежде, и не было возможности достроить Зимний дворец. Незадолго до смерти Елизавета Петровна освободила много ссыльных и подсудимых и издала грустный указ, в котором сознавалась, что внутреннее управление расстроено.

Так закончилось двадцатилетнее царствование дочери Петра Великого. Закончим и мы наше повествование, бросив беглый взгляд на прошедшее.

При отсутствии внимательного изучения русской истории XVIII века обыкновенно повторяли, что время, протёкшее от смерти Петра Великого до вступления на престол Екатерины II, есть время печальное, недостаточно изученное, время, в которое на первом плане были интриги, дворцовые перевороты, господство иноземцев. Но при успехах исторической науки вообще и при более внимательном изучении русской истории подобные взгляды повторяться более не могут.

Мы знаем, что в нашей древней истории не Иоанн III был творцом величия России, но что это величие было подготовлено до него в печальное время княжеских усобиц и борьбы с татарами; мы знаем, что Пётр Великий не приводил России из небытия в бытие, что так называемое преобразование было естественным явлением народного роста, народного развития, и великое значение Петра состоит лишь в том, что он силою своего гения помог своему народу совершить тяжёлый переход, сопряжённый со всякого рода опасностями.

Наука не позволяет нам также сделать скачок от времени Петра Великого ко времени Екатерины II; она заставляет нас с особым любопытством углубиться в изучение предшествующей эпохи – посмотреть, как Россия продолжала жить новой жизнью после Петра Великого, как разбиралась она в материале преобразований без помощи гениального императора, как нашлась в своём новом положении, с его светлыми и тёмными сторонами, так как в жизни человека и в жизни народов нет возраста, в

котором не было и тех, и других сторон.

На Западе, где многие беспокоились при виде могущественнейшей державы, внезапно явившейся на востоке Европы, утешали себя тем, что это – явление преходящее, что оно обязано своим существованием воле одного сильного человека и кончится вместе с его смертью. Ожидания не оправдались именно потому, что новая жизнь русского народа не была созданием одного человека.

Поворота назад быть не могло, так как ни отдельный человек, ни целый народ не возвращаются из юношеского возраста к детству и от зрелого возраста к юношеству; но могли и должны были быть частные отступления от преобразовательного плана, вследствие отсутствия одной сильной воли, вследствие слабости государей и своекорыстных стремлений отдельных сильных лиц.

Так, некоторые противодействия петровским началам обнаружались в усилении личного управления в областях, надстройке лишнего этажа над сенатом, то под именем верховного тайного совета, то под именем кабинета. Но более печальные следствия имело отступление от мысли Петра Великого относительно иностранцев.

Самая сильная опасность при переходе русского народа из древней истории в новую, из возраста чувств в возраст мысли и знания, из жизни домашней, замкнутой, в жизнь общественных народов заключалась в отношении к чужим народам, опередившим в деле знания, у которых поэтому надо было учиться. В этом-то ученическом положении относительно чужих живых народов и заключалась опасность для силы и самостоятельности русского народа. Ведь как соединить положение ученика со свободой, самостоятельностью по отношению к учителю, как избежать при этом подчинении подражания? Примером служит крайнее подчинение западноевропейских народов своим учителям – грекам и римлянам, когда они в эпоху Возрождения совершили такой же переход, как русские совершили в эпоху преобразования, с тем различием, что они подчинялись народам мёртвым, тогда как русский народ должен был учиться у живых людей.

Тут-то Пётр и оказал великую помощь своему народу, сокращая срок учения, заставляя немедленно проходить практическую школу, не оставляя долго русских людей в страдальческом положении учеников, употребляя неимоверные усилия, чтобы относительно внешних, по крайней мере, средств не только уравнивать свой народ с образованными соседями, но и дать ему превосходство над ними, что и было сделано устройством войска и флота, блестящими победами и внешними приобретениями, так как именно это вдруг дало русскому народу почётное место в Европе, подняло его дух, избавило от вредного принижения при виде опередивших его в цивилизации народов.

Пётр держался постоянно правила: поручать русским высшие места военного и гражданского управления и только второстепенные могли быть заняты иностранцами.

От этого-то важного правила уклонились по смерти Петра. Его птенцы завели усобицы, начали вытеснять друг друга. Ряды их поредели. Этим воспользовались иностранцы и добрались до высших мест.

Несчастливая попытка ограничить самодержавие в 1730 году нанесла тяжёлый удар русским фамилиям, стоявшим наверху, и царствование Анны Иоанновны явилось временем "бироновщины".

Как бы ни старались в отдельных частных чертах уменьшать бедствие этого времени, оно всегда останется самым тёмным временем в нашей истории XVIII века, так как дело шло не о частных бедствиях, не о материальных лишениях: народный дух страдал, чувствовалась измена основному, неизменному правилу великого преобразователя, чувствовалось иго с Запада, более тяжкое, чем прежде, иго с Востока – иго татарское. Полтавский победитель был принижен, рабствовал Бирону, который говорил: "Вы, русские, как так смело и в самых винах себя защищать дерзаете". Эти слова были сказаны временщиком князю Шаховскому, защищавшему своего дядю от обвинения Миниха. Сколько в этих словах презрительного отношения к русским!

От этого-то ига с Запада избавила Россию дочь Петра Великого. Россия пришла в себя. На высших местах управления снова явились русские

люди, и когда, как мы уже знаем, на место даже второстепенное представлялся иностранец, Елизавета Петровна спрашивала:

– Разве нет русского? Иностранца можно назначить только тогда, когда нет способного русского.

Народ, пришедший в себя, начал говорить от себя и про себя, и явилась литература, язык, достойный говорящего о себе народа. Явились писатели, которые остаются жить в памяти и мысли потомства, явились народный театр, журнал, в старой Москве основался университет.

Человек, гибнувший прежде под топором палача, стал полезным работником в стране, которая более чем какая-либо другая нуждалась в рабочей силе; пытка заботливо отстранялась при первой возможности, и таким образом на практике было приготовлено её уничтожение.

Для будущего времени готовилось новое поколение, воспитанное уже в других правилах и привычках, чем те, которые господствовали в прошлом царствовании – воспитывался и готовился целый ряд деятелей, которые сделали знаменитым царствование Екатерины II.

Но, говоря о значении царствования Елизаветы Петровны, мы не должны забывать характер самой императрицы. Весёлая, беззаботная, страстная к утехам жизни, она должна была пройти через тяжкую школу испытаний и прошла её с пользой. Крайняя осторожность, сдержанность, внимание, умение проходить между толкающими друг друга людьми, не толкая их, – эти качества приобрела Елизавета в царствование Анны, когда её безопасность и свобода постоянно висели на волоске. Эти качества принесла она и на престол, не потеряв добродушия, снисходительности, так называемых патриархальных привычек, любви к искренности, простоте отношений.

Наследовав от отца умение выбирать и сохранять способных людей, она призвала к деятельности новое поколение русских людей, знаменитых при ней и после неё.

Таково было главное значение царствования дочери Петра Великого. Это двадцатилетнее царствование, следовавшее неуклонно национальной политике Петра Великого, сделало то, что эта политика успела войти в

плоть и кровь русского народа, доказательством чему служит кратковременное царствование Петра III, пожелавшего снова отдать Россию в подчинение ненавистным немцам.

Иноземка по происхождению, но русская по духу, Великая Екатерина повела своей искусной, сильной, хотя и женской рукой Россию по пути, начертанному ей Петром Великим и его достойной дочерью. Снова с высоты русского престола раздался столь любезный русскому народу оклик по адресу иноземцев: "Руки прочь!"